

Оглавление

Предисловие автора к русскому изданию	3
Биография Б. Такера	5
Предисловие	13
Государственный социализм и анархизм: в чём их сходство и в чём различие	17
Индивид, общество и государство	36
Отношение государства к личности	37
Наши цели	47
Договор или организм	48
Сущность государства	52
Искажение анархизма	59
Максимум мистера Леви	61
Сопrotивление обложению	65
Марионетка вместо бога	69
Затруднения мистера Перрина	76
Чего мы придерживаемся	79
Угу!	83
Права и обязанности при анархии	88
Ещё вопросы	91
Последний вопрос мистера Блоджетта	93
В затруднительном положении	94
Объяснение мистера Блоджетта	98
В защиту непротивления	102
Свобода и нападение	109
Что такое сопротивление	115

Допустимость насилия	121
Мистер Пентекост, как пособник правительства	126
Философ голых принципов	128
Сомнения анархиста	133
Мораль сомнения мистера Донисторпа	159
L'état et mort; viva L'état!	160
Добровольная кооперация	169
L'état, c'est L'ennemi	172
Деспотизм сторонника свободы	188
Оборонительный деспотизм	188
Все на прокрустовом ложе	189
Борьба мистера Пинни с Прокрустом	191
Вести из заброшенного города	195
Как будто возражение, а в сущности сдача по всей линии	196
Глупые избиратели и глупые редакторы	201
Логика и фосусничество	202
Право собственности	207
Верховенство индивида – наша цель	210
Партия первого освобождения и её девять требований .	212
Принудительное воспитание противоречит духу анар-	
хизма	214
Отношения между родителями и детьми	217
Принудительное воспитание и анархизм	229
Дети и анархия	232
Не декрет, а пророчество	236
Анархия и обольщение женщины	240
Неудачная аналогия	241
Бойкот и его границы	244
Редкий случай, когда спор убедил	245
Напиток, более вредный, чем алкоголь	247
О смертной казни	249
Долой обещания	250
На передовом посту	252

Земля и рента	269
Социализм	271
Коммунизм	273
Методы	275
Сила пассивного сопротивления	277
Положение Ирландии в 1881 г.	280
Метод анархии	281
Теоретические методы	283
Посеянное семя	288
Голос «внутренних защитников»	289
Колонизация	291
Смесь	292

Предисловие автора к русскому изданию

С глубокой радостью и удовлетворением я приветствую стремление моих новых русских товарищей познакомиться с идеями анархизма России. Ни одна страна в мире не представляет более удобной для этого почвы. В других странах, где прогресс совершается постепенно, движется медленно и дело воспитания народа в духе свободы. В России же, где новому обществу так или иначе суждено прийти на смену старому, это дело должно вестись быстро и всесторонне; иначе все завоевания революционного момента теряют свою цену. Не могу не пожалеть, что настоящий том, писанный совершенно для другой публики, в деталях является мало приспособленным для своей новой среды. Да вдохновит же он кого-нибудь из моих русских собратьев по перу к изложению основных положений нашего учения в более удобной для его соотечественников форме.

Ben. R. Tucker

Нью-Йорк. 22 дек 1907

Бенджамин Такер

Краткий очерк его жизни и деятельности

Бенджамин Такер родился в Южном Дартмуте, близ Нью-Бедфорда, в Массачусетсе, 17 апреля 1854 года. Родители его были люди зажиточные и интеллигентные. По политическим убеждениям его отец был демократ Джефферсоновского толка; в религии и отец и мать его исповедовали радикальное унитарянство. Дед Такера со стороны матери был большим почитателем Томаса Пэна. Таким образом радикализм выдающегося поборника индивидуалистического анархизма в значительной степени, как видим, является унаследованным.

Природа щедро одарила Такера, наградив его физическими и душевными качествами, далеко превышающими средний уровень. Всего двух лет от роду он уже бегло читал по-английски. Чаще всего, он читал в этом возрасте Библию; насколько сознательным было это чтение, доказывает следующий случай. Когда маленький Бенджамин явился в гости к одной своей тётке, исповедовавшей англиканство, ему подали молитвенник и попросили почитать в слух. Дойдя до одного пассажа, он объявил, что это место неправильно, так как расходится с библией. Его стали уверять, что он ошибается, и попросили продолжить чтение. Но он твердил, что пассаж в молитвеннике искажён, и требовал для проверки библию. Тётка принесла ему библию, и убедилась, что он прав.

Этот случай оказался провиденциальным для всей жизни мальчика, хотя в то время никто, вероятно, не усмотрел в нём ничего пророческого. С той поры Такер многократно объявлял войну самым значительным мнениям, общепринятым в религии,

политической науке и философии, и одерживал победы точными ссылками на Библию.

Такер рано подпал влиянию либерального проповедника и учителя, В. Дж. Поттера, много лет состоявшего председателем Вольной религиозной ассоциации; и хотя он скоро перерос своего наставника и духовным оком прозрел возможность более широкой, истинной и прекрасной жизни, однако ему Такер в значительной мере обязан тем, что собою теперь представляет.

В школе, (Нью-Бедфордская Дружеская академия) по отзывам его учителя Такер был одним из лучших учеников и усердно занимался предметами. Но зато он не жаловал воскресной школы, которую его также заставляли посещать, к десяти годам охладил к ней и стал манкировать уроками. Учитель заметил это и однажды спросил его:

- Бенджамин, сколько времени ты готовил этот урок?
- Пять минут, – быстро ответил тот.
- А сколько часов ты тратишь на будничные уроки?

Такер быстро назвал какое-то число часов, и учитель спросил его, как он не понимает, что следует не меньшее число часов посвящать материям, гораздо более важным, чем обыкновенные школьные предметы. Бенджамин, однако не разделял этого взгляда, и, когда ему минуло двенадцать лет, наотрез отказался ходить в воскресную школу; ни настояния отца, ни слёзы матери не смогли сломить его решения.

В возрасте шестнадцати лет Бенджамин дал новое доказательство оригинальности своего ума и силы воли. Он окончил курс академии, и родители желали, чтобы он поступил в Гарвардский колледж. Но юный Такер, подобно Торо, не жаловал колледжей и отказался исполнить желание родителей. На него оказывали сильное давление и родители, и родственники, но все их старания оказались бесплодными. По просьбе дяди его принялся увещевать мистер Тетлау, его учитель по академии и воскресной школе, сообщивший приведённые выше сведения. Но он по собственному признанию, вскоре убедился, что его ученик лучше знает, что ему нужно; все его доводы и уговаривания не оказали никакого влияния на Бенджамина,

наотрез отказавшегося поступить в Гарвардский колледж. Но в виде компромисса он согласился поступить в Бостонский Технологический Институт.

Мы видим, что уже в молодые годы Такер был наделён редкой и сильно выраженной индивидуальностью. У него нашлось и силы и характера жить своей особой, самостоятельной жизнью. Уже и в то время он был сам себе закон. Если он одобрял известную линию поведения, то ему совершенно было безразлично, как другие на это посмотрят; и ни угрозы, ни ласковое слово не могли заставить его свернуть с принятого пути. О нём с полным правом можно было сказать то же, что о Шелли: подобно всякому дикому коню пампасов, он негодующе ржал на всякого, кто пытался подкупить его овсом.

Такер приехал в Бостон и пробыл три года в Технологическом институте. По словам его товарищей, он был на хорошем счету у профессоров, хотя ничем особенным не выдавался. Он больше интересовался публичными лекциями на злободневные темы и чтением по личному вкусу, чем институтскими науками. В четырнадцать лет его стали интересовать общественные вопросы, но его метод благодетельствования человечества в то время заключался в принуждении. Для осуществления его идеалов должна была применяться сила. Так, он был прогибационистом, сторонником избирательных прав женщины, восьмичасового рабочего дня и вообще деятельно изучал политическую жизнь родины. Его религиозный радикализм нашёл себе приют в *Index'e*, которого он был горячим почитателем в первый год. Благодаря *Investigator* – хотя эта газета не оказала на него большого влияния – он узнал, что есть ещё и другая сторона, *Index'ом* не рассматриваемая – именно, материализм и атеизм. Он прочёл ряд философских сочинений и кончил тем, что сделался материалистом и атеистом. Решив для себя эти вопросы, он всё больше и больше стал углубляться в политические и социальные проблемы, волновавшие общество.

В 1872 году на съезде Ново-Английской Лиги рабочих реформ, он встретился с Джозайя Уорреном и полковником Вильямом Грином. На этом съезде, особенно после речи Джо-

зайа Уоррена, у него открылись глаза на значение свободы, как решения промежуточных проблем. Он прочёл «Истинную цивилизацию» Уоррена и усвоил основы его учения. Благодаря полковнику Грину он познакомился и пришёл в восхищение от трудов великого французского экономиста и философа, Пьера Жозефа Прудона, отца анархизма. Его очень огорчало то обстоятельство, что блестящие исследования Прудона по социологии остаются книгой за семью печатями для американцев говорящих по-английски, и однажды он спросил полковника Грина: «Отчего вы не переведёте “Что такое собственность”?» На что Грин ответил: «А почему *вы* не переводите?» Переводить Прудона – трудная задача, но Такер предпринял её и в 187 году «Что такое собственность» появилась в блестящем английском переводе.

В 1872 году Такер начал принимать участие в президентской избирательной кампании, ратуя за список Грили и Брауна. Он основал в Нью-Бедфорде клуб имени Грили и Брауна, состоявший из пожилых людей, но высмеивающийся газетами по той причине, что был основан несовершеннолетним. До окончания кампании, на упомянутом рабочем съезде, Такер прозрел и ясно понял грязь и нецелесообразность политики. Больше он никогда не принимал участия в президентской кампании.

В 1874 году он посетил Англию, Францию и Италию, проведя за границей шесть месяцев.

В 1877 году, когда Эзра Гейвуд был посажен в Дедганскую тюрьму за рассылку по почте «Ярма Купидона», Такер пришёл к нему на помощь, приняв на себя редакторство газеты *Word* в Принстоне, в Массачусетсе. В разногласиях, возникших в либеральных ассоциациях касательно закона, направленного против непристойной литературы – так называемого закона Комстока – Такер и Гуйвуд держались особняком от двух главных спорящих партий. В то время как консервативное крыло ратовало за изменение национального закона о непристойной литературе в таком духе, чтобы он не мог быть направлен против реформаторских произведений, а либеральное крыло требовало упразднения закона Комстока, но одобряло законодательство Штатов против

непристойной литературы, Такер в *Word* требовал упразднения всяких законов против непристойной литературы.

В 1878 году он стал издавать в Нью-Бедфорде трёхмесячный журнал *The Radical Review*, вышедший всего лишь четыре раза, но в котором участвовали выдающиеся писатели и мыслители Америки. В этом журнале был помещён и перевод первого тома Прудоновой «Системы экономических противоречий или философии нищеты», появившийся отдельной книгой в 1888 году. По прекращении *Radical Review*, Такер вошёл в состав редакции бостонской *Globe*. В этой газете он работал одиннадцать лет, хотя никогда не писал в ней передовиц. В это же время он издавал *Liberty*, основанную в 1881 г. и в настоящее время выходящую в Нью-Йорке раз в два месяца¹. Остальные труды, вроде двухнедельного *Transatlantic*, перевода и издания «Крейцеровой сонаты» Толстого, «Мой дядя Вениамин» Клода Тилье и «Денег» Золя, я упоминаю лишь для того, чтобы показать, какой многодеятельный человек Такер.

Весною 1899 года он задумал немецкое издание *Liberty* под заголовком *Libertas*. Этой газеты вышло всего восемь номеров, но если она не сделала многого, то всё же вдохновила даровитого молодого немецкого поэта и романиста Иоганна-Генриха Маккея, написавшего «Die Anarhisten», книгу блестяще и красноречиво излагающую начала анархического индивидуализма. В 1892 г. Такер переселился из Бостона в Нью-Йорк, где издаёт *Liberty*, и где выпустил в 1893 г. том, озаглавленный «Вместо книги. Написано человеком, слишком занятым, чтобы написать таковую. Отрывочное изложение философского анархизма». В течении ряда лет он состоял в редакции *Engineering Magazine*, а с 1894 по 1899 г. был товарищем редактора *Home journal*, литературного еженедельника, основанного известными американскими поэтами Н. Виллисом и Джорджем Норрисом. Он ездил в Европу восемь раз. В настоящее время он руководит издательско-книготорговым предприятием, между прочим впервые выпустившем на английском языке великую книгу Макса Штирнера «Единственный и его достояние».

¹TODO:написать про пожар и прочее печальное

Задача, интересующая Такера больше всего, и которую он стремится выполнить при посредстве *Liberty*, есть нравственное и промышленное освобождение трудового народа. Он заклятый враг власти и считает свободу лекарством от всех существующих социальных зол. Для достижения справедливого распределения богатства и обеспечения рабочему обладания полным продуктом он считает необходимым уничтожить все нетрудовые источники дохода, как-то: проценты, ренту и прибыль, основанную на юридических монополиях и привилегиях. Так он приходит к непосредственному столкновению с государством, которое, как он уповает, рано или поздно будет разрушено путём организации пассивного сопротивления принудительному взиманию налогов. Он считает необходимым расшатать и уничтожить все авторитарные учреждения и привести общество в жидкое состояние. Существующие неподвижные общественные и государственные установления должны быть заменены системой договора.

Я не стану детально излагать всей его программы; достаточно сказать, что она обещает революционизировать все человеческие отношения и открыть эру самых благоприятных условий для мирного прогресса.

Такер в высокой степени цельная личность – атеист, анархист, индивидуалист, сторонник свободной любви, – отличаясь этим от многих реформаторов, радикальничавших в одном направлении, и реакционных в другом. О последнего рода людях, встречающихся среди американцев, и писал когда-то Карл Гейнцен, что он «испытывает щемящую жалость при виде таких людей с размахом духовных исполинов, сегодня шагающих по пути свободы, а завтра малодушно сворачивающих с прямой дороги и падающих на колени пред часовой суеверия или ищущих убежища в приюте для малолетних. При всём своём таланте и свободомыслии они не имеют понятия о том, что мы, немцы, разумеем под радикализмом: то верховное место человеческого духа в природе, ту космическую многосторонность, ту гордую независимость в обнажении корней всякого знания и тот широкий кругозор и последовательность, которые дают

возможность охватить все законы развития в их совокупности и тем привести в гармонию самый процесс развития». Как ни справедливо это обвинение к американскому реформатору вообще, оно не приложимо к Такеру; ибо он в высокой мере наделён всеми атрибутами, в которых Гейнцен отказывает большинству реформаторов. Я боюсь даже, что с этой точки зрения Такер бы выдвинуть аналогичное обвинение и против столь крупного и свободного мыслителя, как Карл Гейнцен. И когда Эмерсон в своём опыте о «Политике» говорит, что ни в одном человеке не нашлось ещё столько веры в силу справедливости, чтобы она вдохновила его широким планом обновления государства на началах права и любви; что все, претендовавшие на подобный план, были частичными реформаторами и так или иначе допускали господство дурного государства; и что такие планы, хотя и гениальные и проникнутые верой, открыто считаются утопиями; то я мог бы, живи он в наши дни, обратить его внимание на Такера, который, хотя и на несколько иных основаниях, питает намерение совершенно преобразовать государство, и не утопически, а всерьёз, который никогда не признает господства дурного государства и на протяжении целого ряда лет упорно и умело отрицает власть законов.

Такер – неутомимый работник и неистощим в изобретении средств пускать в ход свои идейные мероприятия.

Насколько он ясный и смелый мыслитель, настолько же он ясный и изящный писатель. В писаниях его едва ли вы отыщете какую-нибудь двусмысленность; мысль его сразу бросается в глаза. Он в одном абзаце умеет больше сказать, чем иной в целой статье.

Он весьма уравновешенный человек и стойко держится на своей позиции в бурях мысли. По силе логики и последовательности он не имеет соперников.

Как личность, он милейший человек, однако не то, что называют «славный малый». У него очень мирный характер, чего, как выразился один его приятель, «отнодъ нельзя вывести из его писаний». Но он редко теряет спокойствие, несмотря на бездну волнений и разочарований, переживаемых в борьбе.

Предисловие

Впрочем, он всегда настолько занят, что друзьям не часто удаётся видеть его.

Джордж Шумм

Предисловие

«Вместо книги!» Я слышу, как читатель удивлённо восклицает, взяв в руки этот том и взглянув на обложку: «Как, да ведь это книга!» С внешней стороны – да; по существу же – нет. Конечно, это собрание последовательно пронумерованных печатных листов в одной обложке; но одного этого недостаточно, чтобы называться книгой. Книга, собственно говоря, есть прежде всего нечто единое и симметричное, проникнутой порядком и законченное; это литературное здание, каждая часть которого подчинена целому и создана для него. Предлагаемый том не удовлетрил бы этим требованиям; это не здание, а нагромождение мыслей, более или менее связный агрегат, каждая часть которого создавалась почти без всякого отношения к другой. Хотя и это не совсем верно; иначе была бы немислима и малейшая степень связности.

Факты таковы. В августе 1881 года я очень скромно начал издавать в Бостоне двухнедельный журнальчик под заголовком *Liberty*, т. е. *Свобода*. Он имел целью содействовать разрешению социальных проблем путём доведения до логического конца борьбы с властью – содействовать тому, Прудон называл «разложением правительства в экономический организм». Помимо возможности внести таким путём свою лепту я почти ничего не ждал от этого опыта.

Но крохотная газетка вскоре неожиданно для меня начала пользоваться влиянием, о котором я и мечтать не смел. Она получила огромное распространение. Чуть не в каждом значительном городе и во множестве мелких нашлись умы, достаточно зрелые для её восприятия. Каждый такой ум стал центром влияния, и менее чем в год возникло особое движение под столь счастливо изобретённым Прудоном именем анархизма, органом

которого *Liberty* была повсеместно признана. С этих пор газета не переставала существовать в самых разнообразных условиях, медленно, спокойно, но верно делая своё дело. Вдохновлённые ею, появились новые книги, народились журналы не только в различных углах Соединённых Штатов, но и в Англии, Франции, Германии и даже у антиподов. Анархизм теперь одна из мировых сил. Но в его литературе, при всей её обширности, не имеется систематического руководства. Меня нередко убеждали взяться за составление такового. До сих пор, однако, я был слишком занят и не предвижу возможности обладать досугом и впредь.

В ожидании человека, у которого окажутся необходимое время, средства и дарования для составления желаемой книги, решено было собрать воедино часть моих писаний в *Liberty*, придав им путём классификации некоторое подобие системы; здесь играло роль то соображение, что если эти писания, рассеянные там и сям, уже повлияли на многие умы, то в компактном и собирательном виде они могут оказать влияние ещё на большее число умов.

Предлагаемый том начинается статьёю о «Государственном социализме и анархизме», в суммарном виде охватывающей почти всю область моего труда. За нею следует главный отдел «Личность, общество и государство», трактующий основные начала человеческого единения. В третьем и четвёртом отделах идёт речь о приложении этих начал к двум великим экономическим факторам, деньгам и земле. Сверх того в этих двух отделах, а равно в пятом и шестом обсуждаются разнообразные авторитарные решения социальных проблем, враждебные этим началам – именно, гринбэкизм², единый налог, государственный социализм, и так называемый «коммунистический анархизм». Седьмой отдел касается методов, которыми эти начала могли бы быть осуществлены; а в восьмом сгруппированы статьи не

²Гринбэки – политическая партия, основанная в 1874 г. сторонниками неограниченного выпуска неразменных ассигнаций, выпущенных в 1862 г. правительством Соединённых Штатов по случаю гражданской войны. – *Прим. Ред.*

поддающиеся классификации, но которые по разным соображениям решено было сохранить.

Материал предлагаемого тома в значительной степени носит характер полемики. Это нередко вызывало необходимость в помещении статей не только автора (напечатанных особым шрифтом), без чего статьи автора были бы непонятны. Такого рода том должен изобиловать недостатками, как в стиле, так и по существу дела. Я слишком занят не только для того, чтобы писать книгу, но и для того, чтобы удовлетворительным образом просмотреть настоящий её суррогат. За немногими и незначительными исключениями статьи, здесь помещённые, сохраняют свой первоначальный вид. Много, в них содержащееся, носит личный и посторонний делу характер, и не попало бы в книгу, надлежащим образом изготовленную; было бы странно, притом, если бы в писаниях, обнимающих период в двенадцать лет, не встречалось погрешностей, особенно в терминологии и формах выражения. За эти и менее важные слабости я прошу снисхождения у критика, принимая во внимание обстоятельства дела. Но с другой стороны смело жду самого тщательного исследования центральных положений. Неповреждённые непрерывным огнём двенадцатилетней полемики, они застрахованы, по моему убеждению, от самой тяжёлой артиллерии. Посему, извиняясь за их форму и полный веры в их силу, я предлагаю читателям эти страницы *Вместо книги*.

В. Т.

Государственный социализм и анархизм.

В чём их сходство и в чём различие³

По всей вероятности, никакая агитация ни по числу своих сторонников, ни по степени своего влияния никогда не достигала такой силы, как современный социализм; в то же время ни одно учение не было так ложно истолковываемо, как социализм; и не только своими противниками и индифферентной массой, но и дружелюбно настроенными людьми и даже огромным большинством сторонников. Это неприятное и крайне опасное положение вещей обуславливается отчасти тем, что человеческие отношения, которые это движение (если столь хаотическое явление можно назвать движением) стремится преобразовать, обнимают не какой-либо отдельный класс или несколько клас-

³Летом 1886 г., вскоре после чикагской бомбы, автор получил от редактора *North American Review* предложение написать для него статью об анархизме. В ответ ему была отправлена настоящая статья. Через несколько дней автор получил письмо от редактора, в котором тот сообщал о приёме статьи для напечатания и отзывался о ней, как о самом талантливом произведении, когда-либо попадавшем в портфель редакции *Review*. В ближайшем номере *Review* на второй страницеобложки красовалось извещение, что такая-то статья (следовало заглавие и имя автора) в скором времени будет напечатана в журнале. Но проходил месяц за месяцем, а статья всё не появлялась. На многократные просьбы объяснить, в чём дело, ответа не было. Наконец, по истечении чуть не целого года, автор написал редактору, что он присылал статью для напечатания, а не для того, чтобы она валялась в ящике, и просит немедленно выяснить дело. В ответ он получил свою рукопись и чек на семьдесят пять долларов. Тогда он сделал некоторые изменения в своей статье, и прочёл её несколько раз на публичных лекциях, а 10 марта 1888 г. она была напечатана в *Liberty*.

сов, но буквально всё человечество; отчасти же тем, что по своей природе эти отношения бесконечно сложнее и разнообразнее тех, с которыми приходилось иметь дело социальным реформаторам; и, наконец, тем, что великие созидательные силы общества, средства просвещения и сообщения, находятся почти в исключительном распоряжении тех, чьи непосредственные денежные интересы противоречат основному требованию социализма – а именно, чтобы труд владел тем, что ему принадлежит.

Пожалуй, единственными людьми, хотя бы приблизительно понимающими смысл, основные положения и цели социализма, являются главные вожди крайних флангов социалистических сил, и, может быть, даже кое-кто из денежных королей. В последнее время каждый проповедник, профессор и газетный ловец пятаков считает своим долгом судить и рядить о социализме, чем возбуждает насмешки и жалость лиц, компетентных в этой области. Что лица, занимающие выдающееся положение в средних социалистических дивизионах, не вполне представляют себе, чего они хотят, с очевидностью явствует из занимаемой ими позиции. Если бы они хорошо себе представляли, если бы они мыслили логически, были, как говорят французы, *последовательными людьми* – то давно бы уже увидели необходимость примкнуть к одному из крайних флангов.

Поистине замечательно, что оба крыла огромной армии, интересующей нас в данное время, объединенные общим требованием, чтобы труд получил то, что ему причитается, в основных началах социальной тактики и приемах достижения желаемой цели более диаметрально расходятся друг с другом, чем с общим врагом своим, – господствующим общественным строем. Они исходят из двух начал, проследить историю которых равносильно тому, чтобы проследить историю мира с момента появления в нем человека; все же промежуточные партии, в том числе и защищающие существующий строй, основаны на компромиссе этих двух начал. Значит ясно, что всякая разумная и глубокая оппозиция существующему порядку должна исходить из того или иного крайнего лагеря; всякое другое движение, далекое от революционного протеста, может стремиться лишь к по-

верхностным изменениям, и поэтому неспособно сосредоточить на себе столько внимания и интереса, сколько его уделяется современному социализму.

Эти два начала – суть *Власть и Свобода*, а школы социалистической мысли, вполне и безусловно представляющие то и другое направление, носят название государственного социализма и анархизма. Кто знает, чего эти школы хотят, и как они предполагают добиться своей цели, тот и понимает, что такое социалистическое движение. Как нет дома, по пословице, на полдороге между Римом и Разумом, так нет его и на полпути между государственным социализмом и анархизмом. Из центра социалистических сил постоянно исходят два течения, концентрирующие их на левом и правом фланге; и если бы социализм победил, то весьма возможно, что после разделения флангов, после того, как существующий порядок будет раздавлен, между двумя лагерями возникла бы последняя и еще более ожесточенная борьба. В этом случае все сторонники восьмичасового рабочего дня, все тред-юнионисты, все Рыцари Труда⁴, все сторонники национализации земли, словом, все члены тысячи и одного различных батальонов, составляющих великую армию Труда, оставили бы свои старые посты, построились бы в два отряда друг против друга, – и началась бы великая битва. В этой статье я намерен объяснить, что означала бы в этом случае полная победа государственных социалистов, и что означала бы победа анархистов.

Но прежде я должен показать, что между ними общего, почему и те, и другие являются социалистами.

Экономические основы современного социализма представляют собой логический вывод из принципа, изложенного Адамом Смитом в первых главах «Богатства народов» – а именно, что труд есть истинное мерило ценности. Но Адам Смит, сформулировав этот принцип в отчетливой и сжатой форме, тотчас же забросил дальнейшее исследование его, вознамерившись показать, чем измеряется ценность в действительности и как

⁴Рыцари труда – партия, основанная в 1869 г. в Филадельфии. Впоследствии они слились с популистами. – *Прим. ред.*

в настоящее время распределяется богатство. С этого времени почти все политико-экономы по его примеру ограничивали свою задачу описанием общества в его нынешнем состоянии, его современных промышленных и торговых стадий. Социализм же, напротив, ставит своей задачей описание общества таким, каким оно должно быть, а также изыскание средств, при помощи которых его можно сделать таким, каким ему следует быть. Через пятьдесят с лишним лет после обнародования Смитом своего положения, социализм подхватил его в том месте, где Смит его оставил и, проследив его до конечных логических выводов, сделал фундаментом новой экономической философии.

По-видимому, это было сделано независимо друг от друга тремя различными людьми, трех различных национальностей, на трех различных языках: американцем Джозайа Уорреном; французом Пьером Прудоном; немецким евреем Карлом Марксом. Что Уоррен и Прудон пришли к своим выводам самостоятельно и независимо друг от друга, не представляет сомнения; но возможно, что Маркс своими экономическими идеями в значительной мере был обязан Прудону. Как бы то ни было, Марксово изложение этих идей в такой степени проникнуто его личным творчеством, что он с полным правом может претендовать на оригинальность в этой области. То обстоятельство, что этот интересный триумvirат творил почти одновременно, по-видимому, указывает, что социализм уже носился в воздухе, и что время и условия, благоприятные появлению этой новой школы философской мысли, уже назрели. Поскольку дело идёт о хронологическом первенстве, оно, по-видимому, принадлежит Уоррену, американцу, – обстоятельство, которое не помешало бы заметить американским предвыборным ораторам, ополчающимся на социализм, как на предмет иностранного привоза. В жилах этого Уоррена текла кровь революционера – он потомок того Уоррена, павшего у Бэнкер Гилля.

Из Смитова положения, что труд является истинной мерой ценности – или, как выразился Уоррен, что стоимость есть истинное мерило цены – эти три господина сделали следующие выводы: что естественной платой труда является его продукт;

что эта заработная плата или продукт, является единственным справедливым источником дохода (не считая, конечно, дарения, наследования и т.п.); что все, получающие доход из другого источника, прямо или косвенно вычитают его из естественной и справедливой оплаты труда; что этот процесс вычитания обыкновенно принимает одну из трех форм – процента, ренты и прибыли; что эти три вещи составляют троицу ростовщичества и попросту являются тремя различными способами взимания дани в пользу капитала; что так как капитал является просто накопленным трудом, уже получившим сполна свою плату, то он должен быть даровым, по принципу, что труд есть единственная основа ценности; что человек, ссужающий капитал, имеет право лишь на безущербное получение его обратно, и только; что единственная причина того, что банкир, биржевик, землевладелец, фабрикант и торговец имеют возможность вымогать у труда лихву, заключается в том, что за их спиной стоит юридическая привилегия или монополия; и что единственный способ обеспечить труду пользование полным продуктом, или естественной заработной платой, это – уничтожить монополию.

Не следует думать, будто Уоррен, Прудон или Маркс выражались буквально такими словами, или думали сказать буквально то, что изложено выше; но я довольно точно изложил главную сущность их идей в тех пределах, до которых они шли вместе. Чтобы меня не обвинили в неправильном изложении их положений и доводов, я считаю долгом заранее оговориться, что излагаю их с широкой точки зрения, и что в целях живого, яркого и отчётливого сравнения их между собой я взял на себя смелость располагать и даже излагать их мысли на свой лад; но убеждён, вместе с тем, что не исказил их ни в чём существенном.

Именно в этом пункте – по вопросу о необходимости уничтожить монополию – пути их разошлись. Дорога разветвилась. Они увидели, что должны свернуть или направо, или налево – пойти или стезею власти, или стезею свободы. Маркс пошел одной дорогой; Уоррен и Прудон – другой. Так родились государственный социализм и анархизм.

Займемся сперва государственным социализмом, который можно назвать *учением, что все человеческие дела должны вестись правительством, независимо от личного желания человека.*

Основатель его, Маркс, пришел к выводу, что уничтожить классовые монополии можно только путем сосредоточения и закрепления всех промышленных и торговых интересов, всех производственных и распределительных сил в руках государства, как одной огромной монополии. Правительство должно стать банкиром, фабрикантом, землевладельцем, транспортером и купцом, и во всех этих областях не должно терпеть конкуренции. Земля, инструменты, все орудия производства, должны быть изъяты из владения частных лиц и сделаться собственностью коллективного целого. Индивиду или частному лицу должны принадлежать продукты, подлежащие потреблению, а не средства производства их. Человек может быть собственником своей одежды и пищи, но не швейной машины, которая шьет ему рубаху, и не лопаты, которой он копает свой картофель. Продукт и капитал суть две вещи, существенно различные между собой; первый принадлежит индивидам, второй – обществу. Общество должно захватить принадлежащий им капитал, если можно, силой голосования, а если нельзя, то революционным путем. Однажды завладевши им, оно должно управлять им по принципу большинства, через посредство своего органа, государства; утилизировать его для целей производства и распределения, устанавливать все цены сообразно количеству потраченного труда и давать всему народу работу в своих мастерских, фермах, лавках и т. д. Нация должна превратиться в исполинский бюрократический механизм, а каждый индивид в государственного чиновника. Все должно делаться по принципу стоимости, так как у людей не будет побуждений стремиться к барышу. Так как индивидам не дозволяется иметь капитал, то никто не может нанимать другого, или даже сам наниматься. Каждый будет рабочим, и только государство работодателем. Кто не пожелает работать на государство, должен будет умереть с голоду, или, что вероятнее,

сесть в тюрьму. Всякая свобода торговли должна будет исчезнуть. Конкуренция исчезнет бесследно. Вся промышленная и торговая деятельность должна будет сосредоточиться в одной широкой, огромной, всеобъемлющей монополии. Средством от *монополии* будет *монополия*.

Такова экономическая программа государственного социализма по Карлу Марксу.

К чему приведет дальнейшее развитие этого начала власти, если его приложить к экономической сфере, нетрудно угадать. Оно приведет к абсолютному надзору большинства за поведением индивида. Право такого надзора уже признается государственными социалистами, хотя они утверждают, что в действительности индивиду будет предоставлено гораздо больше свободы, чем та, которой он пользуется в настоящее время. Но она ему будет лишь *предоставляться*, он не сможет претендовать на нее, как на нечто неотъемлемое. Общество не будет построено на гарантии равного пользования самой широкой свободой, какая только возможна.

Свобода будет лишь терпима и в любую минуту сможет быть отнята. Конституционные гарантии будут бессильны. В стране государственного социализма будет лишь один конституционный параграф: «Право большинства непререкаемо».

Утверждение государственных социалистов, что это право не будет осуществляться в случаях, касающихся самых интимных и частных сторон индивидуальной жизни, отнюдь не подтверждается историей правительств. Власть всегда стремилась усугубиться, расширить свою сферу, перешагнуть границы, отведенные ей; и там, где привычка сопротивляться такому искушению не встречает поощрения, а индивид не приучен ревниво охранять свои права, индивидуальность мало-помалу исчезает, и правительство или государство становится всемогущим фактором жизни. Контроль, конечно, сопутствует ответственности. Поэтому, при системе государственного социализма, считающей общество ответственным за здоровье, материальную обеспеченность и здравомыслие индивида, общество в лице своего большинства, конечно, все больше будет стремиться

регламентировать гигиенические и другие условия жизни, будет разрушать, а в конце-концов и совсем убьет личную независимость, а вместе с нею и всякое чувство индивидуальной ответственности.

Что бы государственные социалисты ни утверждали и ни опровергали, их система должна будет в конце-концов выродиться в государственную религию, которую все обязаны поддерживать своими средствами и у алтаря которой все должны будут преклонить колени; в государственную школу медицины, у представителей которой все больные обязаны будут лечиться; в государственную систему гигиены предписывающую, что каждый должен есть, пить, носить и делать, а чего не должен; государственный кодекс нравственности, который не будет довольствоваться наказанием преступлений, но будет запрещать все, что большинство признает пороком; государственную систему народного просвещения, которая упразднит все частные школы, академии и гимназии; государственную детскую, в которой все дети должны будут воспитываться сообща, за счет государства; и наконец, государственную семью, в которой мужчине и женщине нельзя будет иметь детей, если государство запретит им это, и никто не сможет отказаться иметь детей, если государство потребует этого. Так власть дойдет до кульминационной своей точки, и Монополия достигнет наивысшего могущества.

Таков идеал последовательных социалистов-государственников, и цель, лежащая в конце пути, начертанного Карлом Марксом. Теперь последуем за Уорреном и Прудоном, пошедшими по иному пути – пути Свободы.

Он ведет нас к анархизму, который можно охарактеризовать, как *учение о том, что все дела людей должны вестись отдельными личностями или добровольными союзами, и что государство должно быть упразднено.*

Когда Уоррен и Прудон в поисках справедливости для труда натолкнулись на препятствие в лице классовых монополий, они увидели, что эти монополии опираются на власть; из этого они сделали вывод, что необходимо отнюдь не усилить эту власть и этим придать монополии универсальный характер, а

наоборот, совершенно искоренить власть и дать полное развитие противоположному началу, свободе, сделав универсальной конкуренцию, прямую противоположность монополии. В конкуренции они видели могучее средство низвести цены до трудовой стоимости производства. В этом они соглашались с политико-экономами. Естественно, явился вопрос, почему все цены не падают до трудовой стоимости; куда отнести доходы, получаемые из иного источника, чем труд; словом, почему существует ростовщик, получатель процентов, ренты и прибыли. объяснение было найдено в нынешней односторонности конкуренции. Оказалось, что капитал так обставил законодательство, что неограниченная конкуренция предоставлена человеку в сфере предложения производительного труда, вследствие чего заработная плата держится на уровне недоедания, близкого к голодной смерти; что большая свобода конкуренции предоставлена ему в сфере распределения, или торгового, посреднического труда, благодаря чему не цены товаров, а коммерческая прибыль с них держится на уровне, приблизительно соответствующем справедливому вознаграждению за торговый труд; но почти никакой конкуренции не дается ходу в сфере предложения капитала, от которого находятся в зависимости как производительный, так и распределительный труд, благодаря чему размер денежного процента, квартирной платы и земельной ренты держится на невыносимой для народа высоте.

Сделав это открытие, Уоррен и Прудон обвинили политико-экономов в том, что они боятся собственной доктрины. Манчестерцы были обвинены в непоследовательности. Они признавали свободу конкуренции с рабочим в целях уменьшения его заработной платы, но не признавали свободы конкуренции с капиталистом в видах уменьшения взимаемого им процента. *Laissez faire* считалось очень хорошим соусом к гусаку, но совсем негодной приправой к гусыне. Но как поправить эту несостоятельность, как приготовить гусыню под тем же соусом, как предоставить капитал в распоряжение дельцов и рабочих за плату или совсем беспроцентно – вот в чём был вопрос.

Маркс, как мы видели, решил это тем, что объявил капитал вещью, отличной от продукта; он утверждал, что капитал принадлежит обществу, должен быть захвачен обществом употреблен на цели общего блага. Прудон же смеялся над этим различием между капиталом и продуктом. Он утверждал, что капитал и продукт отнюдь не представляют собой двух различных видов богатства, но просто являются переменными условиями или функциями того же богатства; что всякое богатство испытывает беспрестанное превращение из капитала в продукт и из продукта снова в капитал, и этот процесс тянется бесконечно; что капитал и продукт – чисто социальные термины; что то, что есть продукт для одного человека, то для другого сейчас же становится капиталом, и наоборот; что если бы в мире существовала только одна личность, то все богатство было бы для нее одновременно капиталом и продуктом; что плод труда А есть его продукт, который, будучи продан В, становится капиталом В (если В не является непроизводительным потребителем, в каковом случае капитал просто будет расходуемым богатством, независимо от точки зрения социальной экономии); что паровая машина в такой же мере является продуктом, как и пальто, а пальто такой же капитал, как и паровая машина, и что одним и тем же законам справедливости подчинено владение как первым, так и вторым.

По этим и другим соображениям Прудон и Уоррен не сочли возможным одобрить такую меру, как захват капитала обществом. Однако, противясь социализации права собственности на капитал, они стремились социализировать его последствия, сделав пользование капиталом благотельным для всех, между тем как обыкновенно он служит средством обогащения немногих за счет разорения большинства. Они увидели, что этого можно достигнуть подчинением капитала естественному закону конкуренции, что понизить цену пользования им до уровня стоимости – то есть расходов, необходимых для распоряжения капиталом и перемещения его. Тогда они развернули знамя Абсолютной Свободы Торговли, свободы как внутренней торговли, так и внешней; они сделали логический вывод из учения

манчестерцев, возвели *laissez faire* в универсальное правило. Под этим знаменем они начали борьбу с монополиями, будь то всеобъемлющая монополия государственных социалистов или различные классовые монополии, господствующие ныне.

Из этих последних они выделили четыре монополии, представляющие первостепенную важность: монетную монополию, земельную монополию, тарифную монополию и патентную монополию.

Первой по своей зловредности является монетная монополия, заключающаяся в привилегии, даруемой правительством некоторым лицам, или лицам, владеющим некоторыми видами имущества, на право выпуска обменных знаков, – привилегия, в Америке в настоящее время подкрепляемая национальным налогом в 10 проц., взимающимся со всех других лиц, которые желали бы выпускать монету, и государственными законами, объявившими преступлением выпуск кредитных билетов. Утверждают, что обладатели этой привилегии устанавливают высоту процента, наемной цены домов и помещений и цену товаров – первое прямо, второе и третье косвенно. Ибо, говорят Прудон и Уоррен, если бы банковское дело было доступно всем, то к этой специальности примыкало бы все большее число лиц, пока сильная конкуренция не понизила бы наемной платы за деньги до трудовой стоимости, которая, как показывает статистика, составляет меньше трех четвертей процента.

В этом случае тысячи людей, которые теперь не занимаются делом из-за неимоверно высокого процента, который приходится платить за первоначальный капитал, не встретили бы затруднений к займу. Если у них будет имущество, которое они желают превратить в деньги путем продажи, то банк возьмет его в обеспечение ссуды в размерах рыночной цены с учетом менее чем в один процент. Если у них нет имущества, но они трудолюбивы, честны и способны, то они найдут достаточное число надежных поручителей и получают ссуду под вексель, притом на самых льготных условиях. Так ростовщичество будет убито одним ударом. Банки в сущности уже не будут ссужать капитал, но будут вести дела капиталами своих клиентов; дела

же эти будут заключаться в обмене известного и живого кредита банков на неизвестный и мертвый, но такой же хороший кредит клиентов и во взимании за это менее одного процента не в виде лихвы за пользование капиталом, но в виде платы за труд по ведению банковского дела. Такая легкость добывания капитала придаст делам неслыханный подъем и, следовательно, вызовет беспримерный спрос на труд – спрос, который всегда будет превышать предложение, между тем как в настоящее время мы наблюдаем на рынке совершенно обратную картину. Тогда исполнятся слова Ричарда Кобдена о том, что когда два рабочих приходится на одного хозяина, то заработная плата падает, когда же два предпринимателя приходится на одного рабочего, то заработная плата поднимается. Труд сможет диктовать свои условия, он обеспечит себе естественную заработную плату, полный продукт. Тот же удар, который убьет процентщика, толкнет вверх заработную плату. Но это не все. Прибыль также упадет. Ибо торговцы, вместо того чтобы покупать по высокой цене в кредит, будут занимать деньги в банках за ничтожный процент, менее одного, и покупать по дешевой цене за наличные, значит, спустят цены и для своих покупателей. А затем падет и квартирная плата. Ибо никто, имея возможность занять капитал из одного процента и построить на него дом, не станет добровольно платить хозяину квартирной платы, превышающей один процент. Таковы горизонты, представившиеся Прудону и Уоррену в результате простой отмены монетной монополии.

Второе место по важности занимает земельная монополия, дурные плоды которой особенно заметны в чисто земледельческих странах, таких как Ирландия. Эта монополия заключается в укреплении правительством земельных владений, не основанных на личном захвате или обработке. Уоррену и Прудону было ясно, что как только отдельные лица лишатся поддержки ближних во всем, что не является личным завладением или обработкой земли, то земельная рента исчезнет, и лихоимство лишится еще одного из своих устоев. Их последователи склонны видоизменить это утверждение в том духе, что очень малая часть ренты, основанная не на монополии, а на превосходстве

почвы или местоположения, будет еще существовать некоторое время, а может быть и всегда; хотя в условиях свободы она непрерывно будет стремиться к минимуму. Но неодинаковость почв в качественном отношении, дающая начало экономической ренте за землю, точно также, как и неравенство человеческих дарований, дающее начало экономической ренте таланта, не представляет серьезной угрозы даже в глазах самых непримиримых врагов лихоимства; в природе их нет того зародыша, из которого вырастают другие, более важные неравенства, скорее их можно уподобить умирающей ветке, которая рано или поздно гнивает и отваливается.

Третья, тарифная, монополия заключается в поощрении производства в неблагоприятных условиях и по высоким ценам путем обложения тех, кто покровительствует производству по низким ценам и в благоприятных условиях. Зло, проистекающее от этой монополии, вернее будет назвать *малоимством*, чем лихоимством, ибо она заставляет труд платить не за пользование капиталом, а скорее за непользование им. Упразднение этой монополии повлекло-бы за собой сильное понижение цен не все обложенные предметы, а образовавшиеся таким образом у потребителей-рабочих сбережения дали-бы им возможность сделать еще шаг к обеспечению себе естественной заработной платы, полного продукта. Прудон допускал, однако, что упразднение этой монополии ранее монетной монополии было-бы жестокой и губительной мерой; во-первых потому, что недостаток денег – результат монетной монополии – усилился-бы вследствие отлива денег за границу, что повлекло-бы за собой превышение ввоза над вывозом, а во-вторых потому, что часть рабочих, ныне занятая в покровительствуемых отраслях промышленности, очутилась-бы на краю голодной гибели, не найдя немедленного применения своим силам, Свобода монетного дела внутри страны, которая повлечет за собой обилие денег и работы, является по Прудону предварительным условием свободного обмена товарами с заграницей.

Четвертая, патентная, монополия заключается в ограждении авторов и изобретателей от конкуренции на долгий срок,

дающий им возможность вымогать у народа вознаграждение, неизмеримо превышающее трудовую ценность их услуг; другими словами, она заключается в предоставлении некоторым людям на целый ряд лет права собственности на законы и явления природы, и права взимать с прочих людей дань за пользование этим естественным богатством, которое должно быть доступно всем. Упразднение этой монополии внушит тем, кто пользуется ею, спасительный страх конкуренции, который заставит их довольствоваться вознаграждением за свои услуги, не превышающим вознаграждения других тружеников; но это же и обеспечит их вознаграждение, ибо они с самого же начала будут выпускать на рынок свой труд и продукты по таким низким ценам, что их специальность не в большей мере будет соблазнять конкурентов, чем всякая иная.

Логическое развитие экономической программы, заключающейся в уничтожении этих монополий и замене их самой свободной конкуренцией, привело ее авторов к тому заключению, что их идеи построены на едином основном начале – начале свободы личности, ее права суверенитета, т. е. верховной власти над собою, продуктами своего труда и своими делами, и нежелания подчиняться велениям внешней власти. Как мысль об отнятии капитала у частных лиц и передаче его правительству привела Маркса на путь, в конце которого неизбежно придется признать в государстве все, а в личности – ничто; так и идея изъятия капитала из покровительствуемых правительством монополий и предоставления его на льготных условиях отдельным индивидам привела Уоррена и Прудона на путь, в конце которого личность будет всем, а правительство ничем. Если индивид имеет право управлять собою, то всякое внешнее правительство есть тирания. Следовательно, необходимо упразднить государство. Таков был логический вывод, к которому естественно пришли Уоррен и Прудон, и он стал краеугольным камнем их политической философии. Это – то учение, которое Прудон называл анархизмом, словом, по-гречески означающим не отсутствие порядка, как многие думают, а отсутствие правления. Анархисты полагают, что «лучшее правитель-

ство это то, которое меньше всего управляет», а правительство, которое меньше всего управляет вовсе не есть правительство. Правительству, опирающемуся на принудительное обложение граждан, они отказывают даже в простой полицейской функции охраны личности и собственности. Такую охрану, поскольку она необходима, они считают возможным организовать путем добровольного соединения и сотрудничества для целей защиты, которая может быть продаваема, как всякий другой товар, теми, кто предлагает его наилучшего качества по самой дешевой цене. На их взгляд заставлять человека оплачивать или получать защиту от нападения, которой он не просил и не желает, также есть нападение. Они утверждают, далее, что когда бедность, а с нею и порок исчезнут после осуществления их экономической программы, защита станет ненужным товаром. Принудительное обложение для них является жизненным нервом всех монополий, а пассивное, но организованное сопротивление сборщику налогов, в свое время сыграет роль одного из самых действенных средств к осуществлению их целей.

Их позиция в этом вопросе характеризует собою и их отношение ко всем другим вопросам политического или экономического свойства. В религии они атеисты, поскольку дело касается их собственных убеждений, ибо в божественном авторитете и религиозной санкции морали они видят главный предлог, выдвигаемый привилегированными классами для осуществления человеческой власти. «Если Бог существует, – сказал Прудон – то он враг человека». И в противоположность знаменитой фразе Вольтера: «Если бы Бога не существовало, то необходимо было бы его выдумать», великий русский анархист Михаил Бакунин выставил свое положение: «Если бы Бог существовал, то его необходимо было бы упразднить». И все же, считая духовную иерархию враждебной анархии и не признавая Бога, анархисты твердо стоят за свободу верить в него. Они горячо ополчаются на всякое ограничение религиозной свободы.

Защищая право каждой личности быть своим пастырем или избирать себе такового, они в то же время провозглашают право индивида быть своим собственным врачом или свободно

избирать себе такового. Ни монополии теологии, ни монополии медицины. Конкуренция во всем и всегда; духовный совет или медицинский совет одинаково должны держаться лишь силою своего достоинства. Этот принцип свободы должен быть соблюден не только в медицине, но и в гигиене. Личность в праве решать не только, что ей делать, чтобы иметь кусок хлеба, но и что делать, чтобы быть здоровой. Никакая внешняя власть не может указывать человеку, что ему можно есть, пить, носить и делать, а чего нельзя.

Равным образом анархическая философия не дает и морального кодекса, который можно было бы навязать индивиду. «Знай свое» – вот единственный моральный кодекс анархиста. Вмешательство в чужие дела есть преступление, и притом единственное, которому и можно сопротивляться надлежащими мерами. Сообразно с сим анархисты считают преступными сами попытки искоренения порока посредством произвола. Они убеждены, что свобода и связанное с нею общее благоденствие являются самым надежным лекарством от всех пороков. Но они признают за пьяницей, игроком, проституткой и кутилой право продолжать свой образ жизни, пока они добровольно не откажутся от него.

Что касается выращивания и воспитания детей, то анархисты не станут учреждать ни коммунистического детского сада в духе социалистов-государственников, ни покровительствовать школьной системе, господствующей в настоящее время. Нянька и учитель, точно также, как врач и священник, должны избираться по доброй воле родителя, а услуги их должны оплачиваться теми, кто о детях заботится. Родительские права не должны отниматься у человека, точно также, как его родительская ответственность не должна быть возлагаема на других.

Анархисты не колеблются приложить свои принципы и к такой деликатной области, как отношения между полами. Они признают и защищают право всякого мужчины и женщины любить друг друга столько времени, сколько они хотят или могут. Для анархистов и законный брак и законный развод одинаково являются нелепостью. Они надеются, что настанет

время, когда каждый индивид, будь то мужчина или женщина, будет жить собственным иждивением, будет обладать собственным домом – отдельным-ли зданием или квартирой в одном здании с другими; когда любовные отношения между этими независимыми личностями будут также разнообразны, как разнообразны индивидуальные влечения и склонности; и когда дети, рождающиеся от таких отношений, будут принадлежать исключительно матерям, пока не вырастут настолько, чтобы принадлежать самим себе.

Таковы главные черты общественного идеала анархии. Но мнения анархистов сильно расходятся по вопросу о наилучшем способе достижения его. Этот идеал совершенно расходится с идеалом коммунистов, называющих себя анархистами, и в то же время защищающих режим архизма, власти, столь же деспотичной, как государство социалистов. Этот идеал также трудно приблизить насильственной экспроприацией, рекомендуемой Иоганном Мостом и князем Кропоткиным, как и отдалить судебными приговорами, пославшими этих писателей в тюрьму; это идеал, торжеству которого чикагские мученики гораздо в большей мере послужили своей славной смертью на эшафоте за общее дело, чем неудачной защитой при жизни, во имя анархизма, силы как революционного агента, и власти как охранителя нового общественного строя. Анархизм видит в свободе одновременно и цель, и средство, и враждебен всему, что ей противоречит. Я не стал бы резюмировать этого и так слишком суммарного очерка социализма с точки зрения анархизма, если бы эта задача не была уже выполнена до меня блестящим французским журналистом и историком Эрнестом Лезинем, в виде ряда антитезисов; я позволю себе привести их в надежде усугубить впечатление, которое мне хотелось бы произвести в этой работе.

«Есть два социализма.

Один коммунистический, другой солидаритарный.

Один диктаторский, другой либертарный.

Один метафизический, другой позитивный.

Один догматический, другой научный.

Один эмоциональный, другой основан на рефлексии.

Один разрушительный, другой созидательный.

Оба стремятся к величайшему благополучию для всех, какое только возможно.

Один стремится установить счастье для всех, другой – дать каждому возможность быть счастливым на собственный лад.

Первый видит в государстве общество *sui generis*, особой природы, продукт некоторого божественного права, стоящий вне и над всяким другим обществом; оно наделено особыми правами и может требовать особого повиновения. Второй считает государство такой же ассоциацией, как и всякая другая, притом управляющейся по общему правилу хуже всяких других.

Первый провозглашает верховенство государства, второй не признает никаких суверенитетов.

Один желает, чтобы все монополии находились в руках государства; другой желает упразднения всяких монополий.

Один желает, чтобы класс управляемых стал правящим классом; другой желает исчезновения всяких классовых делений.

Оба заявляют, что существующий порядок вещей не может продолжаться.

Первый считает революцию необходимым фактором эволюции; второй учит, что только репрессия превращает эволюцию в революцию.

Первый верит в переворот.

Второй знает, что социальный прогресс обуславливается свободным проявлением индивидуальных сил.

Оба признают, что мы вступаем в новую фазу истории.

Один желает, чтобы были одни только пролетарии.

Другой желает, чтобы вовсе не было пролетариев.

Первый желает отнять все у всех.

Второй желает оставить каждому то, что ему принадлежит.

Один желает экспроприировать всех.

Другой желает, чтобы все были собственниками.

Первый говорит: «Делай то, чего желает правительство».

Второй говорит: «Делай то, чего сам желаешь».

Первый грозит деспотизмом.

Второй обещает свободу.

Первый делает гражданина подданным государства.

Второй делает государство слугою гражданина.

Один объявляет, что рождение нового мира будет сопряжено с мучениями.

Другой заявляет, что истинный прогресс никому не причинит страданий.

Первый верит в социальную войну.

Второй верит только в мирную работу.

Один стремится повелевать, регулировать, законодательствовать.

Другой желает свести до минимума необходимость повелевать, регулировать, законодательствовать.

За первым последовала бы самая жестокая реакция.

Второй откроет прогрессу безграничные горизонты.

Первый потерпит неудачу; второй добьется успеха.

И тот и другой желают равенства.

Один для этого считает нужным пригнуть головы, поднятые слишком высоко.

Другой – поднять головы, склонившиеся слишком низко.

Один видит равенство в общем подчинении игу.

Другой хочет обеспечить его полной свободой.

Один нетерпим, другой толерантен.

Один запугивает, другой ободряет.

Один желает поучать всех и каждого.

Другой желает дать каждому возможность учиться самостоятельно.

Первый желает всем оказывать поддержку.

Второй желает дать каждому возможность самостоятельно поддерживать себя.

Один говорит:

Земля – государству.

Руда – государству.

Орудие труда – государству.

Продукт – государству.

Другой говорит:

Земля – земледельцу.

Руда – рудокопу.

Орудие труда – трудящемуся.

Продукт – производителю.

Есть только два социализма.

Один находится в стадии детства; другой – в стадии зрелого мужества.

Один принадлежит прошлому; другой – будущему.

Один уступит место другому.

Каждый должен выбрать тот или другой социализм или сознаться, что он вовсе не социалист».

Индивид, общество и государство

Отношение государства к личности

(Речь, прочитанная в Институте пасторов-унитариев 14 октября 1890 г.).

Милостивые государыни и милостивые государи! По всей вероятности, честь, которой вы меня удостоили, предложив прочесть об «отношении государства к личности», объясняется главным образом тем, что обстоятельства до некоторой степени навязали мне роль защитника современного анархизма, – теории, которая все больше приобретает значение базиса политической и общественной жизни. От имени этой теории я и буду обсуждать затронутый вопрос, близко соприкасающийся почти со всеми практическими вопросами, интересующими наше поколение. Будущее тарифа, налогов, финансов, собственности, женщины, брака, семьи, избирательного права, народного образования, изобретений, литературы, искусства, личных привычек, особенностей характера, нравственности, религии, – все это определяется выводом, к какому человечество придет по кардинальному вопросу: обязан ли и в, какой мере обязан индивид повиновением государству.

Приступая к этому вопросу, анархизм считает необходимым прежде всего дать точные определения терминам. Популярное представление о политической терминологии не соответствует строгой точности, необходимой в научных изысканиях. Конечно, отказаться от популярного языка значит рисковать быть непонятым массой, упорно не желающей знать новых определений; но с другой стороны пользование популярной терминологией

создаёт ещё большую опасность – быть непонятым компетентными лицами, которые вправе будут заподозрить неясность мысли там, где в действительности будет лишь неточность выражения. Возьмём для примера термин «государство». Это слово у всех на устах. Но многие ли из тех, кто им пользуется, сознают, что оно обозначает? А в среде этих немногих какое разнообразие мнений! Мы обозначаем словом «государство» учреждения, воплощающие в себе самый крайний абсолютизм, и учреждения, смягчающие его большей или меньшей долей либерализма. Мы прилагаем это слово и к учреждениям, которые только нападают, и к таким, которые до некоторой степени также покровительствуют и защищают. Но в чём сущность государства, в нападении или в защите, по-видимому, мало кто знает или желает знать. Некоторые защитники государства очевидно считают нападение его главной сущностью, хотя и скрывают его словом «управление», которое они хотели бы, в меру возможности, распространить решительно на всё. Другие, напротив, считают главной его сущностью защиту и желают ограничить его функции полицейскими обязанностями. Третьи, наконец, думают, что оно существует и для нападения, и для защиты, скомбинированных соответственно потребностям момента или капризу тех, кто в данное время им управляет. Сталкиваясь со столь различными взглядами, анархисты, призванные в мир для упразднения нападения и всех зол, из него вытекающих, приходят к выводу, что их поймут лишь в том случае, если они придадут определённый и общепризнанный смысл терминам, которыми приходится пользоваться, особенно словам «государство» и «правление». Отыскивая элементы, общие всем учреждениям, к которым прилагается название государства, они нашли следующее: во-первых, нападение; во-вторых, присвоение исключительной власти над данной территорией и в её пределах, обыкновенно осуществляемой с двоякой целью – наиболее полного угнетения подданных и расширения границ. Что этот второй элемент присущ всем государствам, я думаю, никто не станет отрицать – мне, по крайней мере, не известны случаи, чтобы какое-либо государство когда-либо

терпело в своих пределах соперничающее государство; очевидно, такое государство, которое бы это терпело, само перестало бы быть государством, да и другими не признавалось бы за таковое. Осуществление власти над одной и той же территорией двумя государствами есть противоречие. Но, может быть, не все согласятся, что первый элемент, нападение, был и есть присущ всем государствам. Тем не менее я не буду пытаться подкреплять мнение Спенсера, всё больше находящее себе сторонников, – именно, что государство родилось из нападения и со дня рождения своего было агрессивным учреждением. Защита появилась впоследствии, под влиянием необходимости: и принятие государством на себя этой функции, несомненно предпринятой с целью усиления государства, в действительности и по существу было началом его разрушения. Возрастающее значение этой функции лишь свидетельствует о назревающем стремлении к упразднению государства. Поэтому анархисты утверждают, что не защита является существенным признаком государства, а нападение, посягательство. Но что такое нападение? Это просто другое название управления. Нападение, захват, управление – всё это равнозначные термины. Сущность управления заключается в контроле, в руководстве, или в покушении на контроль. Тот, кто пытается контролировать другого, есть правитель, нападающий, захватчик. Природа такого нападения отнюдь не изменяется, будет ли оно произведено одним человеком на другого в духе обыкновенного преступления, или же одним человеком на всех других людей, по способу абсолютной монархии, или всеми людьми на одного, по способу современной демократии. С другой стороны тот, кто сопротивляется покушениям ближнего руководить им, не есть ни нападающий, ни захватчик, ни правитель, а есть защитник, страж, покровитель. Внутренний характер такого сопротивления остаётся неизменным, будет ли оно оказано одним человеком другому человеку, наподобие самозащиты от преступника; или же одним человеком всем другим людям, когда он отказывается повиноваться деспотизму закона; или же всеми людьми одному человеку, когда народ восстаёт против деспота, либо члены общины добровольно соединяются,

чтобы отразить преступника. Это различие между нападением и сопротивлением, между правлением и защитой представляет первостепенную важность. Без него не может быть построена правильная философия политики. На этом различии и других вышесказанных соображениях анархисты и строят необходимые определения. Вот, например, анархистское определение правления: подчинение ненападающего индивида внешней воле. А вот анархистское определение государства: воплощение принципа нападения в одной личности или банде людей, дерзающих действовать в качестве представителей или господ всего народа, живущего на данной территории. Что касается слов «индивид» или «личность», то они, я думаю, не представляют затруднений. Оставляя в стороне тонкости, в которые ударились некоторые метафизики, этим словом можно смело пользоваться без риска быть непонятым. Получат ли эти термины общее признание или нет, не так уж важно. Я думаю, они в достаточной мере научны и способствуют ясному изложению мыслей. Дав им надлежащее объяснение, анархисты вправе пользоваться ими для развития своих идей.

Итак, возвратимся к вопросу: какие отношения должны существовать между индивидом и государством? Обыкновенно он разрешается при помощи какой-нибудь этической теории, оперирующей понятием нравственного долга. Но анархисты не питают доверия к такому методу. Они совершенно не признают идеи нравственного долга, прирождённых прав и обязанностей. Все обязанности они считают не моральными, а социальными, да и то признают их обязательность лишь в том случае, если они приняты на себя человеком вполне добровольно и сознательно. Если человек входит в соглашение с несколькими людьми, то они вправе соединёнными силами заставить его выполнить условленное; но помимо таких соглашений ни один человек, насколько анархистам известно, не заключал ещё договоров с богом, или какой-бы то ни было другой силой. Анархисты не только утилитаристы, но и эгоисты в наиболее полном и крайнем значении этого слова. Единственной мерой прирождённого права, по их мнению, является только сила. Всякий

человек, называется ли он Биллем Сайксом или Александром Романовым, и всякая группа людей, будут ли это китайские головорезы или конгресс Соединённых Штатов, – имеют право, если в их руках сила, убивать или принуждать других людей, или подчинить весь мир своим целям. Право общества на порабощение индивида и право индивида на порабощение общества неравны между собой только потому, что их силы неодинаковы. Так как это положение противоречит всякой системе религии и морали, то я, конечно, не ожидаю встретить немедленного одобрения слушателей; равным образом я не имею времени заняться тщательным, или хотя бы суммарным исследованием основ этики. Кто желает ближе познакомиться со взглядами анархизма на этот предмет, может прочесть глубокий труд *Штирнера* «Единственный и его достояние».

Итак, анархисты вопрос права считают исключительно вопросом силы. К счастью, здесь дело идёт не о праве; рассматриваемая нами проблема – вопрос целесообразности, знания, науки – науки общежития, науки об обществе. История человечества в главных чертах представляет собой длительный процесс постепенного раскрытия того обстоятельства, что индивид выигрывает от общества ровно постольку, поскольку оно свободно, и того закона, что необходимым условием долговечной и гармонической общественной организации является величайшая индивидуальная свобода, в равной мере принадлежащая всем. В каждом поколении человек всё с большим сознанием и убеждённо говорил себе: «Мой сосед не враг мне, а друг, и я ему буду другом, если мы оба признаем этот факт. Мы помогаем друг другу в устройстве лучшей, более полной и счастливой жизни; ценность этих взаимных услуг удесятерилась бы, если бы мы перестали притеснять, ограничивать и угнетать друг друга. Почему бы нам не условиться предоставить каждому жить на свой лад, но так, чтобы никто из нас не переступал границ чужой индивидуальности?» Путём таких рассуждений человечество приближается к истинному общественному договору, который отнюдь не был началом общества, как полагал Руссо, но ещё только явится результатом долгого социального опыта,

плодом безумий и бедствий. Очевидно, такой договор, такой социальный закон в своём наиболее полном развитии исключает всякое нападение, всякое нарушение равенства свободы, всякий захват. Рассматривая этот договор параллельно с анархистским определением государства, как воплощения захватного начала, мы видим, что государство враждебно обществу; а так как общество является существенным элементом индивидуальной жизни и развития, то очевидно, что отношение государства к личности и личности к государству должно носить характер вражды, которая прекратится лишь с исчезновением государства.

Но анархистов могут спросить: «А как же быть с теми лицами, которые несомненно будут нарушать социальный закон, нападая на своих соседей?» На это анархисты отвечают, что упразднение государства не мешает существованию оборонительного союза, построенного не на принуждении, а на добровольном соглашении, который и будет держать насильников в границах всеми необходимыми мерами. «Но ведь это то, что мы имеем сейчас»; могут мне возразить; «вам важно, значит, переменить название?» Нет, это не то. Можно ли с чистой совестью утверждать, что государство, даже в той форме, в какой оно существует в Америке, есть чисто оборонительное учреждение? Нет, скажет всякий, кроме тех, кто видит в государстве лишь самое осязательное его проявление – городского на перекрёстке. Действительно, стоит лишь присмотреться к государству поближе, чтобы убедиться в ошибочности упомянутого утверждения. Самый первый акт государства, принудительное обложение и взимание податей, уже является нападением, нарушением равенства свободы, и отравляет собою все последующие его акты; даже те акты, которые были бы чисто оборонительными, если бы оплачивались из казначейства, пополняемого добровольными приношениями. Можно ли, например, оправдать по закону равной свободы конфискацию у человека денег в уплату за покровительство, которого он не искал и не желает? И если это самоуправство, то как назвать такую конфискацию, когда жертве вместо хлеба даётся камень, и вместо защиты притеснение? Заставлять человека платить за

нарушение его же свободы поистине значит прибавлять оскорбление к насилию. Но именно это и делает государство. Прочтите «Архивы конгрессов», проследите протоколы законодательных собраний; просмотрите сборники статуты; подвергните каждый акт критерию закона равной свободы, – и вы увидите, что добрые девять десятых существующего законодательства направлены не к укреплению основного социального закона, но либо к руководительству личными вкусами индивида, либо, что ещё хуже, к созданию и поддержке торговых, промышленных, финансовых и владельческих монополий, лишаящих труженика значительной части вознаграждения, которое он получал бы на совершенно свободном рынке. «Быть управляемым, – говорит Прудон – значит быть отслеживаемым, находиться под наблюдением, надзором, руководством, под гнётом закона, подвергаться поучениям, вышколиванию, проповедям, вмешательству, одобрению, порицанию, приказам лиц, не имеющих на это полномочий, не обладающих ни надлежащими знаниями, ни добродетелью. Быть управляемым значит терпеть, чтобы каждое ваше действие, движение, сделка отмечалась, заносилась в реестр, учитывалась, оценивалась, измерялась, исчислялась, облагалась, разрешалась, отклонялась, получала соизволение, подвергалась исправлению, переделке и т. д. Быть управляемым значит под предлогом общей пользы и интересов общества, быть вынужденным платить дань, терпеть вымогательства, эксплуатацию, грабёж; а при малейшем сопротивлении, при малейшей попытке жаловаться – подвергнуться притеснениям, штрафу, унижению, издевательствам, преследованию; вас поволокут, побьют, обезоружат, свяжут, бросят в тюрьму, расстреляют, предадут суду, осудят, сошлют, замучают, продадут, обманут и в довершение всего насмеются, надругаются, опозорят». Я думаю, мне нет надобности поименовать вам существующие законы, в точности соответствующие и подтверждающие почти каждый пункт длинного обвинительного заключения Прудона. Кто станет теперь утверждать, что существующий политический строй носит чисто оборонительный характер, а не является

агрессивным государством, которое анархисты желают упразднить!

Возникает другое соображение, имеющее прямое касательство к агрессивному индивиду, которого так боятся противники анархизма. Не описанное ли нами выше обращение главным образом и повинно в существовании таких индивидов. Не помню, где я прочёл однажды такую надпись, сочинённую для некоторого благотворительного учреждения:

«Благочестивый муж воздвигнул сей приют,
Тех по миру пустив, что в нём ныне живут».

Такая надпись, мне кажется, вполне приличествовала бы нашим тюрьмам. Они наполнены преступниками, которых создало наше добродетельное государство своими несправедливыми законами, жестокими монополиями и ужасными социальными условиями, из них вытекающими. Мы издаём кучу законов, фабрикующих преступников, и затем несколько таких, которые их наказывают. Можно ли надеяться, что новые социальные условия, которые должны последовать за упразднением всякого вмешательства в производство и распределение богатства, в конце-концов настолько изменят привычки и склонности людей, что наши тюрьмы и участки, городские и солдаты – словом весь механизм и снаряжение защиты станет совершенно излишним? Анархисты, по крайней мере, твёрдо в этом уверены. Эта вера отдаёт утопией, но в сущности она покоится на строго экономических данных. Я не располагаю временем, чтобы изложить вам взгляд анархистов на зависимость ростовщичества, а следовательно и нищеты, от монопольных привилегий, особенно же банковской привилегии; и показать, каким образом интеллигентное меньшинство, воспитанное в духе анархизма и решившееся осуществлять то право игнорирования государства, которое так блестяще отстаивает Спенсер в своей «Социальной статистике», могло бы, плюнув на все национальные и государственные банковские запреты, учредить взаимный банк для конкуренции с существующими монополиями. Это был бы первый и самый важный шаг к упразднению ростовщичества

и государства, и, как он ни прост, последствия его были бы неисчислимы.

Я должен извиниться за краткость высказанных мной соображений, из которых каждое могло бы быть развито в целый трактат. Но если мне удалось дать вам представление о взглядах анархистов на отношение государства к индивиду, то я могу считать свою задачу исполненной. Но мне желательно было бы глубже запечатлеть в ваших умах идею истинного общественного договора, и потому я позволю себе сделать ещё одну выдержку из Прудона, которому я обязан большей частью того, что мне известно по затронутому вопросу. Сопоставляя власть со свободным договором, он говорит в своей «Общей идее революции в девятнадцатом веке».

«О дистанции, разделяющей эти два режима, мы можем судить по различию в их стилях.

Одним из самых торжественных моментов в развитии начала власти является обнародование десяти заповедей. Голос ангела повелевает народу, распростёртому во прах, у подножия Синая:

Ты должен преклоняться предвечному и только Предвечному.

Ты должен клясться только Его именем.

Ты должен соблюдать Его праздники и платить Ему десятину.

Чти отца своего и мать свою.

Не убий.

Не укради.

Не прелюбы сотвори.

Не послушествуй свидетельства ложна.

Не будь завистником и не клевети.

Ибо Предвечный так повелевает, а Предвечный создал тебя тем, что ты есть. Один предвечный царствует, только Он мудр, только Он достоин; Предвечный карает и награждает. По своей воле Он может тебя сделать несчастным или счастливым.

Все законодательства усвоили этот стиль; все они, обращаясь к человеку, употребляют верховную формулу. Еврей-

ский язык повелевает в формах будущего времени, латинский в повелительном, греческий в неопределённом наклонении. У современных народов дело обстоит не иначе. Трибуна парламента – это Синай, столь же непогрешимый и грозный, как и моисеев; каков бы ни был закон, из чьих бы уст он ни исходил, он священен, раз он провозглашён той пророческой трубой, которую у нас являет большинство.

Ты не должен собираться.

Ты не должен печатать.

Ты не должен читать.

Ты должен почитать твоих представителей и чиновников, которых случайность выборов или благоусмотрение государства дали тебе.

Ты должен повиноваться законам, которые им в своей мудрости угодно будет издать.

Плати налоги неукоснительно.

И возлюби правительство, твоего Господа Бога, всем сердцем твоим и всем помышлением твоим, ибо правительство лучше тебя знает кто ты таков, чего ты стоишь, что для тебя благо; ибо оно имеет возможность наказывать тех, кто не повинуется его приказам, равно как и награждать до четвёртого поколения тех, кто ему угождает.

С революцией дело обстоит совершенно иначе.

Изыскание первых и конечных причин устраняется как из экономики, так и из естественных наук.

В философии идея Прогресса сменяет идею Абсолюта.

Революция сменяет откровение.

Разум с помощью опыта раскрывает человеку законы природы и общества; затем он говорит ему:

Эти законы – законы самой необходимости. Человек их не создал; человек их не навязывает тебе. Они были открыты постепенно, и я существую лишь затем, чтобы свидетельствовать об их существовании.

Если ты их будешь соблюдать, ты будешь справедлив и добр.

Если ты их нарушишь, ты будешь справедлив и порочен.

Других оснований я не могу тебе указать.

Среди твоих товарищей некоторые уже признали, что при справедливости всем и каждому лучше, чем при несправедливости; и они уговорились между собой взаимно соблюдать и почитать правила сделки, диктуемой им природой вещей, и которая одна только и может обеспечить им благополучие, мир и безопасность в самой полной мере.

Желаешь ли ты примкнуть к их соглашению, составить часть их общества?

Обещаешь ли ты уважать честь, свободу и имущество твоих собратьев?

Обещаешь ли ты никогда не присваивать ни насилием, ни обманом, ни ростовщичеством, ни путём спекуляции продукта или собственности ближнего?

Обещаешь ли ты никогда не лгать и не обманывать, ни в суде, ни в делах, ни в других сношениях с людьми?

Ты волен принять эти условия или отказаться.

Если ты откажешься, ты станешь частью общества дикарей. Лишённый общения с человечеством, ты станешь предметом подозрения. Никто тебя не защитит. При малейшем оскорблении первый попавшийся сможет поднять на тебя руку и будет обвинён, самое большее, что в жестокости, без нужды učinённой над животным.

Напротив, если ты примкнёшь к договору, ты станешь частью общества свободных людей. Все твои братья войдут с тобой в соглашение, обещают тебе верность, дружбу, помощь, услугу, взаимность. В случае правонарушения с той или другой стороны, učinённого по небрежности, под влиянием страсти или злобы, вы отвечаете друг перед другом, как за вред, так и за бесчестие, или риск, причинённый вашим поступком; эта ответственность может доходить, смотря по степени тяжести проступка и его частоте, вплоть до изгнания и смертной казни.

Закон ясен, санкция ещё яснее. Три статьи, сливающиеся в одну – вот и весь общественный договор. Вместо того, чтобы клясться богу и его князю, гражданин ручается своей совестью перед своими братьями и перед человечеством. Между этими

двумя клятвами такая же разница, как между рабством и свободой, верой и наукой, судами и справедливостью, ростовщичеством и трудом, управлением и домоводством, небытием и бытием, богом и человеком».

Наши цели⁵

(*Liberty* 6 августа 1881 г.)

Liberty, Свобода, выступает на широкое поле журналистики, чтобы говорить за себя так, как не находит вокруг себя никого, кто желал бы говорить за неё. Они нигде не слышит голоса, который спорил бы за неё, не знает пера, которое писало бы в её защиту, не видит руки, которая поднялась бы в возмездие за оказанные ей несправедливости или в защиту её прав. Многие думают, что говорят от её имени, но лишь немногие её в действительности понимают. Ещё меньше таких, у кого хватило бы мужества и времени упорно бороться за неё. Ей предстоит, поэтому, самой биться и самой приходиться к победе. И с бесстрашной решимостью идёт она на бой.

Её противник, Власть, имеет многообразные формы, но в общих чертах её врагов можно разделить на три класса. Это, во-первых, те, кто отвергает её и как средство и как цель прогресса, выступая против неё гласно, открыто и искренне, всегда и повсюду. За ними следуют те, кто, хотя и видит в ней средство прогресса, но признаёт её лишь постольку, поскольку она служит их собственным эгоистическим интересам, отказывая в ней и в её благах остальному человечеству. Наконец, третий класс составляют те, кто отрицает за ней значение средства прогресса, видя в ней лишь конечную цель, которая может быть достигнута только после того, как она будет сперва поругана, изнасилована и растоптана ногами. Эти три ступени борьбы со свободой можно проследить почти во всякой области мысли и человеческой деятельности. Прекрасный пример первой категории дают – католическая церковь и русское

⁵Вступительная статья *Liberty*

самодержавие; вторая представлена протестантской церковью и манчестерской школой в политике и политической экономии; образцами третьей могут служить атеизм Гамбетты и социализм Карла Маркса.

Другая, поперечная демаркационная линия делит все эти три формы власти на власть божественную и человеческую или, лучше, власть религиозную и светскую. Победа Свободы над первой почти завершена. Век Вольтера разрушил власть сверхъестественного. С тех пор церковь падала в своём значении. У неё вырывали её ядовитые зубы, и хотя она местами ещё обнаруживает признаки жизни, но это лишь судороги её предсмертной агонии; скоро её власть совсем не будет чувствоваться никем. Но после неё нам в будущем грозит власть человеческая в лице своего органа, Государства. Те, кто потерял веру в богов только для того, чтобы перенести её на правительство; кто перестал поклоняться церкви только для того, чтобы поклониться Государству; кто переименовал папу в короля или царя, а священника в президента или парламент, – те, правда, оставили прежнее поле битвы, но отнюдь не стали меньшими врагами Свободы. Церковь сделалась предметом насмешки; Государство должно им сделаться в свою очередь. Государство, говорят, есть «необходимое зло»; оно должно стать не необходимым. Борьба нынешнего века есть, поэтому, борьба с Государством; с Государством, которое принижает мужчину, протитирует женщину и развращает ребёнка, которое налагает путы на любовь и душит мысль; которое монополизирует землю, ограничивает кредит и суживает обмен, которое даёт праздному капиталу возможность приращения, а у трудолюбивого работника насильственно отнимает плоды его труда в виде процентов, ренты, прибыли и налогов.

Как Государство это делает и как воспрепятствовать ему в этом, – *Liberty* намерена показать обстоятельнее на пути к поставленным ею себе целям. Теперь же достаточно сказать, что мнополия и привилегия должны быть уничтожены, всем должен быть предоставлен равный доступ к труду, а конкуренция должна поощряться. Такова задача *Liberty*, а её боевой клич – «Долой власть!»

Договор или организм

(*Liberty* 30 июля 1887 г.)

В лондонском журнале *Jus* обсуждается в настоящее время очень интересный и важный вопрос, именно, о принудительном и добровольном обложении налогами. В номере от 17 июня Ф. Рид поместил статью, из которой я привожу следующие строки:

«Добровольное обложение означает в сущности разложение государства на его составные элементы и предоставление ему возможности вновь соединиться каким-нибудь образом или даже совсем не соединяться – как будет угодно случаю. Значит, ничто не могло бы помешать образованию в Англии пяти или шести «государств», причём члены всех этих «государств» жили бы, быть может, в одном и том же доме! Предложение это, как мне кажется, вытекает из взгляда на государство, как на учреждение, покоящегося или долженствующее покоиться на договоре, подобно акционерной компании. Оно напоминает по своей идее блаженной памяти теорию «первоначального договора». Последняя считала, что государство должно покоиться на договоре; так как в исторические времена мы не знаем никаких договоров, то она предполагала наличие доисторического договора. Сторонник же добровольного обложения утверждает, что договора никогда и не было, что, следовательно, государство никогда не имело под собою этической основы, потому и мы не желаем договора. Разрушение всей этой проблемы дано, по моему мнению, мистером Уордсворт Дониетропом, показавшим, что государство его общественный организм, развивающийся, как и всякий иной организм, и столь же мало, как и другие организмы, нуждающийся для своей целостности в договоре – первоначальном ли, современном ли».

* * *

Утверждение мистера Рида, что сторонник добровольного обложения является противником Государства именно потому,

что оно не покоится на договоре, и желал бы обосновать его на договоре – совершенно правильно; и я очень рад видеть (в первый раз, если мне не изменяет память), что противник этой идеи принимает её. Но мистер Рид затемняет свою, казалось бы, ясную мысль замечанием, что идея добровольного обложения «вытекает из взгляда на государство, как на учреждение, *основанное или долженствующее быть основанным на договоре*». Это замечание было бы правильно, если бы автор опустил подчеркнутые мною слова⁶. Вставивши же их, он получил возможность проводить совершенно неосновательную аналогию между анархистами и последователями Руссо. Последний полагал, что Государство возникло из договора, и что граждане, населяющие Государство в настоящее время, хотя и не заключали договора, но связаны им. Анархисты же, наоборот, отрицают, чтобы когда бы то ни было был заключён подобный договор, и заявляют, что если даже таковой и был когда либо заключён, то он не может налагать и тени ответственности на тех, кто непосредственно не участвовал в его заключении. Они потому требуют права вступать в такие договоры, какие они считают для себя наилучшими. Положение, что человек может сам заключать для себя договоры, не только не аналогично положению, делающему человека подчинённым договорам, заключённым другими, но является его прямой противоположностью.

Совершенно верно и то, что добровольное обложение не могло бы непременно «помешать образованию пяти или шести государств в Англии» и что «члены этих государств жили бы, быть может, в одном и том же доме». Я только не вижу причины, побудившей мистера Рида поставить после этого замечания восклицательный знак. Что за беда? В Англии существует гораздо более пяти или шести Церквей, и часто случается, что члены нескольких из них живут в одном и том же доме. В Англии функционирует гораздо более пяти или шести страховых обществ, и уж совсем не редкостью является то обстоятельство, что члены одной и той же семьи страхуют свою жизнь на случай несчастья или своё имущество на случай пожара в различных

⁶ Не совсем понятно, какие именно слова подчеркнуть – *прим. наборщика*

обществах. Но разве из этого проистекает какой-нибудь вред? Почему же в таком случае в Англии не может быть и большего числа обществ безопасности, в которых люди, даже состоящие членами одной и той же семьи, могли бы страховать свою жизнь и имущество от убийц и воров? Хотя мистер Рид и усвоил одну мысль сторонников добровольного обложения, но я опасаясь, что он с гораздо меньшей ясностью понимает другую их мысль, именно мысль о том, что охрана безопасности есть такая же услуга, как и всякая другая; что, будучи трудом и полезным и необходимым для людей, она, как экономическая ценность, подлежит закону спроса и предложения; что свободный рынок мог бы снабжать людей этим товаром по стоимости производства; что при господстве конкуренции охрана безопасности перешла бы в руки тех, кто доставлял бы наилучший товар за наинизшую цену; что производство и продажа этого товара в настоящее время монополизированы государством; что Государство, подобно всем почти монополистам, взимает чрезмерные цены и, подобно всем почти монополистам, поставяет негодный или почти негодный товар; что подобно тому, как монополист часто снабжает потребителя ядом вместо пищи, так и государство пользуется своей монополией на охрану безопасности, чтобы организовать нападение – вместо защиты; и как защитники первого платят для того, чтобы быть отравляемыми, так и защитники второго платят для того, чтобы быть порабощёнными; наконец, что Государство превосходит всех монополистов по степени своей гнусности, ибо оно одно пользуется привилегией принуждать всё население покупать его продукт, всё равно, нуждаются ли они в нём, или нет. И если пять или шесть «государств» вынуждены были бы вывесить свои вывески, то люди, думается мне, в действительности могли бы купить за умеренную плату самый лучший вид безопасности. И что ещё важнее: чем лучше были бы их услуги, тем менее в них нуждались бы. Таким образом, увеличение числа «государств» приводит к уничтожению государства.

Впрочем, все эти соображения, по мнению мистера Рида, уничтожаются его последним утверждением, «что Государство

есть общественный организм». Он считает это положение «решением всей проблемы». Но – право же, – оно совершенно не относится к делу. Предположим, что Государство есть организм. Что же из этого следует? Что Государство должно всегда существовать? Но разве история не представляет собой непрерывной смены разложений одних организмов рождением и развитием других, разлагающихся в свою очередь? Разве Государство свободно от действия этого закона? Если да, то почему? Вы говорите, что государство – организм? Пусть так, но тогда оно – тигр. И если я встречу его, имея при себе ружьё, его организм разрушится очень скоро. Государство – это тигр, стремящийся пожрать людей, и они должны убить или изувечить его, ибо их собственная безопасность зависит от этого. Но мистер Рид утверждает, что этого нельзя сделать. «Власть Государства никоим образом не может быть ограничена». Это должно сильно разочаровать мистера Дониетропа и *Jus*, трудящихся над обузданием государства. Если мистер Рид прав, то их труд пропал даром. Но прав ли он? Если он не может доказать этого, то их дело будут продолжать сторонники добровольного обложения и анархисты, вдохновлённые верой, что принудительное и насильственное Государство обречено на гибель.

Сущность государства

(*Liberty* 22 октября 1887 г.)

Ниже я привожу из лондонского *Jus* ответ мистера Ф. Рида, на передовую статью 104 номера *Liberty*, озаглавленную: «Договор или организм?»

К редактору журнала Jus

Вдумываясь в разбор мистером Такером моих писем о добровольном обложении, напечатанных в *Jus*, я убеждаюсь, что центр тяжести спора лежит в понимании государства как организма. Я поэтому

коснусь раньше всего этой стороны дела, хотя мистер Такер и затрагивает его лишь в конце своей статьи. Мистер Такер с изумлением спрашивает, почему государство, будучи организмом, остаётся тем не менее вечным и свободным от разложения. Но я этого никогда не говорил. Разве мистер Такер не видит, что разложение организма есть нечто совершенно иное, чем разложение совокупности атомов, не соединённых никакой органической связью? Если население какого-либо Государства слилось воедино вчера или третьего дня, то не произойдёт никакого особенного вреда от того, что оно расколется на множество самостоятельных частей; но если народ складывался и развивался поколение за поколением и век за веком, то разрушение установившихся в нём взаимоприспособлений и соотношений вряд ли может сопровождаться сколько-нибудь плодотворными результатами. Тигр – организм, говорит мистер Такер, но, застреленный, он быстро дезорганизуется. Совершенно верно; но ведь никто при этом не делает предположения, что атомы тела тигра извлекают из этого процесса какую-либо пользу для себя. Почему же атомы политического тела должны получить выгоду из разложения организма, часть которого составляют они сами? Но ещё более поразительно, что мистер Такер мог поставить Государство на одну доску с церковью и страховыми обществами. Неужели мистер Такер серьёзно думает, что пять или шесть «Государств» могут существовать бок о бок с таким же удобством, как и соответственное число церквей? Трудность определения того, к какому «Государству» относится тот или иной индивидуум, была бы практически непреодолима. Как будет поступлено в случае нападений и грабежей? Будет ли виновный судим «государством», гражданином которого он является или «государством», к которому

принадлежит пострадавшая сторона? Если он будет судим своим собственным «государством», то каким образом полицейский чиновник этого «государства» узнает, принадлежит ли к нему данный индивид или нет? Эти трудности так огромны, что Государство было бы очень скоро преобразовано на старый лад. Другая величайшая трудность заключается в том, что Государство не могло бы заключать никаких договоров. Раз Государство рассматривается как простая совокупность индивидов, то кто будет ссужать деньги под гарантию Государства? Ведь Государству вообще кредитуют только потому, что его рассматривают как нечто, стоящее *над* индивидами, случайно его составляющими в данный момент; только потому, что мы верим, что хотя индивиды и умирают, но Государство остаётся и будет уважать государственные договоры, даже заключённые для целей, неодобряемых теми, кто является атомами государственного организма. Я знаю, существует мнение, утверждающее, что было бы очень хорошо, если бы Государство нашло для себя невозможным ручаться за свои долги. Но хороший кредит, кажется, столь же необходим Государству, как и индивиду. И разве возможность заключать договоры с чужеземными странами не представляет значительных выгод? Но какая страна заключит договор с простой совокупностью индивидов, большая часть которых выйдет из союза в течение, скажем, десяти лет?

Но, оставляя в стороне вопрос об организме, разве история не свидетельствует о непрерывном ослаблении Государства в одних отношениях и постоянном усилении в других? Мы наблюдаем именно постепенное исчезновение тенденции «делать нападение вместо защиты», и в той мере, в какой Государство отказывается от этой замашки, оно воистину становится всё более могущественным и осуществляет

всё полнее ту свою функцию, которую я считаю важнейшей для него, функцию защиты одних от покушений других.

В заключение позвольте сказать ещё несколько слов об ограничении власти Государства. Под таким ограничением я понимаю, конечно, ограничения налагаемые законами. Так, например, вы не можете лишить Государство его власти вводить налоги, издав с этой целью определённый закон. Творцы закона о союзе между Великобританией и Ирландией пытались ограничить власть Государства, запретив ему восстанавливать ирландскую церковь; но ирландская церковь всё равно не восстановилась. Индивидуалисты стараются доказать государству, что, регулируя труд на фабриках и угольных копях, оно поступает против своих собственных интересов. Когда Государство поймёт это, его вмешательство прекратится. Если мистер Такер находит нужным приветствовать такое ограничение государства, – это его дело. Могу лишь сказать, что я его примеру не последую.

Примите и проч.

Ф. Рид

Что касается утверждения мистера Рида (утверждения, которое со всеми вытекающими из него последствиями было бы, в случае своей правильности, вполне резонным и уничтожающим ответом анархистам), что «разложение организма есть нечто совершенно иное, чем разложение совокупности атомов, не соединённых никакой органичной связью», то я не могу лучше ответить на него, как процитировать следующий отрывок из статьи Дж. Ллойда, помещённой в 107 номере *Liberty*.

Мне кажется, что мир наш представляет собой лишь обширный агрегат индивидуумов: индивидов простых и первичных, и индивидов сложных – вторичных, третичных и т. д., образованных путём

соединения первичных индивидов или индивидов меньшей степени сложности. Некоторые из этих индивидов высшей степени сложности суть истинные индивиды, *цельные*, т. е. организованные так, что включённые в них низшие организмы не могут существовать отдельно от организма; другие же суть индивиды несовершенные, *разрозненные*, так как включённые в них включённые в них организмы могут существовать столь же хорошо – или даже лучше – без главного организма, как и в соединении с ним. К первому классу относятся многие высшие формы растительной и животной жизни, включая сюда и человека; второй охватывает множество низших форм растительной и животной жизни (некоторые травы, черви и др.) и большинство общественных организмов: «правительства, нации, церкви, армии и др.».

Став на эту неоспоримую точку зрения, мы ясно увидим, что положение мистера Рида о «разложении организма» неправильно, ибо слово «организм» не определено точнее, посредством прибавления к нему какого-либо эпитета, равнозначного термину «цельный» мистера Ллойда. Остаётся, следовательно, вопрос, является ли Государство цельным организмом. Анархисты отвечают: нет. Если же мистер Рид даёт на этот вопрос отрицательный ответ, то бремя доказательства лежит на нём. Я думаю, что его ошибка происходит из смешения Государства с обществом. Анархисты совсем не отрицают того, что общество является цельным организмом; напротив, они настаивают на этом. Они потому и не имеют ни намерения, ни желания уничтожить общество. Они знают, что его жизнь неотделима от жизни индивидов, что невозможно разрушить первую, не разрушив второй. Но хотя общество и не может быть разрушено, зато оно может, к великому ущербу составляющих его индивидов, – быть сильно стеснено и сковано в своей деятельности, и последняя встречает главное своё препятствие в Государстве. Государство, в противность обществу, есть организм разрозненный.

Если бы оно было разрушено завтра, индивиды продолжали бы существовать. Производство, обмен и ассоциация происходили бы, как раньше, но только с гораздо большей свободой; а все те общественные функции, от которых индивид зависит, отправлялись бы для него с большей пользой, чем когда-либо. Индивид не стоит к Государству в таких отношениях, в каких находится лапа тигра к самому тигру. Убейте тигра, и лапа его не будет отправлять своей функции; убейте Государство, и индивид ещё будет жить и удовлетворять свои потребности. Что же касается общества, то анархисты не убили бы его, если бы могли, и могли бы, если бы даже хотели этого.

Мистер Рид находит удивительным, что я «поставил Государство на одну доску с церковью и страховыми обществами». Я нахожу его удивление смешным. Люди, веровавшие в принудительные религиозные системы, были очень изумлены, когда впервые им было предложено поставить церковь на одну доску с прочими обществами. В настоящее же время, наоборот, изумление – по крайней мере в Соединённых Штатах – то обстоятельство, что церкви позволено занимать иное положение, чем обществам. Но политическое суеверие заняло место религиозного суеверия, и мистер Рид находится под его властью.

Я не думаю, чтобы «пять или шесть «государств» могли существовать бок о бок» *точь-в-точь* «с таким же удобством, как и такое же число церквей». В тех отношениях, с которыми имеет дело Государство, существует большая возможность трений, чем в области простых религиозных отношений. Но зато те трения, которые явились бы в результате существования многих Государств, были бы просто кочкой в сравнении с той горой угнетения и несправедливости, которую постепенно нагромождает одно принудительное Государство. Полицейскому чиновнику добровольного «Государства» не было бы никакой необходимости знать, к какому «государству» принадлежит данный индивид и принадлежит ли он вообще к государству. Добровольные «государства» могли бы уполномочить и, вероятно, уполномочили бы свои органы выступить против посягательств, всё равно, кто бы ни был нападающий или

пострадавшая сторона. Мистер Рид, вероятно, возразит на это, что «государство», к которому принадлежит нападающий, может считать его арест также посягательством и выступить против «государства», арестовавшего посягателя. Предупредить подобные конфликты окажется, вероятно, возможным как раз благодаря тем договорам, которые мистер Рид считает столь желательными, а именно, посредством учреждения федеральных судов, как судов последней инстанции, при содействии различных «государств» и на основании того же принципа добровольного соглашения, на почве которого объединены сами «государства».

Добровольное обложение не только не ухудшило бы кредита «государства», но, наоборот, упрочило бы его. Во-первых, упрощение функций «государства» сильно уменьшило бы, а, быть может, и совершенно бы уничтожило бы надобность в займах, а возможность делать займы вообще обратно пропорциональна настоятельности нужды в них. Ведь тот, кто часто делает займы, обыкновенно терпит недостаток в кредите. Во-вторых, возможность для Государства не пользоваться кредитом и всё-таки продолжать своё дело зависит от его права на принудительное обложение. Оно знает, что когда оно не сможет больше достать в займы, оно в крайнем случае обложит своих граждан вплоть до той границы, за которой начинаются революции. Наконец, в-третьих, Государству доверяют не потому, что оно стоит над индивидами, но потому, что взаимодавец предполагает, что оно пожелает сохранить свой кредит и будет поэтому платить долги. Это желание иметь кредит будет сильнее в «государстве», основанном на добровольном обложении, чем в государстве, понуждающим к уплате налогов..

Все препятствия, указанные мистером Ридом, за исключением ссылки на органическую теорию, являются простыми затруднениями административного свойства, которые могут быть легко преодолены изобретательностью, упорным трудом, осторожностью и надлежащими мерами. Это не логические, не принципиальные затруднения. Они кажутся однако мистеру Риду «огромными». Но такой же казалась и проблема осуществ-

ления свободы мысли два века тому назад. Интересно знать, что думает мистер Рид о трудностях, связанных с господством существующего порядка. Очевидно, он так же слеп по отношению к ним, как слеп католик по отношению к недостаткам государственной религии. Все эти «огромные» затруднения, которые возникают в воображении противников принципа добровольного обложения, постепенно исчезнут под влиянием экономических перемен и равномерного распределения богатств, которые явятся следствием применения этого принципа и которые Прудон определяет как «разложение правительства в экономический организм». Это вопрос слишком обширный для того, чтобы рассматривать его здесь, но если мистер Рид хочет понять анархическую теорию этого процесса, пусть он изучит удивительнейшее из всех дивных творений Прудона: «Общая идея революции в девятнадцатом веке».

Замечание мистера Рида, что «история свидетельствует о непрерывном ослаблении Государства в одних отношениях и о постоянном усилении его в других» – совершенно правильно. По крайней мере, такова, вообще говоря, тенденция, хотя эта непрерывность и нарушается иногда периодами реакции. Тенденция эта есть просто процесс развития в направлении к Анархии. Государство нападает всё менее и менее, а защищает всё более и более. Именно в согласии с направлением этого процесса и как его заключительного момента анархисты и требуют разрушения последней твердыни нападения путём замены принудительного обложения добровольным. Когда этот шаг будет сделан, «Государство» достигнет своей максимальной силы, в качестве защитника от нападения и сохранить её до тех пор, пока будут необходимы её услуги подобного рода.

Если мистер Рид под словами, что власть Государства не может быть ограничена, просто разумел, что она не может быть ограничена законом, то это его замечание, как возражение против анархистов и сторонников добровольного обложения бьёт совершенно мимо цели. Ибо последние совсем не предполагают ограничивать эту власть законами. Они стремятся создать общественное мнение, которое сделает для невозможным

для Государства собирать налоги силой или посягать каким-либо иным образом на индивида. Считая Государство орудием захвата, они и не думают убеждать его в том, что захват не в его интересах, но и они надеются убедить индивидов в том, что не в их интересах быть объектами посягательств. Если им таким образом удастся лишить Государство его насильственных полномочий, они будут удовлетворены, и для них совершенно неважно, обозначают ли этот путь словом «ограничивать» или каким-либо другим словом. В сущности, я старался в этом споре с мистером Ридом пользоваться его же фразеологией. Я же лично совсем не желаю называть добровольные ассоциации государствами, но я употреблял это слово, заключая его, впрочем, в кавычки, только потому, что мистер Рид подал этому первый пример.

Искажение анархизма

(*Liberty* 8 марта 1890 г.)

Одним из самых интересных для нас периодических изданий является лондонский журнал «Права личности» (*Personal rights journal*). Он, впрочем, и не мог быть иным, так как в нём принимают большое участие такие люди, как Дж. Леви и Вордсворт Донистроп. Само собой разумеется, что он борется за то же политическое исповедание веры, какое находит себе защитника и в *Liberty*. Но он называет индивидуализмом то, что *Liberty* называет анархизмом. Главнейшее же различие между нами заключается в том, что он не замечает этого и думает, что анархизм есть нечто совершенно отличное от полного индивидуализма. Это ложное понимание анархизма нашло себе очень ясное и точное выражение в приводимой мною ниже выдержки из умной и вызывающей на размышление лекции о «Следствиях индивидуализма», прочитанной мистером Дж. Леви в Национальном-либеральном клубе 10 января 1890 г. и перепечатанной в январском и февральском номерах *Personal Rights*.

«Когда мы страдаем от отравления каким-то ядом, мы находим полезным для себя принимать другой яд, который действует как противоядие по отношению к первому. Но если мы благоразумны, то ограничиваем дозу второго яда таким количеством, чтобы токсическое влияние обоих ядов сводилось к минимуму. Если мы примем второго яда больше, то он вызовет токсические явления более сильные, чем те, которые необходимы для полезного противодействия влиянию первого яда. Если мы примем его меньше, то первый яд будет довольно беспрепятственно производить своё вредное действие. Этот пример с ядами иллюстрирует ту позицию, которую занимают индивидуалисты, с одной стороны по отношению к социалистам, с другой – по отношению к анархистам. Я признаю, что правительство есть зло. Оно всегда означает применение силы против нашего ближнего и – в лучшем случае – подчинение им, в большей или меньшей степени, своего поведения воле большинства сограждан. Но если бы это организованное или регламентированное вмешательство было совершенно уничтожено, то он всё же не оградил бы себя от нападения. В таком обществе, как наше, он был бы подвержен гораздо большим насилиям и обманам, которые оказались бы во много раз худшим злом, чем правительственное вмешательство. Но если правительство заходит в своём вмешательстве за пределы того, что необходимо для поддержания самой полной и равной для всех граждан свободы, то оно само становится нападающим, и нисколько не лучшим от того, что руководствуется благожелательными мотивами.»

Не касаясь терминологии, мы можем на основании вышеприведённого сказать, что цель, к которой стремится индивидуализм, заключается в такой организации, которая поддерживала бы самую широкую свободу, равную для всех граждан. Но

именно к этому стремится и анархизм. Индивидуализм защищает такую организацию лишь до тех пор, пока она необходима. Не дольше отстаивает её и Анархизм. Предположение мистера Леви, что Анархизм совершенно не требует такой организации, основано на его недостаточном знакомстве с анархическим определением правления. Правление уже не раз определялось на страницах *Liberty*, как подчинение *не-нападающего* индивида чужой, не его собственной воле. Подчинение же *нападающего* индивида есть не правление, а сопротивление правлению или защита от него. Согласно этому определению, правление – всегда зло, а сопротивление ему никогда не может быть злым или ядом. Называйте такое сопротивление, если угодно, противоядием, но помните, что не все противоядия ядовиты. Худшее, что может быть сказано о сопротивлении или защите, сводится к тому, что оно, далеко не будучи злом, является неизбежной тратой производительной силы для преодоления зла. Оно может быть названо злом лишь в том смысле, в каком необходимый и не особенно здоровый труд может быть назван проклятием. Пример с ядами, вполне приложимый к определениям мистера Леви, совершенно не подходит к терминам, употребляемым Анархизмом⁷.

Правление есть насилие, а Государство, как было сказано в последнем выпуске *Liberty*, есть воплощение насилия в индивиде или банде индивидов, присваивающих себе право действовать в определённой области в качестве представителей или господ всего народа. Анархисты выступают против всякого правительства и в особенности против Государства, как худшего правителя и главного насильника. С точки зрения *Liberty*, существует лишь два полюса, а не три: на одном – авторитарные социалисты, поддерживающие правительство и Государство, на другом – индивидуалисты и анархисты, выступающие против правительства и Государства.

Правда, мистер Леви применяет в своём рассуждении вполне точные определения, и я потому не возразил бы ему

⁷Такер под словом *government* понимает одновременно и процесс правления, и субъект его, т. е. правительство – прим. перевод.

не слова, если бы он ограничился простой характеристикой позиции индивидуалистов, не искажая смысла позиции анархистов. Но в виду такого искажения я должен просить его внести поправку в свои слова, если только он не может доказать, что критика моя несостоятельна.

В заключение я должен прибавить, что склонность индивидуалистов придавать большее значение, в сравнении с анархистами, необходимости организации для защиты объясняется, весьма вероятно, следующим обстоятельством: они, кажется, видят менее ясно, чем анархисты, что необходимость защиты от отдельных насильников вызывается в широкой степени, а в конце концов, быть может и целиком насильственным гнётом Государства; и что, когда падёт государство, и преступники начнут исчезать.

Максимум мистера Леви

(Liberty за 1 ноября 1890 г.)

«Как бы ни определял себя Анархизм, в нём, во всяком случае, содержится мысль, что принуждение Государством мирных граждан вступать в сообщество должно быть осуждено и уничтожено. Анархизм предполагает право индивида стоять в стороне и наблюдать, как убивают человека или насилуют женщину. Он предполагает право как бы пассивного соучастия в насилии, лишь бы избежать всякого принуждения. Правда, анархист может добровольно вступить в сообщество, имеющее целью борьбу с насилием, но он в полном праве ставить препятствия такому сообществу, предоставляя другим нести бремя борьбы с насилием или давая насильнику полную возможность торжествовать. Индивидуализм же, наоборот, не только сдерживал бы активного насильника настолько, насколько это необходимо для обеспечения свободы другим, но и принуждал бы также

человека, который в противном случае остался бы пассивным свидетелем насилия или потворствовал бы ему, вступать в сообщество, направленное против его более активного сотоварища».

Вышеприведённая выдержка сделана мною из блестяще написанной статьи Дж. Леви, помещённой в журнале *Personal Rights*. Очевидным намерением автора было выставить Анархизм в неблагоприятном свете посредством крайне грубого изложения его принципов или, по крайней мере, одного из них. В то же время автор старался быть справедливым, т. е. не искажал доктрины Анархизма, – и *он их не искажил*. Я поместил эту выдержку в виде передовой статьи, ибо, как анархист, я всецело присоединяюсь к ней, за исключением того клейма, которое автор думал наложить употреблением слова «соучастие» и «потворство». Раз человек, как я вижу, желает говорить только правду, он может излагать её с какой угодно резкостью; я всегда соглашусь с ним. Анархисты не боятся своих принципов. Притом, гораздо приятнее видеть свои положения изложенными смело и точно понимающим их противником, чем в легкомысленном, водянистом и неправильном пересказе какого-либо невежды.

Итак, значит правда, что с точки зрения Анархизма индивид в праве стоять в стороне и наблюдать, как убивают человека? Но почему же нет? Если справедливо хватать за шиворот человека, занятого своим делом, и принуждать его вступить в драку, то почему же не хватать его также за шиворот и для того, чтобы принудить его помочь нам заставлять отца воспитывать своего ребёнка или совершать какие-нибудь другие акты насилия, которые нам почему-то кажутся общим благом? Я не вижу здесь никакого этического различия. Правда, мистер Леви в дальнейшей части своей статьи оправдывает принуждение безучастного индивида с точки зрения необходимости. (Напомню здесь, что на том же основании и гражданин Мост предлагает для своих коммунистических предприятий хватать за шиворот безучастного индивида и заставлять его работать во имя любви, а не заработной платы). Но в мистере Леви,

когда он писал цитированное место должен был бессознательно говорить ещё какой-нибудь мотив, кроме голой необходимости. Иначе, почему же он отрицает, что безучастный индивид «в праве» поступать так или иначе? Я могу понять человека, который в критических обстоятельствах оправдывает любую форму принуждения, исходя из простой необходимости; но я не могу понять человека, который отрицает право принуждаемого таким образом индивида сопротивляться этому принуждению и настаивать на том, чтобы ему не мешали следовать своей особенной дорогой. Однако, мистер Леви именно это-то право и отрицает, ибо в противном случае его выражение «в праве» не имело бы никакого смысла.

Как бы то ни было, приглядимся поближе к доводам, приводимым необходимостью. Мистер Леви настаивает на том, что принуждение мирного безучастного (к общему делу) индивида необходимо. Необходимо для чего? «Для того, чтобы свобода могла достичь своего максимума», отвечает мистер Леви. Предположим на минуту, что мистер Леви прав; но тогда невольно возникает другой вопрос: является ли абсолютный максимум свободы той целью, которая должна быть достигнута *какой бы то ни было ценой*? Я считаю свободу главнейшим элементом человеческого счастья и потому драгоценнейшей вещью в мире, и я, конечно, желаю её иметь в таком объёме, в каком только смогу раздобыть. Но я не могу сказать, что меня сильно озабочивает, достигает ли общая сумма свободы, которой пользуются все индивиды, взятые вместе, своего максимума или она немного ниже его, – раз мне, как индивиду, достаётся небольшая часть или совсем ничего из этой общей суммы. Если же я буду располагать, по крайней мере, таким же объёмом свободы, как и другие, а другие таким же, как и я, то тогда, чувствуя себя прочными в своём приобретении, мы должны, несомненно, все стараться достичь максимума свободы, совместимого с этим равенством свободы. К этому естественному закону равной свободы и приводит нас именно высшая сумма индивидуальной свободы, совместимая с равенством свободы. Но этот максимум есть нечто совершенно отличное от того

максимума свободы, который, как гласит гипотеза, может быть достигнут только посредством нарушения равенства свободы. Ибо несомненно оказывать давление на мирного, безучастного в кооперации индивида значит нарушать равенство свободы. Если мой сосед верит в кооперацию, а я нет, и если он свободен желать кооперироваться, в то время, как я не свободен отказываться от кооперации, то между нами нет равенства в свободе. Предложение мистера Леви аналогично предложению лишить нескольких индивидов их мирно и честно приобретённого богатства на том основании, что такой грабёж необходим для, чтобы богатство могло достичь своего максимума. Конечно, мистер Леви ответил бы на это, что подобное предложение нелепо, и что таким путём максимум не может быть достигнут. Но ясно, что он вынужден был бы допустить, что существуй даже возможность достигнуть максимума, цель эта не настолько важна, чтобы оправдать указанные средства. И если он будет последователен, то он должен будет сделать такое же допущение и относительно своего предложения.

И, действительно, разве это предложение хоть сколько-нибудь менее нелепо в одном случае, чем в другом? Мне кажется совершенно невозможным достигнуть максимума свободы посредством лишения людей их свободы, как и добиться максимума богатства посредством лишения людей их богатства. Мне кажется, что в обоих случаях средства совершенно уничтожают цель. Мистер Леви желает ограничить функции правительства; но принудительная кооперация, которую он защищает, является главнейшим препятствием на пути этого ограничения. Конечно, правительство, правительство, ограниченное в своей власти устранением этого препятствия, не было бы больше правительством, и мистер Леви «достаточно проникателен, чтобы видеть это». (Я плачу ему тем же комплиментом, который он делает анархистам). Но что из этого? Ещё оставалась бы возможность предупреждать те насильственные поступки, отражать которые люди договорились между собой. И будь сделана попытка выйти за эти пределы, то она была бы прекращена уменьшением средств. Право прекратить доставлением средств есть вообще

самое действительное оружие против тирании. Сказать, как мистер Леви, что «величина обложения должна соразмеряться с объёмом правительственной власти», ещё не значит правильно определить это право. Наоборот, правительство или, вернее, Государство должно и будет применяться к обложению. Когда принудительное обложение будет уничтожено, тогда не станет Государства, и то оборонительное учреждение, которое займёт его место, будет постоянно удерживаться от превращения в насильственный институт опасением, что добровольные взносы прекратятся. Эта постоянная побудительная причина, вынуждающая добровольно-оборонительное учреждение держаться на уровне народных требований, является самой лучшей гарантией против того призрака многочисленных, соперничающих друг с другом политических органов, который, видимо, страшит мистера Леви. Он утверждает, что сторонники добровольного обложения – жертвы иллюзии. С гораздо большим основанием это обвинение может быть обращено против него самого.

Мой интерес к статье мистера Леви был вызван, главным образом, его здоровой критикой тех индивидуалистов, которые принимают добровольное обложение, но останавливаются в недоумении или полагают, что стоят в недоумении, перед Анархизмом; и я с большим нетерпением буду ждать ответа мистера Гривса Фишера и в особенности мистера Оберона Герберта.

В общем, анархисты имеют больше оснований быть благодарными мистеру Леви за его статью, чем жаловаться на неё. Она является, по меньшей мере, аппеляцией к здравому смыслу Анархизма, и в качестве таковой приносит неоспоримую пользу его делу.

Сопrotивление обложению

(*Liberty* 26 марта 1887 г.)

К редактору Liberty

Мне пришлось в последнее время вступать несколько раз в споры по поводу вашего отказа платить

налоги и я желал бы узнать причины, побудившие вас решиться на такой поступок, поскольку он, конечно, носит публичный характер. Мне кажется, что всякая благая цель может быть лучше и легче всего достигнута посредством обращения к закону – за исключением целей пропагандистских, – и что поэтому вы в достижении своей цели вышли за пределы *права*, куда не могли увлечь за собою никого, кто старается жить согласно с истиной, поскольку она нами познана.

Мне кажется, что мы обязаны платить налоги Государству, всё равно, верим мы в него или нет, до тех пор, покуда остаёмся в его пределах, и за те блага, которые мы, охотно или неохотно, получаем от него. Единственно правильный путь, которому мы можем следовать, заключается в том, чтобы оставить Государство, законам которого мы не можем больше повиноваться, не насилуя своего разума и, если необходимо, поселиться на пустынном острове. Ибо, оставаясь в государстве и отказываясь повиноваться его власти, мы отрицаем право других договариваться насчёт того общественного устройства, которое эти другие считают справедливым; а пытаясь принудить их отказаться от своего договора, мы столь же далеки от права, как и они, когда они пытаются принудить нас платить налоги, которых мы не признаём.

Я полагаю, что вы пренебрегаете огромным опытом целой расы, давшим нам нынешние правительства, когда объявляете войну им всем; я думаю, что компромисс с существующими условиями в такой же мере есть право, как и следование нашему собственному разуму, ибо существующее есть продукт опыта народа; и до тех пор, пока наши индивидуальные разумы не вполне согласны друг с другом, оно должно быть принимаемо в соображение; те же, кто этого

не делает и поскольку этого не делает, поступают *несправедливо*.

Даже соглашаясь с тем, что строгий индивидуализм является конечной целью эволюции народа, я всё-таки думаю, что вы находитесь на ложном пути, когда пытаетесь – как того требует ваше энергичное отрицание всякой власти за существующим правительством – насильственно поставить на место отправного пункта его конец.

Таковы те главные возражения, которые я могу сделать вам. Я надеюсь, что вы простите мне ту смелость, с которой я решился обратиться к вам. Мною руководила не праздная любовь к полемике, а искание истины, если только она существует. Я решился обратиться к вам ещё и потому, что, как мне кажется, вы своим поступком сами наложили на себя бремя доказательства в своём споре с существующим.

Примите и проч.

11 ноября 1886 г.

Фредерик Перрин.

Критика мистера Перрина вполне корректна, и я с удовольствием отвечаю на неё; к сожалению, непредвиденные обстоятельства задержали появление в печати этого письма. Вся соль его возражения, вся его аргументация содержится, главным образом, во второй части письма и основана на приписывании государству тех свойств, который отрицают за ним анархисты; а именно, на предположении, что Государство есть добровольная ассоциация договаривающихся индивидов. Если бы это в действительности было так, то я бы не боролся с ним и охотно признал бы справедливость замечаний мистера Перрина. В самом деле, такая добровольная ассоциация была бы вправе обязывать любыми правилами, на которых согласились договаривающиеся стороны, в пределах той территории или тех

частей территории, которые эти стороны внесли в ассоциацию, как их индивидуальные владельцы; а недоговорившаяся сторона имела бы право войти или остаться в данной области только тогда, когда она приняла условия, предложенные ассоциацией. Но если бы где-нибудь среди этих частей территории, ещё до образования ассоциации, жил на своей земле индивид, который – разумно или неразумно – уклонился от присоединения к образовавшейся ассоциации, то договаривающиеся стороны не имели бы никакого права лишить его имущества или принудить его вступить в ассоциацию, или заставить его платить за случайные выгоды, которые он мог бы извлечь от близости к ассоциации; или даже ограничить его в пользовании правом, которое он раньше приобрёл, для того чтобы помешать ему воспользоваться этими выгодами. А так как добровольная ассоциация по необходимости предполагает право свободного выхода из неё, то всякий выходящий из неё член, естественно, очутился бы в положении и при правах только что упомянутого мной индивида, совершенно отказавшегося присоединиться к ассоциации. Таким образом, вся позиция индивида по отношению ко всякой окружающей его добровольной ассоциации, его поддержка её, очевидно, зависят от одобрения или неодобрения им её целей, от его взгляда на рациональность их достижения, от его оценки выгод и невыгод, связанных с присоединением к ассоциации, выходом из неё или воздержанием от вступления в неё. Но в настоящее время ни один индивид не находится в таких условиях. Государства, в которых он живёт, охватывают всю территорию, на которой он находится, не дают ему возможности уйти из них и представляют собой не добровольные ассоциации, а гигантские узурпации. В настоящее время нет ни одного Государства, которое не покоилось бы на готовности большего или меньшего числа индивидов, – готовности, внушённой иногда, нет сомнения, добрыми, но чаще всего злыми намерениями, – объявить всю территорию и всех лиц внутри определённых границ – нацией; нацией, которую каждое из этих лиц должно поддерживать и воле которой, выраженной через посредство верховных законодателей и правителей – безразлично каким

путём избранных – каждое из них должно подчиняться. Такое учреждение является тиранией, не обладающей никакими правами, которые индивид обязан был бы уважать; напротив того, всякий индивид, сознающий свои права и ценящий свою свободу, должен приложить все усилия к тому, чтобы ниспровергнуть его. Я думаю, что мистериу Перрину должно быть теперь ясно, почему я не считаю себя обязанным платить налоги, либо эмигрировать. Буду ли я платить налоги или нет – это другой вопрос, вопрос целесообразности. Но, отказываясь их платить, я преследовал, как на это намекает мистер Перрин, цели пропаганды, и в получении мною письма мистера Перрина я вижу доказательство пригодности этой тактики для упомянутой цели. Задачи пропаганды – таково единственное соображение, которое я могу привести в пользу изолированного, индивидуального сопротивления взиманию налогов. Но помимо пропаганды путём этого или многих других средств, я надеюсь, что в конце концов образуется определённое число мужчин и женщин, которое деятельно, хотя и пассивно, будет сопротивляться взиманию налогов, и не просто для целей пропаганды, но и для того, чтобы непосредственно наносить удары своим угнетателям. Такова та единственная «замена начала концом», в защите которой я могу признать себя виновным; и если этот «конец» может быть «лучше или легче достигнуть» каким-либо другим путём, я был бы очень рад, если бы мне его указали. Фраза о «великом опыте целой расы», которым я, по мнению мистера Перрина, пренебрегаю, звучит очень внушительно, и иной, слушая её, быть может и падёт ниц в раболепном трепете. Но всякий, кто раньше попробует пристальнее приглядеться к этому призраку, увидит, он лишь одно из тех приведений, о которых говорил Так-Как⁸. Почти всё зло, от которого когда-либо страдало человечество, было продуктом «великого расового опыта», и я ещё не слышал, чтобы какое-нибудь зло было когда-либо уничтожено путём ненужного преклонения перед этим опытом. Мы будем склоняться перед ним, когда будем к этому вынуждены; мы

⁸Сотрудник *Liberty*, посвятивший много места изложению философии Эгоизма.

будем «вступать в компромисс с существующими условиями», когда нам это нужно будет; но во всякое другое время мы будем следовать нашему разуму и нашим убеждениям.

Марионетка вместо бога

Liberty 9 апреля 1887 г.

К редактору Liberty.

«Благодарю вас за искренний ответ на моё письмо от 11 ноября 1886 г. Однако, в нём есть несколько пунктов, которые не кажутся мне убедительными. Прежде всего, позвольте возразить на ваше утверждение, будто добровольная ассоциация по необходимости предполагает право добровольного выхода из неё. Утверждая это, вы отрицаете право людей соединяться на основании конституции, отрицающей это право свободного выхода, и пытаетесь навязать этим людям ваше собственное понимание права. Вы берёте случай нового Государства, пытающегося навязать свои законы прежнему поселенцу страны, и говорите, что оно не имеет никакого права так поступать. Я согласен с вами. Но разве я не имею такого же основания представить себе Государство, в которое не входит земля прежнего поселенца и которое добровольно согласилось отвергнуть всякое право неподчинения голосу большинства? По отношению к такому государству я заявляю, что всякий его член, становящийся анархистом или держащийся в каком-либо вопросе иных взглядов, чем всё общество, имеет право проводить эти взгляды только в пределах законов, постановленных большинством.

Такое Государство, мне кажется, представляют современные Соединённые Штаты. В нашей истории нет или почти нет упоминания о людях, отрицавших право большинства при основании штатов, а

при отсутствии подобного отрицания мы вынуждены заключить, что и наша ассоциация, и статья о правах большинства были добровольно приняты. Поэтому, как я и говорил раньше, сопротивление, оказываемое каким-либо жителем правительству этой ассоциации и выходящее из рамок закона, есть фактическое отрицание права других отвергать при вступлении в договор право свободного выхода. Отрицание такого права кажется мне нерациональным.

Конечно, всё вышесказанное не приложимо к индейцам, которые никогда не участвовали и не будут участвовать в правлении. Но я думаю, что это обстоятельство не ослабляет силы приводимого мной аргумента.

Я возражаю, во-вторых, против вашей оценки моей фразы «великий расовый опыт», как фразы высокопарной. Если у нас есть что-нибудь великое, то это именно этот «расовый опыт». Отрицая его величие, вы или отрицаете величие и достоинство Человека или, как вы, кажется, и делаете, нежно устремляете свои взоры назад, к какому-то былому счастливому государству, находившемуся в «счастливой долине» рая, после которого человек падал всё ниже и ниже, так что в настоящее время он может сказать: «всё зло, от которого когда-либо страдало человечество, было продуктом этого «великого расового опыта» ». Мне в самом деле кажется, что этот опыт для вас скорее «привидение», более того, какой-то людоед, сам дьявол, пожирающий походя всё доброе, чем, как думается мне, проявление Божества, Богочеловека, создавшего не только всё то зло, какое есть в нас, но создавшего нас такими, какие мы есть, со всем, что в нас есть доброго и злого.

Он – этот опыт – это та сила, которая так же уверенно ведёт нас к Анархии и за её пределы, как и вела нас от звёздной туманности к человечеству.

Он – олицетворение нашей эволюции; и, так как ни один человек не может ни ускорить, ни задержать её в сколько-нибудь значительной степени, то мне всё-таки кажется, что гораздо больше можно сделать, работая вместе с ним, чем идя поперёк его пути, даже если бы нам казалось, что мы направляем свой корабль прямо к той заветной цели, к которой и он держит путь.

Однажды вечером мне пришлось быть на собрании в Республиканском клубе в Нью-Йорке и слушать там, как читалась и обсуждалась статья мистера Бишопа из *Post* о силе подкупа голосов при выборах. Много поразительных цифр приводил на этот счёт и мистер Ивинс на прошлом собрании. Мистер Бишоп называл длинный ряд партийных лидеров, характеризуя их профессии и практическую деятельность.

Вся эта грязная история, к сожалению, слишком обычная для нас, не поколебала, однако, его веры в то, что правительство образует составную часть истинной кривой прогресса; наоборот, она только побудила его предложить средство борьбы со злом, заключавшееся в замене Государством партийной организации для распределения избирательных записок и в издании более строгих законов против подкупа и противозаконного давления, – одним словом в ряде законов, подобных английским законам сыра Генри Джемса, действующим там в настоящее время и, кажется, до некоторой степени благотворно.

В заключение, признав трудность проведения каких-либо серьёзных мер, он цитировал в подтверждение своих слов достопамятный призыв Гладстона к будущему, призывая к борьбе за общее благо всех реформаторов Времени, которое ратует за них.

За чтением этой статьи последовала речь мистера Симона Штерна, защищавшего Миллевское предста-

вительство меньшинства, и речь мистера Тэрнера, защищавшего открытое голосование.

Сейчас же после произнесения этих речей поднялся мистер Ивинс и, показав, что открытое голосование никак не может быть свободным, так как даже обращение к гражданину с вопросом о том, за кого он голосует, есть форма принуждения, присоединился к мысли, выраженной в заключительной цитате мистера Бишопа. Он сказал, что реформа, им предложенная, есть лишь одно из звеньев в длинной цепи событий, непреодолимо ведущих нас вперёд; что не в государственном надзоре или представительстве меньшинства, или в какой-либо иной мере, теперь предлагаемой, заключается удовлетворительное решение проблемы; но что каждая из этих мер есть логический шаг по пути прогресса, – прогресса, который может закончиться государственным социализмом или анархией, или чем-либо иным, но, во всяком случае, строим справедливым и неизбежным. Что бы мы ни делали, никто из нас не может отвести далеко в сторону течение этого прогресса. Мы можем лишь налечь своим плечом на его колесо и подтолкнуть его немного вперёд, поскольку это позволяют нам наши слабые силы. За исключением великих эпох, сторонники крайних мер ослабляют силу своей работы, уменьшая длину рычага; постоянные же, повседневные работники, борющиеся за право по направлениям проложенных путей, повышают нравственный уровень современности и пролагают путь для тех великих революций, когда кажется, что мир огромными прыжками продвигается вперёд, к будущему.

Не должны ли мы заключить союз с этими гражданами Республиканского клуба и, забыв о различиях в наших конечных целях – если только такие различия

существуют, – работать вместе с ними в настоящем и для настоящего?

Я сидел за этим обедом рядом с республиканцами и демократами, сторонниками свободной торговли и протекционистами, и чувствовал, сто все они поглощены одной идеей прогресса, что все они всеми помыслами и всем сердцем работают во имя этой великой цели. Их влияние скажется не только в настоящем, но и в будущем, даже в будущем счастливой Анархии, ибо они силятся постичь и подойти к этому государству будущего раньше других, более непримиримых его сторонников.

Когда настанет время для революции, пусть *тогда* будет отвергнут всякий компромисс; он придёт вопреки нашим желаниям. Но расшибать лбом стену равнодушного общественного мнения – безумно, когда каждый человек, всё равно – анархист он или нет, – может сделать кое-что для оздоровления существующего порядка вещей или, по крайней мере, устранить препятствия, стоящие на пути серьезных тружеников прогресса.

Фредерик Перрин

1 апреля 1887 г.

Когда я говорил в своём предыдущем ответе мистеру Перрину, что добровольная ассоциация по необходимости предполагает право свободного выхода, я не отрицал права индивидов пройти через ступень устройства такой ассоциации, в которой каждый член отказывается от права выхода. Своим утверждением я просто хотел сказать, что такое устройство, если бы нашлись люди, согласившиеся принять его, было бы простою *формой*, которую всякий разумный человек, участвующий в ней, поспешил бы нарушить и растоптать, как только он оценил бы всю безмерность своего безумия. Договор – очень полезное и в высшей степени важное орудие человека, но его полезность

имеет свои границы: никто не должен употреблять его для отречения от своей человечности. Всецело отрицать чьё-либо право свободного выхода – значит делать этого человека рабом. Но никто не может так бесповоротно сделать себя рабом, как лишив себя права провозгласить своё освобождение. Индивидуальность и её право на утверждение разрушаются лишь смертью. Отсюда ясно, что всякий индивид, подписавший предполагаемую мистером Перрином конституцию и сделавшийся впоследствии анархистом, был бы вполне оправдан в применении всяких средств для того, чтобы защитить себя от попыток принуждения во имя этой конституции. Но если бы даже это не было так, если бы люди в действительности держались обязательства выполнять невыполнимые договоры, то из этого ещё нельзя было бы сделать никакого вывода об отношении Соединённых Штатов к их так называемым гражданам. Утверждать, что конституция Соединённых Штатов подобна рассматриваемой нами гипотетической конституции, – значит высказывать крайне сумасбродную мысль. Мистер Перрин может легко понять это, прочитав «Письмо к Грауверу Кливленду» Лизандера Спунера. Это мастерски написанное произведение покажет ему, что представляет из себя конституция Соединённых Штатов и, главным образом, насколько обязательна она для всякого. Но если бы даже конституция Соединённых Штатов была добровольным договором вышеописанного характера, то и в этом случае мистер Перрин ещё должен был бы нам доказать, почему те, кто в своё время не отверг её, обязаны в силу такой оплошности приноравливаться к ней; или почему согласие принявших её должно обязывать людей, ещё тогда не родившихся; или, наконец, какое право имели договаривающиеся стороны, если только они были, устанавливая юрисдикцию и верховную власть не просто над самими собою и теми землями, которые они занимали или которыми пользовались, но над всей обширной частью света, известной с тех пор под именем Соединённых Штатов Америки, и над всеми личностями, в ней пребывающими. Но Эти вопросы ему совершенно неизвестны. Его рассуждения состоят из отдельных, независимых предложений, между

которыми нет никакой логической связи. А теперь перейдём к «великому расовому опыту». Совершенно верно, что если мы имеем что-нибудь великое, то это дал нам этот опыт, но не менее верно и то, что если мы имеем что-нибудь гнусное, то это породил он же. Этот опыт есть *всё*, чем мы обладаем, и, будучи всем, он, понятно, включает в себе и великое, и гнусное. Я не отрицаю величия человека, но я не отрицаю и его вырождения; следовательно, я ни принимаю, ни отвергаю огулом всего того, чем он был и что сделал. Я стараюсь направить свой разум на различие великого и гнусного вместо того, чтобы слепо подчиняться какому-то божеству, даже если это божество – человекобог. Мы не должны благоговеть перед расовым опытом, подражая ему и повторяя его, но должны стараться извлечь урок из его ошибок, чтобы избежать их в будущем. Далёкий от веры в какое-то государство, осуществившее рай на земле, я никому не уступлю в точном знании теории эволюции; но для меня ясно, что эволюция «ведёт нас к Анархии» просто потому, что она уже водила нас почти во всяком другом направлении и всюду терпела крушение. Эволюция, подобно природе, орудием или процессом которой она является, крайне расточительна и близорука. Не будем же подражать её расточительности или даже терпеть её, раз мы можем избежать её; используем лучше свой ум для направления эволюции на путь экономии.

Эволюция предоставленная сама себе, устранил рано или поздно всякую иную социальную форму, кроме Анархии. Но эволюция, руководимая нами, вскроет все общие элементы своих прошлых ошибок, одним взмахом отбросит всё, содержащее эти элементы, и сразу примет Анархию, в которой их нет. Мы не должны быть марионетками эволюции только потому, что мы её продукт. Наоборот, по мере роста нашего познания мы должны быть всё более и более её товарищами. И именно потому, что мы даём ей господствовать над нами и стараемся скорее действовать заодно с ней, чем идти поперёк её пути; именно потому, что мы ротозейничаем, колеблемся и тратим своё время на пустяки, вроде тайного голосования, открытого голосования и т. п., вместо того, чтобы взглянуть на всю проблему избирательного

права с принципиальной точки зрения, – именно поэтому мы в действительности «прокладываем путь», к нашему глубокому горю, «для тех великих революций» и «великих эпох», когда сторонники крайних мер внезапно завладеют всей общественной жизнью. Да, великие эпохи! Скорее великие несчастья, которых должно тщательно избегать, но каким образом? Становясь крайними уже теперь. Если бы было больше крайних в эволюционные периоды, не было бы никаких революционных периодов. Таков урок, который даёт нам история, и нет другого, более важного для человечества, чем он. И пока этот урок не получен, мистер Перрин будет напрасно твердить о богочеловечестве, с каждым днём становится всё более явно, что его бог лишь простой прыгающий болванчик.

Затруднения мистера Перрина

Liberty 16 июля 1887 г.

К редактору Liberty.

«Я должен был бы почувствовать себя захлебнувшимся в огромных потоках сатиры, хлынувших на меня со всех сторон, но только не прямо в лицо

Однако, я ещё чувствую себя способным поднять руку и сделать решительное движение.

Сознаюсь, что я заблуждался в одной части аргументации, которая была мне так ясно изложена иными источниками, чем *Liberty*, что я и не предполагал для редактора её необходимости в опровержении моих положений зайти так далеко, чтобы отрицать святость договора.

Единственная моя надежда заключается, поэтому, в том, чтобы *Liberty* точнее определила свои собственные положения.

Я слышал очень много о «призраках» и «основных началах», но не могу ясно понять, почему договор перестал быть «основным началом» и стал «призра-

ком», если только мы не дадим себе лишней свободы в аргументировании.

Не угодно ли вам будет разъяснить мне, какая безопасность может существовать в таком индивидуалистическом обществе, в котором обязанностью каждого человека становится нарушение всех договоров, как только он приходит к убеждению, что они были заключены неразумно?

Затем, если обязанностью индивидов является нарушение договоров, заключённых между ними, то я не могу ясно представить себе, почему Республика совершает акт гнусного деспотизма, когда нарушает договоры, заключённые с индейцами, если только идеальным обществом не является такое, в котором мы все становимся гнусными деспотами и забавляемся взаимной перебранкой.

В сущности, как я уже указывал на это дважды, вы, как мне кажется, отрицаете за другими право заключать и осуществлять свои собственные договоры, раз эти договоры не пользуются вашим одобрением.

Я сознаю теперь, что ошибался, когда предполагал, что власть Государства покоится исторически на общественном договоре, и признаю, что те пункты, которые были вами приведены в своём ответе как второстепенные, являются в действительности главными возражениями на мои положения.

Истинная власть Государства покоится, как это показывает Гирн в своём «Арийском хозяйстве», не на договоре, но на его развитии – взгляд, на который я намекал, но который недостаточно ясно развил.

Впрочем, я не чувствую себя застрахованным от того, что бы не вступить с вами в спор об этой точке зрения, до тех пор, пока у меня не будет возможности выяснить себе более точно, что разумеет *Liberty* под *эволюцией*. В своём ответе мне, вы, кажется, разумеете под нею что-то вроде скоропалительного

процесса; такой взгляд, быть может, и заимствован из бостонских «понеделничных лекций», но за его правильность, мне думается, вряд ли поручатся Дарвин или Спенсер.

Я старался в обоих своих письмах подчеркнуть существование общей линии развития, находящейся почти вне власти индивидов, и по своему характеру оптимистической. Утверждением «оптимистического» характера этой линии я хочу сказать, что, согласно принципу выживания наиболее приспособленных, наши существующие условия являются самыми лучшими, каких возможно было нам достичь. Вы не отрицаете божественности человека, но «и не отрицаете его вырождения»; с какого же уровня человек начал вырождаться? Вы не допускаете существования государства, осуществившего рай на земле; что же вы в таком случае разумеете под словами «вырождение человека»?

Идея эволюции, допускающая вырождение и ожидающая, что последователи *Liberty* остановят *разрушительный процесс*, который уже испробовал всё иное, и теперь чуть не в отчаянии делает последний опыт с Анархией, – представляется мне столь новою, что я должен просить о более полном изложении этой системы.

Фредерик Перрин

Мистеру Перрину следовало читать внимательнее. Я никогда не говорил, что «обязанностью каждого человека должно быть нарушение всех договоров, как только он приходит к убеждению, что они были заключены неразумно». Я сказал лишь, что если бы человек должен был подписать договор, в силу которого он отказывается навсегда от своей свободы, то он нарушил бы его, как только осознал бы всю громадность своего неразумия. Из того, что я полагаю, что от некоторых обещаний лучше отказаться, чем их сдерживать, ещё не следует,

что я считаю всегда благоразумным отказаться от безрассудного обещания. Наоборот, я придаю исполнению обещаний такое важное значение, что лишь в крайних случаях одобрил бы их нарушение. Возможность для членов общества полагаться друг на друга так жизненно необходима, что лучше никогда не делать ничего такого, что могло бы ослабить это доверие, – разве только, если оно питается такими элементами, которые имеют ещё большую важность. Я понимаю эволюцию именно так, как её понимает Дарвин, т. е. как процесс отбора, посредством которого из всех разновидностей сохраняются только те, которые оказываются наилучше приспособленными к окружающей среде. Так как погибающие виды численно значительно превосходят виды выживающие, то процесс этот крайне разрушителен, но человеческий разум может сильно сократить размеры гибели. Я вполне готов допустить оптимистический характер этого процесса, если под оптимизмом разуметь учение, гласящее, что всё является наилучшим *в данных условиях*. Оптимизм так определяемый есть не более как доктрина необходимости. Что же касается слова «вырождение», то мистер Перрин, очевидно, не знаком со всеми его значениями. По своему происхождению оно означает упадок сравнительно с чем-то более высшим, но оно употребляется также лучшими английскими писателями и для обозначения дурных условий, независимо от того, предшествовало ли им что-либо лучшее или нет. В последнем смысле я и употребил это слово.

Чего мы придерживаемся

(*Liberty* 19 августа 1882 г.)

Мистер Б. В. Болл пишет лучшие статьи, появляющиеся в «*Index'e*», что не так уж трудно, и некоторые из лучших статей, помещаемых в других еженедельниках, что является уже крупной заслугой. Мы были поэтому очень рады, когда наткнулись в одном из последних номеров на его статью, трактующую о зарождающемся, но уже растущем движении

против самого Государства. Он, по крайней мере, достаточно проникателен для того, чтобы не оценивать низко важности появления в социальной и политической агитации такого прямого, последовательного, неустрашимого, решительного и вместе с тем философски обоснованного фактора, как современный Анархизм; хотя его главный редактор, мистер Эндервуд, и заявляет, что предложение, выдвинутое анархистами, «не стоит и обсуждать».

Но даже мистер Болл показывает своей статьёй о «теоретиках антигосударственности», что, несмотря на всю свою чуткость, давшую ему возможность открыть и откликнуться на появление нового движения, он его изучил пока слишком поверхностно для того, чтобы знать хоть что-нибудь о работе мысли, которая породила это движение, вдохновляет и направляет его. В самом деле, его первая стрела, направленная против нас, пролетает так далеко мимо цели, что нам пришлось обратиться к нескольким случайным фразам, указывающим на объект нападений, чтобы уверить себя в том, что именно анархисты служат ему мишенью. Одним словом, он открыл огонь по анархистам, не осведомившись о том, где мы находимся.

Чего же мы, по его мнению, придерживаемся? Центральный довод, приводимый им против нас, вкратце сводится к следующему: где существует преступление, там должна существовать сила для его подавления. Кто же это отрицает? Во всяком случае, не *Liberty* и не анархисты. Анархизм не представляет собою возрождения воскресшего учения о непротивлении злу, хотя в его рядах и могут быть сторонники непротивления. Судя по тому направлению, какое приняли удары мистера Болла, он, очевидно, предполагает, что мы позволили бы разбою, насилению и убийству продолжать своё разрушительное дело в обществе, не шевельнув и пальцем для того, чтобы остановить из зверскую, кровавую работу. Но – совсем напротив, мы самые непреклонные враги насилия над личностью и собственностью, и хотя мы больше всего заняты разрушением его основных причин, мы не испытываем никаких колебаний в применении таких решительных мер против его непосредственных проявле-

ний, какие могут предписать обстоятельства и разум. Правда, мы предвидим в будущем полное исчезновение необходимости прибегать к силе даже в целях подавления преступления; но хотя это исчезновение необходимости силы и заключается в нашем учении, как его неизбежное следствие, оно, однако, никоим образом не является необходимым условием уничтожения государства.

Таким образом, выступая против государства, мы не отрицаем положения мистера Болла, но отчётливо подтверждаем и подчёркиваем его. Мы объявляем войну Государству, как главному посягателю на личность и собственность, как причине решительно всей существующей нищеты и преступления, как самому колоссальному преступнику нашего времени. Оно порождает преступников гораздо чаще, чем наказывает их. Оно существует для того, чтобы создавать и поддерживать привилегии, порождающие экономический и социальный хаос. Оно является единственной поддержкой монополий, концентрирующих богатство и просвещение в руках немногих и распространяющих бедность и невежество среди масс; усиление же преступности прямо пропорционально росту этого неравенства. Оно защищает меньшинство, грабящее большинство, приёмами, слишком тонкими для того, чтобы их понимали его жертвы. Когда же непокорные члены большинства пытаются грабить других посредством приёмов, слишком простых и открытых для того, чтобы Государство признавало их законными, – оно наказывает их. Оно увенчивает свои жестокости, обманно заставляя учёных и философов вроде мистера Болла оправдывать позорное существование государства необходимостью подавления преступлений, которые оно же беспрерывно порождает.

Мистер Болл – к чести его будет сказано – был в дни борьбы против рабства решительным аболиционистом. Он серьёзно желал уничтожения рабства. Он, несомненно, помнит, как часто ему приходилось встречаться с аргументом, что рабство необходимо для того, чтобы предохранить неграмотных чёрных негров от соблазнов мирского зла, и что опасно давать свободу столь невежественным массам. В те дни мистер

Болл понимал всю софистичность этих аргументов и знал, что люди их приводят только для того, чтобы придать хоть какое-нибудь нравственное оправдание своей жизни в праздной роскоши за счёт подневольного труда рабов. Он, вероятно, им отвечал приблизительно в таком роде: «негров держит в невежестве именно институт рабства, и оправдывать рабство их невежеством, значит возвращаться в заколдованном кругу и решать вопрос, принимая причину за следствие».

В настоящее время мистер Болл – опять к чести его будь сказано – аболиционист религии. Он серьёзно желает упразднения или по крайней мере исчезновения церкви. Как часто он должен был встречать или слушать священников, которые, охотно допуская в частной беседе, что церковные догматы представляют собой хитросплетение обманов, доказывают тем не менее, что церковь необходима для удержания в повиновении погрязших в суеверии масс: что освободить эти массы от духовного рабства, в котором религия их держит, значило бы повергнуть их в разнузданный разврат, в необузданное своеволие и конечное разорение. Мистер Болл ясно видит всю нелепость этого довода и знает, что пользующиеся им делают это для того, чтобы иметь хоть какое-нибудь нравственное основание для собирания доходов с бедных глупцов, которые не умеют устроиться так, чтобы не платить им. Мы можем себе представить, как он возразил бы им с понятным негодованием: «коварные мошенники, – сказал бы он им – вы прекрасно знаете, что именно ваша церковь питает суеверие народных масс и что оправдывать её существование суеверием масс, – значит ставить телегу впереди коня и считать за доказанное то, что ещё требуется доказать».

Ну, а мы, анархисты, мы аболиционисты политики. Мы серьёзно желаем уничтожения Государства. Наша позиция в этом вопросе во многих отношениях сходна с позициями церковных аболиционистов и сторонников отмены рабства. Но в этом случае мистер Болл – уже к стыду своему – берёт сторону тиранов против аболиционистов и подымает крик, так часто раздававшийся против него: Государство – необходимо, чтобы

держат в подчинении воров и убийц; не будь его, нас бы всех удавили на улицах или перерезали горло во время сна. Подобно тому, как мистер Болл ясно видел софистичность своих противников, так и мы ясно понимаем его софизмы, вполне похожие на софизмы первых, хотя мы и знаем, что не он, а капиталисты пользуются ими для того, чтобы закрыть народу глаза насчёт действительной цели того учреждения, благодаря которому они имеют возможность вымогать у труда львиную долю его продукта. Мы отвечаем ему так, как он ответил им, притом далеко не спокойным тоном: разве вы не видите, что Государство создаёт условия, порождающие воров и убийц; что оправдывать его существование распространённостью воровства и убийства, значит приводить доводы, во всех отношениях столь же нелепые, как и те, которыми пользовались против вас, когда вы направляли свои усилия на уничтожение рабства и церкви?

Ещё раз повторяю, мы не протестуем против того, чтобы наказывать воров и убийц; мы протестуем лишь против того, чтобы их создавали. Именно на это положение и должен нападать мистер Болл или же совсем не делать нападений. Когда он в следующий раз будет писать об анархизме, пусть ответит на следующие вопросы:

Не отымает ли лихоимство или ростовщичество, в его трёх формах – процента, ренты или прибыли – у рабочих классов их заработка?

Не является ли этот захват главной причиной бедности?

Не служит ли бедность, прямо или косвенно, главной причиной противозаконных действий?

Не зависит ли лихоимство от монополии, в особенности от монополии на землю и деньги?

Могли бы эти монополии существовать, не имея рядом с собою Государства?

Не заключается ли главнейший вид деятельности Государства в установлении и поддержании этих монополий и других плодов социального законодательства?

Не привело ли бы постепенное уничтожение этих насильственных функций Государства к исчезновению преступлений?

Если да, то не сделало ли бы исчезновение преступлений излишними охранительные функции Государства?

В последнем случае, не было ли бы Государство совершенно упразднено?⁹

И не было ли это осуществление анархии исполнением пророчества Прудона о «разложении правительства в экономический организм»?

На каждый из этих вопросов мы ответили бы категорически: да. Этот ответ образует фундамент, на котором мы стоим и сходить с которого мы не намерены. Мы предлагаем мистеру Боллу сразиться с нами на этой почве и бичевать нас, если он может.

Угу!

Liberty 24 октября 1885 г.

К редактору Liberty.

Не угодно ли вам будет дать прямые и точные ответы на следующие вопросы?

С большою готовностью дам их, если только только вопросы будут прямые и точные.

Признаёт ли анархизм за индивидом или каким бы то ни было числом индивидов право определять, какой образ действий должен почитаться справедливым или несправедливым для ближнего?

⁹В вышеприведённом ряде вопросов слово «Государство» употреблено в смысле, охватывающем и добровольные охранительные ассоциации, тогда как во всех других частях этой книги оно употреблено в смысле, эти ассоциации исключаящем. Я прошу читателя обратить внимание на это различие в терминологии для того, чтобы избежать возможных недоразумений.

Да, признаёт, если под словом «несправедливый» разуметь «посягательский и захватный», в иных же случаях не признаёт. Анархизм признаёт право индивида или любого числа индивидов определять, что никто не должен насиловать равной свободы своего сочлена. За этими пределами он не признаёт никакого права контроля над индивидуальным поведением.

Признаёт ли он право ограничивать или контролировать поступки людей, каковы бы последние ни были?

Читай предыдущий ответ.

Признаёт ли он право арестовывать, подвергать суду, объявлять виновным и наказывать за совершение преступления?

Да, признаёт, если под словом преступление разуметь нападение; в иных случаях не признаёт.

Верит ли он в суд присяжных?

Анархизм, как таковой, ни верит, ни не верит в суд присяжных: это для него вопрос целесообразности. Что касается меня лично, то я склоняюсь в его сторону.

Если да, то как присяжные должны избираться?

Это опять-таки вопрос целесообразности. Говоря о себе лично я думаю, что присяжные судьи в числе двенадцати должны выбираться по жребию из списка, содержащего имена всех граждан общества; должность присяжных не должна, конечно, быть принудительной, хотя она и может быть правомерно сделана, если это покажется удобным, условием права участия в добровольной ассоциации.

Допускает ли он существование тюрем или иных мест заключения для тех, кто окажется опасным для общества?

Опять-таки вопрос целесообразности. Если Анархизм не найдёт иного, лучшего способа сопротивляться насилию, он прибегнет и к тюрьмам.

Допускает ли он взимание налогов для содержания судебных мест и мест заключения и обуздания?

Анархизм не предполагает лишать ни одного индивида его имущества или какой-либо части его имущества без его согласия, если только индивид не сделается нападающим или захватчиком; в последнем случае анархизм возьмёт из его имущества столько, сколько необходимо для возмещения ущерба, нанесённого совершённым им нападением. Взносы для поддержания определённых учреждений могут быть, подобно обязанности присяжных судей, правомерно сделаны условием права участия в добровольной ассоциации.

Как будет отправляться правосудие в данном случае?

Так как вопрос не поставлен ясно, то я и не могу дать на него точный ответ. Могу лишь сказать, что правосудие будет отправляться на основании принципа равной свободы всех и посредством такой его организации, которая окажется лучше всего приспособленной к достижению поставленных ими себе целей.

Будут ли анархисты ждать до тех пор, пока все, знающие о нём, согласятся между собой?

Вопрос этот грамматически неправилен. Не ясно, к чему относится выражение «о нём». Оно может относиться или к правосудию, упомянутому в предыдущем вопросе, или к Анархизму, или, наконец, к какому-нибудь понятию, ещё скрытому в глубинах ума автора. Я на авось дам следующий ответ, надеясь, что он попадёт в цель. Когда анархисты уговорятся между собой в количестве, вполне достаточном для выполнения какой-нибудь лежащей перед ними отдельной задачи, они, вероятно, примутся за дело.

Будут ли они придерживаться начала большинства, или будут защищать мнение какой-либо малой части?

Так как анархические ассоциации признают право свободного выхода, то они могут применять и баллотировку, если сочтут её удобной для себя. Если вопрос, решаемый баллотировкой, настолько жизненен, что меньшинство считает более важным не отступать от своих взглядов, чем сохранять возможность общей деятельности, то оно сможет уйти. Но ни в коем случае нельзя управлять меньшинством, как бы незначительно оно ни было, против его согласия.

Предполагает ли Анархизм охрану и осуществление естественного права, поскольку оно может быть вскрыто, или же он предполагает нечто противоположное ему или что-нибудь иное?

Анархизм именно и предполагает охрану и осуществление естественного права свободы, и не предполагает ничего противоположного, или ещё чего-либо иного.

Если Анархизм полагает, что все те, кто не поступает согласно с естественным правом, как его понимают массы, должны подвергнуться действию аппарата организованной власти, всё равно какое бы имя последний не носил, то он будет человеческим правлением совершенно так же, как и ныне существующее.

Анархизм ничего не знает об «естественном праве, как его понимают массы». Он означает охранение и осуществление каждым индивидом естественного права свободы, как его понимает он сам. Когда определённое число индивидов, понимающих естественное право, как равную свободу всех, организует добровольную ассоциацию для сопротивления посягательствам на эту свободу, то они образуют нечто, совершенно отличное

от всякого человеческого правления, какое мы только имеем в настоящее время. Они отнюдь не образуют правления; они организуют возмущение против правления. Ибо правление есть нападение и ничего больше. Сопротивление же нападению есть антитезис правления. Все современные организованные правительства являются правительствами потому, что они нападают. Прежде всего, все их акты – косвенное нападение, так как опираются на первоначальное нападение – взимание налогов. Во-вторых, чуть не большинство их актов являются прямым нападением, так как направлены не к обузданию захватчиков, а к отрицанию свободы людей в их промышленной, торговой, общественной, домашней и индивидуальной жизни. Ни один человек, обладающий мозгами, не сможет по совести сказать, что такие учреждения тождественны по своей природе с добровольными ассоциациями, поддерживаемыми добровольными взносами и ограничивающимися сопротивлением нападению.

Если анархизм означает, что неразвитому и порочному индивиду не должно ставить никаких препятствий, то это значит, что мир должен терпеть от всех беспорядков и преступлений, которые может натворить разнузданный порок.

С. Блоджетт

Я надеюсь, что читатели мои отнесутся к последнему предложению мистера Блоджетта с вниманием, соответствующим всей широте и глубине заключённой в нём мысли. Но раньше всего посмотреть в чём его суть. Оно утверждает, что карательные установления являются единственными двигателями добродетели. Воспитание и пример; общественное мнение и социальный остракизм; свобода и соревнование; увеличение материального благосостояния и уменьшение поводов к соблазну; повышение физического здоровья и сравнительное равенство условий жизни, – все эти факторы совершенно недействительны, в качестве предохранительных или лечебных мер против безнравственности. На земле существует только один способ,

могущий развить неразвитого и сделать порочного добродетельным, – наши судьи, наши тюрьмы, наши виселицы. Мистер Блоджетт, надеюсь, не разделяет учения христианства о том, что ад есть единственный оплот религиозной нравственности; однако он воспроизводит это учение, утверждая, что ад на земле есть единственный оплот естественной морали.

Почему мистер Блоджетт и все те, кто согласен с ним, так упорно не обращают внимания на положительную сторону анархизма? Главнейшим аргументом анархизма в пользу его принципов является утверждение, что упразднение юридических монополий так преобразует общественные отношения, что невежество, порок и преступление постепенно исчезнут. Как бы часто вы эту мысль ни повторяли, как бы подробно вы её ни развивали, господа Блоджетты будут подходить к вам, очевидно совершенно не сознавая, что им сделали возражение и говорить: «если не будет полицейских, преступные массы поднимут бунт». – Скажите им, что когда система промышленного людоедства, покоящаяся на охраняемых законом привилегиях, исчезнет, то исчезнут вместе с ней и убийцы; они не станут этого отрицать, не попытаются опровергнуть вас, но устремят на вас на минуту свои совиные глаза, и затем с их уст сорвётся старый привычный крик: «Угу! Когда разбойник станет вас резать, что вы тогда запоёте? Угу-у!..»

Права и обязанности при анархии

Liberty 31 декабря 1887 г.

Старые читатели нашей газеты должны помнить, что около двух лет тому назад на её страницах появился ряд вопросов, поставленных автором нижеследующего письма и сопровождавшихся ответами редактора. Теперь мой вопрошатель допрашивает меня вторично, но на этот раз уже не как самонадеянный, а как человек, серьёзно ищущий истины. И как я тогда отвечал ему в дуче, соответствовавшем его воинственности, так теперь

я отвечаю ему в тоне, отвечающем его дружественным намерениям.

К редактору Liberty.

Не сообразовали ли вы поместить в своей газете ответы на нижеследующие вопросы, чем много обяжете человека, изучающего этику, политику и другие гуманитарные науки?

1. Думаете ли вы, как анархист, что любое человеческое существо имеет право решать за другого, что ему следует или чего не следует делать?

Термины этого вопроса нуждаются в более точном определении. Принимая, что слово «право» употреблено в смысле предела, который принцип равной свободы логически ставит силе, что выражение «решать за другого» включает в себе не только *образование*, но и *проведение его в жизнь*, а слово «следует» равнозначно слову «должен», — я отвечаю: да. Но единственным случаем, в котором человеческое существо имеет такое право над ближним является тот, когда этот ближний в своих действиях или упущениях перешёл за пределы, полагаемые силе, и выше мной указанные. Это подразумевалось и под употреблённым в одном из прежних номеров *Liberty* выражением, что «единственная обязанность человека заключается в уважении прав других». Смело можно было бы прибавить к этому, что единственное право одного человека над другим состоит в принуждении к исполнению этой обязанности.

2. Думаете ли вы, что и любая совокупность индивидов имеет такое право?

Да, думаю. Право любой совокупности индивидов есть то право, которое ей добровольно передают соединяющиеся индивиды, обладающие этим правом. Из этого, как и из предыдущего ответа, следует, что как индивиды располагают иногда тем правом, о котором идёт в данном случае речь, так и совокупность индивидов может иметь его.

3. Думаете ли вы, что индивид или какая-нибудь совокупность индивидов имеет право воспрепятствовать другому поступать так, как ему нравится?

Да, думаю. Ответ на этот вопрос содержится в двух предыдущих ответах вместе взятых.

4. Считаете ли вы, как анархист, дозволительным оказывать какое-либо воздействие, не прибегая, конечно, к грубой силе, для того, чтобы побудить другого жить так, как вам кажется наилучшим?

Соблаговолите объяснить, какое воздействие, по вашему мнению, может быть употреблено – если оно вообще дозволительно – согласно с анархическими принципами.

Да, считаю. Воздействие же может быть оказано: путём рассуждения, убеждения, приманки, воспитания, примера, общественного мнения, социального ostrакизма, свободнодействующих экономических сил, перспективы лучшего будущего и, несомненно, многими другими способами, которые в данный момент не приходят мне на память.

5. Полагаете ли вы, что с точки зрения анархизма должно существовать частное право собственности на имущество? Если да, то укажите, пожалуйста, тот способ или то правило, посредством которого можно было бы определить, владеет ли данное лицо какой-нибудь вещью на праве собственности или нет?

Да, полагаю. Так как анархизм есть ни более и ни менее как принцип равной свободы, то собственность в анархическом обществе должна находиться в согласии с этим принципом. Единственной формой собственности, отвечающей этому условию, является такое право собственности, которое обеспечивает каждого во владении его собственными продуктами или такими продуктами других, на которые он мог получить безусловное

право, не прибегая к обману или насилию и осуществляя все те права на эти продукты, которые он может приобрести на основании свободного договора с другими. Неопороченное обманом или насилием владение ценностями, на которые никто другой не имеет неопороченного обманом или насилием права, и обладание столь же неопороченными правами на ценности – таковы анархические критерии права собственности. Под обманом я разумею не простую противоположность справедливости, а надувательство и лживые притязания во всех их формах.

6. Справедливо ли лишать свободы тех людей, которые наносят ущерб другим и оказываются опасными для общества? Если да, то каким образом можно определить природу такого лишения свободы, совместного с анархией, и как долго оно должно продолжаться?

Да, справедливо. Такое лишение свободы бывает иногда справедливо потому, что оно порою является самым разумным способом защиты права, указанного в ответе на первый вопрос. Есть много совместимых с анархией способов определения природы и продолжительности такого лишения свободы. Суд присяжных в его первоначальной форме может служить одним из таких способов и, по моему мнению, является самым лучшим из всех, изобретённых доселе.

7. Обязаны ли добрые граждане кормить, одевать и доставлять удобства тем, кого они считают необходимым лишить свободы?

Нет, не обязаны. Другими словами, дозволительно наказывать нападающих пыткой. Но если добрые граждане – не дьяволы, они вряд ли будут защищать себя посредством пыток, пока смертная казнь и сносное тюремное заключение не окажутся недействительными против преступлений.

Я ставлю эти вопросы отчасти для себя самого, отчасти в убеждении, что многие на пути к анархиз-

му встречают затруднения, которые могли бы быть устранены разумным и ясным ответом.

Вы, быть может, уже много раз разбирали эти вопросы, и вас, быть может, охватывало нетерпение, когда вы видели в каком мраке заблуждения я прозябаю. Но все так называемые реформаторы должны быть готовы изложить свою теоретическую позицию всем, вновь к ним обращающимся людям, и я верю, что вы постараетесь сделать всё ясным как для меня, так и для тех, кто может оказаться в столь же бедственном положении, как и я.

С. Блэджетт

Только недостаток времени и места останавливает мою готовность ответить на разумные вопросы, касающиеся науки, начаткам которой я обучаю. И я верю, что усилия мои в этом отношении не окажутся совершенно бесплодными для той похвальной цели, которую имел в виду мой любезный корреспондент.

Ещё вопросы

Liberty 28 января 1888 г.

К редактору Liberty,

Благодарю вас за внимание, с которым вы отнеслись к моим вопросам в номере *Liberty* от 21 декабря; и так как вы выражаете готовность отвечать мне и впредь, то я позволю себе воспользоваться ею; верю, что вы найдёте мои вопросы уместными и дельными.

Думаете ли вы, что право собственности может быть внутренне-присуще, связано с предметами, не произведёнными трудом или содействием человека?

Вы говорите, что «анархизм есть ни более и ни менее, как принцип равной свободы». Ну а если бы правительство было так преобразовано, что оно

ограничило бы свою деятельность только защитой «равной свободы», выступали ли вы в чём-нибудь против него? Если да, то в чём и почему?

Разъясните, пожалуйста, чем был «суд присяжных в его первоначальной форме». Я никогда не слышал о существовании суда присяжных, коренным образом отличного от того суда, который мы имеем в настоящее время.

С. Блоджетт

Я не признаю никакого внутренне-присущего права собственности. Собственность есть социальное отношение и может принимать разнообразные формы. Но устойчива лишь та форма собственности, которая основана на принципе равной свободы. Все остальные формы неизбежно влекут за собой нищету, преступление и конфликты. Анархическая форма собственности уже была мной определена в одном из предыдущих ответов мистеру Блоджетту, как «такое право собственности, которого обеспечивает каждого во владении его собственными продуктами или такими продуктами других, на которые он мог получить неопороченное право, не прибегая к обману или насилию и осуществляя все те права на эти продукты, которые он может приобрести на основании свободного договора с другими». Из этого определения следует, что анархическая собственность распространяется только на продукты. Продуктом же является всякая вещь, на которую был затрачен человеческий труд, всё равно, кусок ли это железа или кусок земли¹⁰.

Если бы «правительство» ограничило свою деятельность защитой равной свободы, то анархисты бы не выступали против него; но такую защиту они не называют правлением. Критика анархистской идеи, не принимающая во внимание анархистских определений, совершенно бесплодна. Анархист определя-

¹⁰Необходимо, впрочем, прибавить, что по отношению к земле или ко всякой другой вещи, запас которой так ограничен, что все не могут иметь её в беспредельных количествах, анархизм обещает защищать только те права, которые основаны на фактическом владении и пользовании.

ет правление как нападение – не более и не менее. Защита от нападения есть, таким образом, нечто противоположное правлению. Анархисты, способствуя уничтожению правления, способствуют уничтожению нападения, а не защиты от нападения. Читатель, быть может, яснее поймёт меня, если я скажу, что все государства, для того, чтобы сделаться незахватными, должны раньше всего прекратить тот основной акт захвата, на котором они все покоятся – взимание налогов силой, – и что анархисты считают изменения, которые вызовет в социальных условиях восстановление экономической свободы, гораздо более действенной защитой от нападения, чем любую принудительную организацию при отсутствии экономической свободы.

Суд присяжных в первоначальной форме отличается от своих современных форм в двух отношениях: в способе избрания присяжных и в своих полномочиях. Первоначально присяжные избирались по жребию: из урны, содержащей записки с именами всех граждан, вытаскивалось двенадцать записок; между тем как в настоящее время составляется путём тщательного отбора специальный список присяжных. По своим первоначальным полномочиям суд присяжных был судьёй не только факта, как это имеет обыкновенно место в настоящее время, но и права, и справедливости закона, и степени и рода наказания. Более обстоятельные данные по этому вопросу можно найти в памфлете Лисандра Спунера: «Свободные политические учреждения».

Последний вопрос мистера Блоджетта

Liberty 28 апреля 1888 г.

К редактору Liberty.

У меня есть ещё один вопрос к вам, и больше, мне кажется, я не буду вас беспокоить.

Вы говорите: «я не признаю какого-то *внутренне-присущего* права собственности. Собственность есть социальное отношение.»

Значит ли это, что анархизм признаёт правильность принуждения индивидов уважать социальные условности?

С. Блоджетт

Читатель, желающий освежить свою память в отношении того ряда вопросов, которые мне поставил мистер Блоджетт, должен обратиться к 115 и 117 номерам *Liberty*. Ответ, данный мною в 115 номере на первый вопрос, является в сущности ответом и на вопрос, только что поставленный. Я говорил там, что единственное принуждение индивидов, которое анархизм признаёт, заключается в принуждении нападающих индивидов воздержаться от нарушения принципа равной свободы. Но так как равная свобода есть сама – социальное соглашение (ибо не существует естественных прав), то очевидно, что анархизм признаёт правильность принуждения индивидов уважать *одно* социальное соглашение. Но из этого не следует, что он признаёт правильность принуждения индивидов уважать *все и каждое* социальное соглашение. Анархизм защищает равную свободу (частным выражением которой является и собственность, основанная на труде), не потому, что она есть социальное соглашение, но потому, что она – равная свобода, то есть потому, что она – сам анархизм. Анархизм может, конечно, защищать самого себя, но на этом и ограничивается его миссия. Эта самозащита должна, однако, производиться посредством добровольной ассоциации, а не посредством правления, ибо защищать равную свободу посредством правления значит нападать на равную свободу.

В затруднительном положении

Liberty 9 июня 1888 г.

К редактору Liberty

Я пишу вам теперь не в надежде на то, что вы напечатаете моё письмо, так как опоздание, с которым вы

поместили мой последний вопрос, свидетельствует о том, что вы не находите более места для меня в своей газете. Вы слишком хорошо рассуждаете для того, чтобы не знать, что если дозволительно вмешиваться для принуждения людей «уважать *одно* социальное соглашение», то нет недозволенного и в том, чтобы обязывать их уважать другое или все соглашения, при условии, что такое принуждение имеет за себя какое-нибудь оправдание. Если «не существует никаких естественных прав», то нет места ни голосу совести, ни каким-либо иным нравственным преградам – была бы только сила. Нет, поэтому, никаких гарантий того, что при анархии будет хоть столько же свободы для проявления индивидуальности, сколько её существует в современном строе, ибо *принцип* прав человека всё-таки признан в настоящее время, как бы мы ни были далеки от его правильного применения. Крылатое же слово о «равной свободе», «социальном соглашении» может быть стёрто так же хладнокровно, как и всякое другое. Существуют только две точки зрения, которых можно держаться, решаясь на какой-нибудь поступок, – точка зрения права и точка зрения целесообразности; и раз вы отталкиваете идею права, вы этим приближаетесь к самой низкой форме эгоизма. Нет, посему, никаких оснований полагать, что анархисты, отрицающие всякое обязательство на почве права, будут более стойко проводить свою платформу, выставленную ими в то время, когда они в меньшинстве, чем обыкновенные политические партии, дающие обещания в то время, когда они не у власти.

Я назвал фразу о «равной свободе» «крылатым словом». В самом деле, звучит она красиво, но при ближайшем рассмотрении оказывается пустой по содержанию. Так, например, «равная свобода» может дать каждому одну и ту же возможность свобод-

но пользоваться одним и тем же клочком земли, засаженным капустой, одним и тем же бочонком мяса, одним и тем же закромом хлеба. Пока никто не сталкивается при этом с другим, никто и не нарушает принципа «равной свободы»; но когда кто-либо начинает отстранять других, он его нарушает, и вы можете только оправдать его осуждение, сказав, что один должен в этом случае располагать свободой, а другие – нет; что те, кто ничего не делал для производства вещей, не должны иметь «равной свободы» для их присвоения. Но если никто не имеет «естественных прав», то вор, например, не только не сталкивается с «равной свободой» других, но и не причиняет им никакого зла. Вы правильно рассуждали, но ваши исходные пункты несостоятельны. Вы запутались в паутине рассуждений, сотканной без помощи материальных средств. Однако мне кажется, есть ещё луч надежды для анархизма. Соединитесь с метафизиками христианской науки, и это слияние будет выходом для вас. Когда я думаю об этом слиянии, я испытываю уверенность, что оно будет столь же совершенно, как и химическое соединение, и что в результате получится самый приятный нектар, который когда-либо вкушало страждущее человечество.

С. Блоджетт

Как говорит мистер Блоджетт, вполне позволительно принуждать к тому или иному социальному соглашению «при условии, что такое принуждение имеет за собой оправдание». Но анархисты именно потому, что они анархисты, не могут оправдать принуждения уважать какое-нибудь иное социальное соглашение, как соглашение равной свободы, так как последняя составляет суть их учения. Мистер Блоджетт просил меня определить сферу принуждения с точки зрения анархизма; с иной точки зрения он не просил меня её определять. Ска-

зять, что анархист в праве заставить уважать все социальные соглашения, значит сказать, что он в праве перестать быть анархистом, – чего никто не отрицает. Но если бы он перестал быть анархистом, то остальные анархисты были бы всё-таки в праве помешать ему напасть на них. Надеюсь, что мистер Блоджетт достаточно правильно рассуждает, чтобы понять это различие; впрочем, мои надежды на это могут и оказаться напрасными.

Совершенно верно указание мистера Блоджетта, что, если не существует никаких естественных прав, то нет места и голосу совести. Но совершенно неверно его дальнейшее утверждение, что тогда нет места никаким «нравственным преградам», никаким сомнениям. Сомнение, по Вебстеру, есть «нерешительность в поступках, возникающая из трудности определить, что справедливо или *целесообразно*». Почему же люди не верящие в естественные права, не могут колебаться, исходя из соображений целесообразности? Другими словами, почему им быть ни перед чем не останавливающимися?

Совершенно верно то, что анархизм не признаёт принципа человеческих прав. Но он признаёт человеческое равенство, как необходимое условие устойчивого общества. Каким же образом его можно обвинять в том, что он недостаточно гарантирует свободное проявление индивидуальности?

Совершенно верно, далее, и то, что равная свобода может быть стёрта так же хладнокровно, как и всё другое. Но люди, верующие в такую свободу, вряд ли захотят растоптать её. Анархисты же веруют в неё.

Наконец, совершенно верно и то, что есть только два принципа поведения: право и целесообразность. Но почему упразднение права приближает анархизм к самой низкой форме эгоизма? Разве целесообразность исключает высшие формы эгоизма? Я считаю целесообразным быть честным. Разве я не буду, поэтому, честным, независимо от всякой идеи о праве? Или честность есть низшая форма эгоизма?

Но уж совершенно далеко от истины утверждение мистера Блоджетта, будто анархисты имеют столько же оснований

оставаться верными своей программе, сколько имеют их и обыкновенные политические партии. Анархисты желают тех преимуществ, которые даёт гармоничное общество, и знают, что стойкая приверженность к своей платформе есть единственный путь их достижения; между тем обыкновенные политические партии желают только присоединиться к «общественному» пирогу и захватить должности в свои руки, а программы стряпают просто для того, чтобы набрать побольше голосов. Но даже если бы было возможно для лицемеров держаться анархистской платформы просто из собственных временных выгод, то разве это поколебало бы правильность начал анархизма? Разве мистер Блджетт отвергает все лучшие принципы с того момента, как они включаются в партийные платформы политическими аферистами?

Общая возможность для всех свободно пользоваться одним и тем же клочком земли, засаженным капустой, ещё не есть равная свобода, как это очень удачно заметил недавно сотрудник нью-йоркской *Truth Seeker* в статье, перепечатанной в *Liberty*, равная свобода не означает равного рабства или равного нападения. Она означает предоставление индивидам, живущим в обществе, наибольшего объёма свободы, совместимого с равенством и взаимным уважением к сфере деятельности ближнего. Присваивать капусту, которую взрастил другой, не значит уважать его сферу деятельности, и принцип равной свободы не признал бы такое поведение правильным.

То здравомыслие, с которым мистер Блджетт возобновил в последнее время свои вопросы, побудило меня верить, что он не находит удовольствия в смешении сатиры с доказательствами. Но утончённая ирония, с которой он заключает своё последнее письмо, свидетельствует, кажется, о противоположном. Если это так, то дадим ему высказаться и почувствовать себя удовлетворённым. Автор «Угу!» ещё не исчерпал своего остроумия.

Объяснение мистера Блджетта

Liberty 4 августа 1888 г.

К редактору Liberty.

Я честно ставил вопросы, касавшиеся того фундамента, на котором анархизм стремится построить своё социальное здание. Я много думал об этом вопросе, внимательно читал попадавшие мне номера *Liberty* и, когда идеал обрисовался предо мною во всей своей величавой красоте, я понял, что надо обладать расплывчатой мыслью для того, чтобы считать возможным его практическое осуществление. Я также узнал, что те мои знакомые, которые разделяют идею анархизма, рассуждают с точки зрения воображаемого, а не действительного человечества, что и лишало их суждения об этом предмете всякой практической ценности.

Я обратился к вам за разъяснением своих недоумений. Я был готов обратиться в анархиста, если бы только анархизм мог быть чем-то осязаемым. Но, сознаюсь, я верил, что вы восполните тот пробел, который имеется у вас. В одном отношении я и разочаровался, и был приятно поражён. Вы имели мужество открыто заглянуть в лицо дилемме, которая стояла перед вами, и напечатали мой последний вопрос, а затем и моё заключительное слово. Я отдаю честь вашей прямоте, и сознаюсь, что она превзошла мои ожидания.

Когда я писал своё последнее письмо, я думал, что мой спор с вами этим письмом закончится, всё равно, напечатали ли бы вы его или нет; и я в действительности ограничился бы им, если бы вы его не напечатали или напечатали просто с некоторыми комментариями, какого-бы свойства они не были. Но вызывающий и угрожающий тон вашего ответа заставляет меня писать вам ещё раз. Это не значит, что я когда-либо порицал вас или чувствовал себя обиженным вашим выражением «Угу!»; должен сказать, что я *действительно* нахожу удовольствие в

смешении сатиры с доводами в надлежащих случаях. Я чувствую себя в области полемики и иронии, как рыба в воде, следовательно, вы можете смело не питать симпатии ко мне. Бейте же меня своими аргументами, когда вы чувствуете, что можете это сделать, и не трудитесь их подсахаривать.

А теперь несколько слов о ваших последних замечаниях. Вы принимаете моё утверждение, что вполне дозволительно принуждать к тому или иному социальному соглашению при условии, что оно имеет за себя какое-нибудь оправдание. Я нахожу, что в таком случае совершенно исчезает различие между анархистами и сторонниками государства. Если и существует некоторое различие в их тактике, то в принципах, руководящих ею, отсутствует всякое различие. Можно указать, например, на разницу в методах, практикуемых ими, а также в *роде* социальных соглашений, к которым они желают принуждать индивидов. И в обоих этих отношениях, я, кажется, скорее симпатизирую анархистам, подобным вам. Но когда мы не даём другому поступать так, как он желал бы поступать, то мы господствуем над ним в этой особой сфере, и я не вижу никаких оснований для того, чтобы отрицать этот факт или стараться найти другой термин для его выражения. По моему мнению, лучше и не пытаться ходить вокруг да около, а открыто установить те социальные соглашения и права (для тех, кто, как я, верит в права), которым мы хотим придать обязательную силу, и те ограничения, от которых мы желаем освободить мир, и таким образом бороться смело и прямо.

Вы говорите, что «возможность для всех свободно пользоваться одним и тем же клочком земли, засаженным капустой, ещё не есть равная свобода». Если все имеют возможность свободно пользоваться им, то я не понимаю, каким образом кто-либо может иметь

большую свободу, чем другой; а если к тому же все располагают всем, что в этой свободе заключается, то такая свобода мне кажется «равной». Затем, я настаиваю на том, что «равное рабство» есть равная свобода. Невозможно сделать кого-то рабом всецело; и как бы незначителен ни был оставленный ещё объём свободы, но, если один и тот же объём свободы оставлен всем, то ясно, что у нас получится «равная свобода». Быть равным не значит иметь много или мало, но быть наравне с другими. «Равная свобода» ещё не выражает того, чем вы будете в будущем, и вы должны или снова попытаться определить, или сознаться, что ваши мысли смутны и не могут быть ясно выражены.

Трудно также понять, что вы разумеете под словом «нападение». Не может быть, чтобы вы понимали под ним нападение на права ибо, согласно вашему же заявлению, нет вообще никаких прав на которые можно было бы нападать. Во всяком случае, *«равное нападение»* есть равная свобода. Предположите, что вы не «уважаете сферы деятельности ближнего», но это отсутствие уважения ещё не ограничивает его свободы; а так как и ему нет необходимости уважать вашу сферу деятельности, то в результате и в этом отношении получается «равная свобода».

Я очень рад, что поднял этот вопрос, так как мне кажется, что из ваших ответов я извлёк ключ к вашим сокровенным мнениям на этот счёт. Если я не ошибаюсь, мы совсем не так далеки друг от друга, как это может показаться с первого взгляда; я признаю, что ваши взгляды могут иметь известную ценность в мире реформ. Я уверен также, что вы можете содействовать ослаблению тисков правительственных прерогатив, относящихся к правам чисто личным. Здесь мы можем работать вместе.

С. Блоджетт

Я не вижу в себе какого-либо особого мужества или особой честности, будто бы проявленных мной в споре с мистером Блоджеттом. Это, быть может, происходит от того, что я не нахожу, чтобы мне пришлось столкнуться с какой-нибудь дилеммой. Если же я в действительности был разбит по всем пунктам, как это, кажется, предполагает мистер Блоджетт, то для моей гордости и душевного мира очень хорошо, что я не сознаю этого. «Различие в роде социальных соглашений, которым анархисты и сторонники правления хотят придать обязательную силу» есть единственное различие, которое я нахожу между сторонниками анархизма и правления. Само по себе достаточно значительное, различие это, в сущности, вполне равняется различию между свободой и властью. Употреблять слово «правление» в смысле принуждения к таким социальным соглашениям, которые не необходимы для сохранения равной свободы, значит не говорить обиняками, а ясно определять значение терминов. Другие могут употреблять это слово в ином смысле, и я не буду спорить с ними до тех пор, пока они будут воздерживаться от истолкования моих положений посредством своих определений. «Возможность для всех пользоваться одним и тем же клочком земли, засаженным капустой, не есть равная свобода», так как она не совместима с другой свободой – свободой владения. Равная свобода в сфере собственности есть такое равновесие между свободой пользования и свободой владения, при котором обе эти свободы могут сосуществовать, не вступая одна с другой в конфликт и не вызывая захвата. В чисто словесном смысле можно ещё как-нибудь сказать, что равное рабство есть равная свобода. Но всякий, за исключением разве мистера Блоджетта, поймёт, что защищающий равное рабство защищает высшую сумму рабства, совместимого с равенством, тогда как защищающий равную свободу защищает высшую сумму свободы, совместимой с равенством. Это один из тех случаев, когда ударение, делаемое на слове, меняет совершенно смысл выражения. Под «нападением»¹¹ я разумею вторжение

¹¹ Любимый термин Такера «invasion» – «набег», «нападение» – местами употребляется им в смысле «захват».

в ту сферу индивида, отграниченную линией, внутри которой его свободная деятельность не вступает в конфликт с свободной деятельностью ближнего. Конечным итогом всего нашего спора является, по собственному признанию мистера Блджетта, тот результат, что он, до того ложно судивший об учении анархистов, теперь его понимает. Принимая во внимание эту сторону спора, я признаю его победу, ибо во всяком духовном состязании тот является действительным победителем, для кого вопрос делается более ясным.

В защиту непротivления

Liberty 11 февраля 1888 г.

К редактору Liberty.

Я должен внести поправку в учение, согласно которому нанесение ущерба захватчикам совместимо с принципом равной свободы для всех.

Раньше всего, приведу аргумент, который собственно не является аргументом, но имеет тем не менее значение для людей, наблюдавших на себе самих процесс развития новых идей. Они знают, что прежде всего появляется враждебное отношение ко всем новым идеям, затем сильное тяготение в противоположную сторону, и только после этого – и то часто не тогда, когда они этого хотят, – наступает возможность их разумной оценки.

Наблюдение также учит нас и тому, что, если истолковывать свободу, как понятие, обнимающее собою и идею о непротivлении, то она быстро встречает себе сочувствие во многих лучших умах; наоборот, свобода, понимаемая в смысле нашей собственной свободы принуждать других, является для тех же умов непонятной формулой.

И причина этого заключается в том, что если право защищаться и, если хотите, нападать зависит только

от возможности и желания защищаться или нападать, то оно столь же несовместимо с поступками, свойственными человеку в общественном состоянии, сколько и право людоедства, которое, без сомнения, также существует в том случае, когда человек не имея никакой иной пищи, вынужден либо съесть своего ближнего, либо умереть. При сохранении же в том случае права пожирать другого мы должны сказать, что никакие социальные соглашения с этим другим уже не имеют места; они невозможны в состоянии войны.

Кто должен судить о том, нарушено ли право равной свободы? Если каждый сам является здесь судьёй, то почему карманный воришка не может сказать: «Вы имеете право заключить меня в тюрьму за то, что я обобрал ваш карман, но я считаю свой поступок проявлением своей естественной свободы, и охотно предоставляю вам в свою очередь свободу обобрать мой карман, если только вы можете. Право обирать карманы соразмерно возможности обирать карманы, и посягательство совершаете скорее вы, заключив меня в тюрьму, чем я, обирая ваши карманы.»

Между сопротивлением и возмездием с одной стороны, и сопротивлением и предупредительным насилием с другой – существует большое различие. Сопротивление может состоять в заграждении двери, в сооружении какого-либо препятствия против вооружённого нападения; мы можем также сопротивляться для защиты других, противопоставляя нападению собственную личность.

Но когда нападение уже сделано и окончено, когда насилие уже учинено, когда убийство, быть может, уже сделано, то в силу какого права сопротивления мы присваиваем себе право хладнокровного возмездия за проступок?

Или мы предполагаем, что человек, раз убивший, убьёт и вторично? Но такое предположение совершенно несправедливо.

Если же даже допустить большую вероятность этого вторичного убийства, то разве мы должны убивать человека на основании возможности, которая вся ещё в будущем?

Разве мы должны сказать ему, что он себя из общества, объявляет ему войну, и что поэтому и общество в свою очередь ведёт с ним борьбу и изгоняет его из своей среды? Кто же в таком случае должен судить о всех нас, остальных, прониклись ли общественными чувствами настолько, чтобы нам было позволено существовать? Если каждый человек должен сам отомстить за себя повсюду, где он считает себя объектом нападения, то мы ведь возвращаемся к нашему нынешнему состоянию всеобщей войны.

Кроме того, если я вижу, что кто-нибудь угрожает мне наведённым на меня револьвером, должен ли я первый стрелять и убивать его, если я могу это сделать?

Несомненно, я имею право, я должен помешать ему убить меня. Но, поступая таким образом, я перестаю считать его членом своего сообщества. Я даю ему сражение и возлагаю свои надежды только на военное счастье.

Приводимый мною аргумент может быть, коротко говоря, выражен следующим образом: в состоянии общности ни один индивид не может считаться стоящим в каком-нибудь отношении вне общества. Общество должно охватывать всех.

Тот, кто находит удовольствие в нападении – либо неразвитый человек, либо представляет собою возврат к типу первобытного человека, или же его кажущееся нападение есть в действительности попытка

оказать сопротивление тому, что он считает ущербом для себя.

В каждом из этих случаев ответное насилие есть зло, и именно потому, что оно не достигает своей цели.

Если нападающий считает себя оскорблённым, то разумнее всего объясниться и извиниться, хотя бы и при отсутствии желания повредить.

Если нападение сделано только ради удовольствия нападать, только для наслаждения совершением насилия, которое характеризует выродившийся тип человека, то разумнее всего считать нападающего больным человеком, наравне с помешанным или страдающим белой горячкой. Обуздайте его, но медицинским лечением. Свяжите его, но не питая к нему никакой личной ненависти. А в заключении не только не мучьте его, но обращайтесь с ним так, как обращаются или должны обращаться со всеми тяжело больными и немощными: кормите его лучшей пищей, поместите его в лучшее жилище, окружите его доброжелательностью, заботой, любовью.

И это, по моему мнению, есть отношение самое разумное.

Мне кажется, что теория, которую вы защищаете, может породить только то, свидетелями чего мы являемся в настоящее время. Люди повесили в Чикаго анархистов за то, что они стремились к добровольной ассоциации. Люди эти верили с глубокой искренностью, что им угрожало насилие со стороны их жертв. Они проверили правильность своего убеждения средствами, которые они считали подходящими. Они сопротивлялись насилием по закону возмездия.

Как можете вы, держась своих принципов, порицать их?

Мне кажется, что простое выражение «принуждать посредством насилия» уже означает управлять;

анархисты же, отрицающие всякое правление, должны начать со слов: «мы не хотим управлять, мы не будем совершать никакого насилия».

Если вы напечатаете моё письмо, то прошу вас об одном: не прибегайте к критике терминов! Я не христианин, не богослов, не моралист, и вы не должны пользоваться моими промахами в выражениях для того, чтобы придавать мне упомянутые квалификации. Прошу ещё об одном: не опровергайте меня в том же номере, в котором вы поместите моё письмо. Быть может, я не прав. Я желал бы в таком случае иметь возможность изменить своё мнение. Вы, я думаю, так же готовы изменить и своё. Но для этого каждый из нас должен иметь некоторое время.

Джон Беверли Робинсон

Если бы я находил, что моё двухнедельное молчание может помочь мистеру Робинсону или мне изменить своё мнение, я, несомненно, исполнил бы его последнюю просьбу. Но мне кажется, что, если кого-нибудь из нас можно переубедить, то молчание было бы верным средством отсрочить перемену во взглядах. Я изменяю своё мнение, когда против него выставлен довод, который я считаю правильным и опровергающим моё мнение. Если же довод этот мне не кажется правильным с самого начала, то я лишь в редких случаях меняю своё мнение спустя некоторое время. Когда же я стараюсь ответить на довод, то или опровергаю его вследствие его слабости или стараюсь сделать его силу более ощутимой, заставив оппонента повторить его в новой и более ясной форме. Это, по моему мнению, относится и к мистеру Робинсону, если только он высказывал взгляды, вполне у него сложившиеся. Если же нет, то я должен ему посоветовать дать им раньше созреть, а затем уж обнародовать. Без сомнения, можно выставить кое-какие доводы в защиту того, чтобы между изложением противоположных взглядов протекло некоторое время, но лишь в интересах читателя, а не спорящих. Такой промежуток времени возбуждает мысль

читателя, вынуждая его до появления возражения противной стороны составить себе какое-нибудь мнение. Но как ни важно это соображение, оно для периодического издания далеко не единственное. Есть целый ряд других соображений, говорящих в пользу немедленного ответа. Раньше всего, это соображение о месте, треть которого можно сберечь, когда нет необходимости вновь излагать точку зрения противника. Во-вторых, надо принять во внимание и интерес к спору, который ослабевает, когда спор затягивается, благодаря частым отсрочкам. В-третьих, каждый номер газеты читается сотнями таких людей, которые никогда не прочтут другого её номера. Для таких читателей лучше выслушать обе стороны, чем только одну.

Мне трудно удовлетворить и другую просьбу мистера Робинсона, а именно, чтобы я не прибегал к критике терминов. Как я могу избежать её, когда он выдвигает против анархизма обвинение в непоследовательности, которое представляется серьёзным только благодаря неправильному, отвергнутому анархистами определению правления? Он говорит, что сущность правления заключается в принуждении посредством насилия. Если это так, то, конечно, анархисты, всегда выступающие против правления, должны выступать и против насилия. Но анархисты не так определяют правление. Для них сущность правления заключается в нападении, захвате. С точки зрения такого определения непонятно, почему бы анархистам, выступающим против нападения и решившимся не поддаваться ему, и не употреблять насилия против него, если только насилие когда-нибудь окажется самым действительным средством его уничтожения?

Но насилие – не самое действительное средство, – настаивает мистер Робинсон в другой части своей статьи, – «оно не достигает своей цели». Может быть, но это возражение совершенно из другой области. Мистер Робинсон уже не утверждает, что употреблять насилие значит поступать совершенно не по анархически, а утверждает, что существуют другие, более могущественные средства против нападения, чем насилие. Но именно эту истину всегда проповедовала *Liberty*. Я никогда не

говорил ничего противного ей, и критика мистера Робинсона, поскольку она направлена в эту сторону, ломится в открытые двери. Его статья вызвана моими ответами мистеру Блоджетту, помещёнными в 115 номере. Вопросы мистера Блоджетта касались не того, что анархисты считают наилучшим образом действий, но того, что они логически обязаны, согласно своей доктрине, делать и чего избегать. Я держался в своих ответах точного содержания вопросов, проходя мимо посторонних им моментов. Мистер Робинсон не в праве поэтому делать выводы из моих умолчаний, в особенности такие, которые совершенно противоречат вполне ясным заявлениям, сделанным мною в другое время.

Впрочем, мистер Робинсон может мне возразить, что в некоторых случаях я считаю насилие желательным. Совершенно верно, но, согласно его же статье, он сам так поступает. Он определяет эти случаи в отличие от общественного состояния, как состояние войны. Но именно так и я их определяю. Вопрос таким образом заключается в том, что мы должны делать, когда кто-либо относится к нам, как к своему врагу на войне. Пригрозите ему, говорит мистер Робинсон, но не нападайте на него в свою очередь, и этим вы предупредите возможность нового нападения. Это совершенно верно, как принцип общей политики, но с ним нельзя согласиться, как с правилом, не имеющим исключений. Предположите, что кто-нибудь хочет сшибить меня с ног. Я некоторое время отражаю его удары, стараясь в то же время убедить его оставить своё нападение. Но он не отказывается от своего намерения, а я спешу на поезд к своему умирающему ребёнку. Я, конечно, сам сшибаю его с ног и сажусь в поезд. И если он впоследствии будет постоянно повторять свои нападения и таким образом непрерывно мешать мне в деле моей жизни, я его отстраню со своего пути, правда, возможно более мягким образом, но раз навсегда. Иными словами, глупо человеку, желающему жить в обществе, терпеливо сносить нападения неисправимого члена; это, конечно, нисколько не изменяет того факта, что обращаться возможно более кротко и

мягко с исправимыми есть дело не только разумной политики, но и отвечает чувствам высоко-развитой человеческой личности.

Назвать такое отношение к исправимому члену проявлением «нашей свободы принуждать других» значит обнаружить полное непонимание предмета. Это – просто проявление нашей свободы мешать другим принуждать нас.

Но кто будет судьёй того, когда начинается нападение, спрашивает мистер Робинсон. Я ему отвечу: каждый будет судить за себя, а вступившие в сообщество – согласно заключённому условию. Но ведь это будет постоянная война? Нисколько, – в самом худшем случае очень кратковременная война. Я очень хорошо понимаю, что между законным и агрессивным поведением лежит пограничная область, в которой должен некоторое время царить беспорядок. Но область эта непрерывно суживается. Она начала суживаться с того момента, когда идея равной свободы впервые забрезжила в уме человека, и стремится к ширине геометрической линии по мере того, как идея эта делается всё более ясной, а новые социальные условия, которые она влечёт за собой, становятся всё более реальными. И когда она окончательно восторжествует, в мире воцарится мир. Если же тем временем карманный воришка будет продолжать своё предосудительное дело, то не в силу тех доводов, какие ему вкладывает в уста мистер Робинсон. Он может так рассуждать, как рассуждает последний, но фактически он этого никогда не делает. Обыкновенный карманный вор не имеет никакого понятия о равной свободе. Как только она забрезжит в его уме, он начнёт испытывать желание осуществлять её и ознакомиться поближе с тем, что такое равная свобода. Тогда он и поймёт, что она исключает обирание чужих карманов. То же относится и к людям, повесившим чикагских мучеников. Я их никогда не порицал в ходячем смысле этого слова. Я их обвиняю в том, что они нанесли величайшее оскорбление принципу равной свободы, при этом не ведая, что творят. Когда они станут анархистами, они поймут, что они сделали, и уже никогда не будут так поступать. С этой целью я и мои товарищи стараемся просветить их насчёт истинного смысла принципа равной свободы. Но мы

не достигнем своей цели, если будем затемнять этот принцип, если будем отрицать или скрывать те крайности, к которым в случае необходимости приходится прибегать, – иначе люди мягкого характера могут вывести заключение, будто мы стоим за то, чтобы всегда прибегать к таким крайностям, не считаясь совершенно с окружающими условиями.

Свобода и нападение

Liberty 2 февраля 1889 г.

Дорогой мистер Такер:

Liberty оказала мне величайшую услугу, низведя меня с облаков метафизических умозрений, в которых я раньше парил, к прозе практической мысли, представляющей собою не простой разлив гуманизма, а строго-логическую и строго-научную работу, подобно всякому другому практическому исследованию. Несмотря на некоторые мелкие критические замечания, на которых, впрочем, не стоило бы долго останавливаться, *Liberty* кажется мне самой передовой и умной газетой, которую я когда-либо читал. Я питаю к ней величайшее уважение.

Тот частный вопрос, по поводу которого мы обменялись письмами, вопрос о непротивлении, ещё занимает мой ум, но мне трудно найти свободное время для того, чтобы написать о нём что-нибудь для печати. Быть может, он даже несвоевременен.

Конечно, я теперь ясно вижу, что с экономической точки зрения анархизм представляет собою законченную систему, даже совершенно не давая ответа на вопрос о принуждении или непринуждении; тем не менее, важность защиты того или иного образа действий, как средства достижения или упрочения анархии, не уменьшила в моём сознании.

Когда знакомишься с анархической системой, невольно является вопрос: каким образом можно её осуществить. И я думаю, что вопрос этот вполне законен.

Во всякое определение свободы или нападения входит указание на определённую границу, за которой свобода становится нападением. Но я никогда не встречал попытки найти тот критерий, посредством которого можно было бы точно определить эту границу. История свободы в сущности является беспрерывным расширением этой границы. Было время, когда религиозное инакомыслие считалось нападением, и, я думаю, вы согласитесь, что это было не напрасно, если только вспомните, как сильно на наши поступки влияют предвзятые мнения. Когда же распространился взгляд, даже среди самих нападающих, что лишь приверженность к определённым догмам мешает всем людям сделаться агрессивными, то человечество сочло неразумным «сопротивляться основам».

Так и теперь. Подавляющее большинство благонамеренных граждан считает сохранение государства существенно необходимым для обеспечения безопасности. Нет поэтому, ничего удивительного в том, что они быстро воспаляются негодованием против тех, кто открыто борется с государством. В старину еретическая мысль считалась нападением. Впоследствии мысль получила свободу, но слову были поставлены преграды. Произнесение запретных слов стало тогда нападением и считается таковым до некоторой степени ещё и в настоящее время.

Где здесь демаркационная линия? Где граница? Мысль и речь могут быть абсолютно свободны. Помышление или произнесение речи в действительности не могут никому вредить.

Но где мы должны остановиться в своих поступках?

Мне кажется, что для применения анархического принципа к современной действительности существенно важно провести эту линию, отделяющую свободу от посягательства. Для иллюстрации, сошлюсь на вас и Эгоиста, в последнем выпуске *Liberty* называющих друг друга нападающими, в известном смысле.

Не является ли, в самом деле, правление неисконной, но, быть может, лучшей попыткой, какая возможна для нас в настоящее время, разрешить, хотя бы грубо и произвольно, ту дилемму, когда каждая сторона считает себя управомоченной, а другую – нападающей?

По крайней мере, мне оно представляется таковым. Даже земельные и другие законы, кажущиеся нам основными, по моему мнению, суть вторичного происхождения. Я не глубокий знаток истории законодательства, но склонен думать, что парламентские акты и обобщения обычного права возникли путём закрепления многих индивидуальных решений, причём каждое такое индивидуальное решение было наилучшим из всех возможных при данных условиях.

Если это в действительности так, т. е., если закон является грубой попыткой провести разграничительную линию между свободой и нападением, а не сознательным и предумышленным обманом привилегированными угнетённых (а я думаю, что определение государства, как «заговора», столь же бессодержательно, как и подобное же определение некоторыми нашими друзьями из секуляристов церкви, как заговора священников); – одним словом, если государство есть результат попыток определить границу свободы, то никакая теория, отрицающая государство, не может быть полной, если она не определит как-нибудь иначе этой границы.

Суть нападения, смысл того, что оно запрещено, заключается в том, что оно причиняет страдания. Страдание, даже вызванное надлежащим образом ограниченной свободой или сопутствующее ей, уже само по себе зло; оно – враг прогресса личности и общества. Если бы нападение было всегда приятно, его бы считали похвальным.

Таким образом, если я, проявляя свою свободу, причиняю кому-нибудь страдание, то, поскольку я причиняю страдание, постольку я совершаю нападение. Если я купался нагим перед человеком, шокированным таким зрелищем, то, несомненно, его щепетильность – непонятна. Однако, это не изменяет того факта, что я умышленно оскорбил его, следовательно, совершил нападение.

Стараясь логически определить эту разграничительную линию, я брёл в различных направлениях. Так, однажды, мне казалось, что индивидуальная свобода включает право не делать всего. То есть, люди имеют право сказать другому: «ты вредишь нам своими поступками; ты должен перестать так поступать». Но они не имеют права сказать ему: «наше счастье требует того, чтобы ты поступал так или иначе».

Я не думаю, что мысль моя неправильна, но ей не хватает точности в выражении, а я не настолько искусен, чтобы восполнить этот пробел.

Но из всех идей, на которые мне приходилось наталкиваться во время своих исканий, наиболее правильной кажется мне идея о так называемом «непротвлении», которая поистине может служить руководящим принципом. Лучше было бы сказать «неотмщение», но и это слово не вполне точно передаёт мысль.

В основе этой идеи лежит смутное сознание, что никто в наши дни не нападает на другого ради

забавы. Если кто-нибудь нападает на меня, то я могу непосредственно из этого заключить, что или я в действительности оскорбил его или он только думает, что я оскорбил его. Если я сумею «парализовать его нападение взглядом» или «сопротивляться» ему каким-нибудь иным образом, но не нанося ему вреда, то я вряд ли назову такое моё поведение сопротивлением. Здесь, вообще возможны обыкновенно лишь два способа: или своевременное извинение или ответное нападение. Если я применяю последнее и обезвреживаю или убиваю нападающего, то вопрос о том, кто первый совершил нападение не может быть решён. Я в этом рассуждении занял аристократическую позицию непогрешимости, для которой общественности не существует.

Что же касается тех, которые находят удовольствие в нападении, то это, несомненно, вымирающий тип людей. Им место в больницах так как они знаменуют атавистический возврат к доисторическому типу человека; во всяком случае, это – индивиды, не могущие отвечать за себя.

Одним словом, вопрос о том, в чём заключается нападение, может быть разрешён только посредством договоров, заключённых индивидами между собой. Но для того, чтобы можно было придти к соглашению и заключить договор, необходимо принять, что мнение индивида, считающего себя объектом нападения, должно считаться окончательным, если оно не может быть опровергнуто аргументом, т. е. если невозможно изменить его убеждения.

Если кто-либо настаивает на том, что данный поступок является по отношению к нему нападением, то поступок этот тем самым становится нападением и друг свободы вынужден скорее признавать его таковым и уступить, чем наносить оскорбление, упорствуя в своём первоначальном поведении.

Надеюсь, что вы поймёте мою мысль. Я не считаю её окончательной и думаю, что она нуждается ещё в некоторых более точных логических разграничениях.

Примите и проч.

Джон Беверли Робинсон

Хотя я и очень желал бы, чтобы демаркационная линия между свободой и нападением была проведена с научной точностью, но я не могу допустить, чтобы для осуществления анархизма была необходима такая строгость определения. Если, не смотря на недостатки этого определения, история свободы была тем не менее, как правильно замечает мистер Робинсон, «беспрерывным расширением этой границы», то непонятно, почему этот процесс расширения не должен продолжать своего освободительного течения и впредь, до тех пор, пока анархия не станет фактом. Вполне мыслимо, что и после того, как последняя пядь спорной области будет присуждена той или другой стороне, всё ещё будет невозможно научно сформулировать то правило, которое лежало в основе как этого решения, так и всех предшествовавших ему.

Главным обстоятельством, влияющим на сужение спорной области, является не столько растущая точность нашего знания того, в чём состоит нападение, сколько усиливающееся сознание того, что нападение есть зло, которого нужно избегать, а свобода есть условие прогресса. В тот момент, когда человек перестаёт верить, будто он родился для того, чтобы найти своё право и связать им всё остальное человечество, в этот момент он начинает чувствовать неодолимую склонность предоставить другим идти их собственным путём, а самому воздержаться даже от возмездия или сопротивления, за исключением тех крайних случаев, которые требуют этого немедленно и повелительно. Это остаётся правильным даже тогда, когда мы дадим нападению самое широкое толкование и определим его как причинение страдания. Ибо индивид, понимающий связь между свободой и общим благом, будет столько же страдать от

некоторых оскорблений, сколько и от сознания, что его соседи ограничивают свою свободу, не принимая в соображение его чувствований. Такой человек никогда не скажет своим соседям «до сих пор и ни шагу дальше», пока они не совершат актов прямого и неоспоримого вмешательства и захвата. Человек, который больше страдает от того, что видит своего соседа купающегося нагим, чем от осознания того, что, не смотря на полную возможность для себя, он всё-таки помешал соседу поступать таким образом, представляет собою именно человека, верующего в нападение и правление как в устои общества, и до сих пор не усвоившего простой мысли, что «свобода – мать порядка».

Эта-то мысль скорее, чем точное определение нападения, является необходимым условием развития анархизма. *Liberty* всегда твёрдо помнила этот урок, данный ей историей, но никогда не требовала большого искусства в определении нападения, довольствуясь самым общим определением. Мы должны довериться опыту и следующим из него выводам при разрешении всех сомнительных случаев.

Что касается государства и церкви, то я нахожу больше оснований, чем мистер Робинсон, к тому, чтобы назвать их заговорами. И не потому, что и я не вижу так же ясно, как и он, что среди их сторонников есть много благожелательных людей, намерения которых отнюдь не заключаются в том, чтобы угнетать или нападать. Несомненно, есть много хороших и серьёзных священников, единственная задача которых заключается в том, чтобы преподавать религиозные истины и возвышать человеческую жизнь; но разве доктор Глинн не показал нам убедительнейшим образом, что реальная, управляющая власть в церкви всегда принимает недобросовестные формы? Уже Герберт Спенсер доказал, что государство возникло из нападения. Если оно в настоящее время заявляет, что существует для целей защиты, то это потому, что развитие социологической науки сделало такое его притязание необходимым условием самосохранения. Ошибочно принимая это притязание за действительную его цель, многие благомыслящие люди поступают на службу

к государству. Но это нисколько не умаляет того факта, что государство существует, главным образом, для того, чтобы исполнять волю капитала и защищать все привилегии, которых он требует для себя. Я не могу, поэтому, понять, почему союзы капиталистов, содержащие посредников для подкупа законодателей, заслуживают более мягкого эпитета, чем «заговорщики», или почему термин «заговор» неточно выражает существо их организации, государство.

Что такое сопротивление

(*Liberty* 26 декабря 1891 г.)

К редактору Liberty.

1. Считаете ли вы правильным мнение, недавно высказанное в *Liberty*, что анархизм допускает существование полиции, тюрем и других форм применения силы? Не следовало бы лучше сказать, что анархизм предвидит, что те, кто желает таких средств защиты, должны будут и сами расплачиваться за них; те же, кто предпочитает иные средства, будут оплачивать только те услуги, которые им желательны?
2. В самом деле, всё учение о целесообразности применения силы против нападающего, в чём, как вы знаете, я всегда сомневался, падает, мне кажется, с той минуты, как мы возводим эгоизм в основу нашего мышления. Называть человека нападающим значит возвращаться к доктрине природной развращённости, значит не признавать того, что все желания в смысле нравственной оценки равны между собой, что, поэтому, нашей задачей должно быть отыскание самого целесообразного приёма, посредством которого можно было бы удовлетворить возможно большее количество желаний каждого. Утверждать,

что определённая формула, предложенная нами в этих целях, есть сама «справедливость» и что, поэтому, все те, кто не считается с нею, поступают «несправедливо», и потому должны быть приведены к повиновению посредством насилия, – значит поступать совершенно так, как те, кто говорит, что открытая ими формула нормирования поведения есть критерий правомерности, и что они поэтому будут насильно приводить к подчинению тех, кто поступает «неправомерно».

3. Когда я проникаюсь чувством эгоизма, мне начинает казаться, что основной моей потребностью является не свобода, а прекращение насилия, мешающего мне удовлетворять свои желания.

Мы получим свободу посредством прекращения насилия, но ведь свобода скорее цель, чем средство.

4. «Мы требуем свободы» – говорят анархисты. «Прекрасно, – отвечает им большинство – но мы не видим никаких оснований, почему мы должны забыть о нашем желании надзирать над вами, и, если вы эгоисты, то вы понимаете, что мы следуем при этом вашим же собственным правилам.» – «Правда, – отвечаем мы им – но позвольте вам указать, что в ваших же интересах дать нам свободу.» – «В настоящее время мы убеждены в противном, – говорят они – мы убеждены в том, что вы хотите ниспровергнуть учреждения, которые мы желаем сохранить.» – «Мы действительно этого хотим, – возражаем мы им – но мы не желаем насилловать вашей воли, не желаем мешать вам делать всё, что вам угодно, под тем лишь условием, конечно, что ваши поступки не будут клониться к тому, чтобы мешать нам в нашей ненасильственной

деятельности.» – «Мы полагаем, – заключает этот спор большинство – что, пытаясь разрушить то, что мы желаем сохранить, вы посягаете на нас». И как можно доказать противное, не дав практического определения нападения? Только с помощью такого определения и можно, например, показать, что, пользуясь не занятой, но присвоенной кем-то землёй, мы не совершаем никакого нападения или захвата.

5. Нет, в конце-концов, мне кажется, нельзя дать никакого определения нападению: оно есть переменная величина, как и сама свобода.

Вы написали недавно, что свобода не естественное право, а общественный договор. Но я думаю, что вы этим определением уклонились от вопроса. Ибо если свобода есть продукт договора, то почему же посягательство, этот предел свободы, также не может быть продуктом договора?

6. Анархизм в действительности означает требование господства договора, а не господства насилия.

«Как эгоисты, мы, анархисты, указываем вам, большинству, что удовольствие, которое человечество находит в борьбе ради борьбы, быстро исчезает, так как выходит из употребления. Мы указываем вам дальше, что с какой бы то ни было точки зрения борьба – ни в чьих интересах, что без борьбы желания могут быть удовлетворены, а сталкивающиеся интересы примирены с гораздо большей приятностью для жизни.» – «Это правда», – отвечает большинство, и отвечает так потому, что, хотя оно и находит удовольствие в борьбе ради борьбы, но оно дошло до того, что не хочет сознаться в испытании такого удовольствия, ибо ясно понимает, как дорого ему обходится эта забава.

«Мы предлагаем поэтому, – продолжают анархисты – не улаживать разногласия посредством насилия, а достигнуть возможно лучшего согласия, не прибегая к насилию. Мы делаем вам это предложение с тем большей уверенностью в его принятии вами, что вы сами уже начали допускать, что условием жизни для людей является не прежнее аскетическое обуздание своих потребностей, а наоборот, их удовлетворение. И потому мы предлагаем вам сразу прекратить насильственное подавление тех поступков, которые не направлены против ваших интересов и которые вы подавляете в настоящее время только потому, что в вас ещё сохранилась изжитая вера в своё призвание их подавлять для блага совершающих их. Следуя этому, мы предъявим и другие требования для прекращения насилия».

Но ясно, что, предлагая договор вместо насилия, мы отвергаем насилие, как принцип поведения, и становимся, – как я считаю правильным называть – сторонниками непротивления. Это значит, что, хотя мы и не ручаемся за наши поступки в том случае, когда наши сочлены откажутся принять наше предложение системы договоров, но мы ни на одну минуту не предполагаем, что это возможное возвращение к насилию образует составную часть новой системы договоров.

Как эгоисты мы должны допустить, что удовлетворение желаний «преступников» столько же подлежат «нравственному» осуждению, как наши собственные поступки, хотя с нашей личной точки зрения мы можем и пожалеть об этом удовлетворении желаний. Мы должны также допустить, что, поскольку мы позволяем себе применять насилие для подавления удовлетворения этих желаний, постольку мы укрепляем

современное господство насилия и отсрочиваем наступление царства договора. В силу этих-то соображений я и называю себя сторонником непротивления и считаю последнее необходимым элементом учения об эгоизме, предпочитающего договор насилию.

Я должен объясниться перед читателем, что, употребляя слово «непротивление», я не придаю ему смысла «отсутствия сопротивления». Под этим словом я разумею сопротивление всякими средствами, кроме ответного насилия.

Передовые статьи, появившиеся недавно в *Liberty* за подписью мистера Иерроса, отдавали сильным моралистическим привкусом, который, впрочем, неизбежен для него при его исходных точках. Взгляды Пентекоста я считаю, наоборот, более согласными с учением об эгоизме. Кстати, я был бы очень рад, если бы мистер Иеррос яснее изложил свою моралистическую позицию на страницах *Liberty*, или если бы вы с ним открыли дебаты по этому вопросу.

Джон Беверли Робинсон

1. Я считаю вполне правильным сказать, что Анархизм предвидит существование всего, что противоречит Анархизму. Писатель, которого *Liberty* критиковала, сделал, как ему казалось, само собою подразумевающееся предположение, что полиция и тюрьмы противоречат Анархизму. *Liberty* просто отрицала эту безусловность, и в этом смысле она и предвидит существование полиции и тюрем. Понятно, что во всяком случае, она не предвидит сохранения принудительной поддержки таких учреждений не нападающими лицами.
2. Когда я называю человека нападающим, я не набрасываю на него тени; я просто констатирую факт. Этим названием

я ни на одну минуту не утверждаю о низком нравственном уровне желания нападающего. Я только признаю невозможность одновременного удовлетворения желания нападающего нападать и моего желания, чтобы меня никто не трогал. Что эти оба желания по нравственной ценности равны между собой, я охотно допускаю, но они, тем не менее, не могут быть одинаково осуществлены. Так как один из нас должен подчиниться другому, то я, естественно, предпочту подчинение нападающего и охотно вступлю в сообщество с другими ненападающими индивидами для достижения этой цели. Я не настаиваю на термине «справедливость», но и не могу ничего против него возразить. Если он не нравится мистеру Робинсону, можно его заменить термином «равная свобода». Но будет ли он утверждать, что применение силы к обеспечению равной свободы вполне равноценно применению силы к разрушению равной свободы? Если да, то мне остаётся лишь пожелать, чтобы для блага живущих в тех домах, которые он строит, его определение угла было более точно в архитектуре, чем в социологии.

3. Если нападающий вместо того, чтобы приковать меня к столбу, просто загородил дорогу, то потерял ли я хоть сколько-нибудь в своей свободе передвижения? Но ведь его поступок перестал в таком случае быть насильственным. Ибо мы приобретаем свободу не вследствие прекращения насилия, а вследствие признания, добровольного или вынужденного, равенства свободы индивидов.
4. Мы должны утвердить в жизни учреждения, противные желанию большинства, посредством упорной пропаганды доктриной равной свободы, пока, наконец, большинство не станет относиться к существующим формам нападения так, как оно уже отнеслось к его вышедшим из употребления формам; т. е. пока оно не поймёт, что оно совсем не стремится к равенству свободы, а просто к подчинению себе всех членов общества. Наше знание того,

в чём заключается нападение, было нами приобретено из опыта. Новый опыт и будет беспрерывно расширять наши знания о нём. Хотя пограничная линия между свободой и нападением нами только ещё намечается, но с каждым днём она становится всё отчётливее. Правда, если бы мы могли прийти по этому вопросу к строгому обобщению, мы сделали бы огромный шаг по пути прогресса. Но хотя мы к таковому ещё не можем прийти, мы всё же подвигаемся вперёд.

5. Предположим, что вы правы. Что же из того? Разве я должен согласиться быть растоптанным ногами только потому, что не заключал никакого договора?
6. Таким образом, позиция сторонника непротивления сводится к тому, что, когда никто на него не нападает, он и не будет сопротивляться. «Мы все социалисты в настоящее время», – сказал недавно один англичанин. Ясно, что, согласно мистеру Робинсону, мы все в настоящее время сторонники непротивления. Но я не знаю ни одного человека, который предложил бы сопротивляться, когда никто не нападает, или принуждать к исполнению договора, когда его никто не собирается нарушать. Я заявляю мистеру Робинсону, как уже заявлял мистеру Пентекосту, что сторонники равной свободы требуют только одного: пусть все люди добровольно поступают согласно этому принципу. К сожалению, многие не хотят так поступать. И поскольку нам приходится соприкасаться с такими людьми, мы будем прибегать не к договору, а к силе. Должны ли мы соглашаться на то, чтобы над нами властвовали или нет? Анархисты ли мы, когда соглашаемся на это, или мы анархисты тогда, когда отказываемся от этого? В этом весь вопрос; мистер Робинсон даже не ставит его.

Допустимость насилия

(*Liberty* 16 января 1892 г.)

К редактору Liberty.

1. Вы проповедуете пассивное сопротивление. Но не означает ли оно того же самого, что обыкновенно называют непротивлением?
Когда Вильям Пенн (или это был Фокс?) отказался снимать шляпу перед королём, его поступок был, несомненно, актом пассивного сопротивления. Но так как он не сделал никакой попытки ударить короля по голове, то его поступок можно считать в то же время и вполне согласным с догматами учения о непротивлении.
2. Я думаю, что на практике нет никакого различия между пассивным сопротивлением и непротивлением. Однако, вы настаиваете на том, что в крайних случаях нужно прибегать к насилию. Почему? В каких крайних случаях? Если насилие может быть принципиально рекомендовано для некоторых случаев, то почему не рекомендовать его для других? Отчего не присоединиться всецело к защите насилия коммунистами?
3. Достаточно разумный, как политическая мера, анархизм хромает, как философская система, пока он признаёт насилие хоть в какой-нибудь степени. Людям, думающим, что правительство существует для подавления грабежей, достаточно было бы показать, что правительство существует посредством грабежа, и отметить вместе с тем те выгоды, которых можно ждать от установления свободы участия в политических обществах.

4. Но всё вышесказанное ещё не решает вопроса, в чём состоит нападение. Я просто утверждаю, что каждый волен для своей защиты принимать такие меры, какие ему нравятся, и что каждый волен сам решать в чём заключается защита.

Если же вы идёте дальше и вырабатываете формулу, к исполнению которой вы хотите принуждать насильно, то, как эта формула ни будь справедлива, будь она формулой равной свободы или какой-либо другой формулой, но я должен подчеркнуть, что ваш поступок совершенно подобен поведению тех многочисленных людей в прошлом и настоящем, которые принуждали и принуждают других сообразовать своё поведение с теми формулами, которые они считают нравственными и столь же непогрешимыми, как вы считаете теперь формулу равной свободы.

5. «Не обирайте чужих карманов, чтобы не принуждать других платить за защиту, в которой они не нуждаются», – это звучит хорошо, пока мы не ставим дальнейших вопросов. И, быть может, было бы лучше не идти дальше.

Но если это мы всё-таки пойдём дальше и спросим, что такое защита и что такое нападение, как предпосылка защиты, – то единственный ответ, который мы можем услышать от вас, заключается в том, что нападение есть нарушение равной свободы.

Но если определение может лишь указать, нарушает ли данный поступок равную свободу или нет, то его следует считать совершенно бессодержательным.

6. Предположим, что в государстве свободы мистер Иеррос. Вы её перепечатаваете без его разрешения. Он тогда организует общество для

подавления литературного воровства и заключает вас в тюрьму. Ваши друзья организуются в свою очередь, и завязывается борьба.

Вы, без сомнения, скажете, что при таких обстоятельствах вы не одобрили бы насилия, совершённого каждой стороной, но позвольте вас ещё раз спросить, – почему?

7. Вдумайтесь внимательнее в свои собственные принципы, и вы увидите, что признание равной свободы покоится на признании договора, как момента, заменяющего насилие. Хотя мы и можем считать разумным сделаться людоедом среди людоедов, хотя мы и можем, будучи вынуждены к этому, унизиться до применения насилия, но признаем, по крайней мере, что такой порядок вещей, когда каждый будет поступать так, как ему нравится, может наступить лишь в том случае, если все прекратят насилие и обратятся только к разуму. Признаем, по крайней мере, что мы должны всецело отвергнуть насилие, как принцип нашего поведения. И если мы когда-нибудь увидим себя вынужденными совершить насилие, то пусть мы будем совершать его из чувства протеста, но не по принципу.

Джон Беверли Робинсон

1. Главное различие между пассивным сопротивлением и непротивлением заключается в том, что пассивное сопротивление рассматривается его сторонниками, как простой вопрос тактики, тогда как непротивление защищается его адептами, как принцип, как всеобщее правило. Приверженцы пассивного сопротивления полагают, что большей частью последнее является более действительным средством, чем сопротивление активное, но не забывают того, что в некоторых случаях справедливо обратное; приверженцы же непротивления либо считают безнравственным

сопротивляться активно, либо же думают, что поступать таким образом *всегда* неразумно.

На второй вопрос мистера Робинсона я отвечаю, что насилие, как и всякая иная тактика, разумно, когда оно ведёт к желаемой цели, и неразумно, когда оно не ведёт к ней.

2. Учение об Анархизме построено философски, но Анархизм не философская система. Он просто основное начало науки об общественной и политической жизни. Адептов правительства не так легко убедить, как это думает мистер Робинсон. И это очень хорошо. Те соображения, которые он приводит, могут убедить их, что правительство не существует для того, чтобы подавлять грабежи; но не убедят их в том, что упразднение государства предотвратит необходимость насильственного обуздания тех более простых видов властвования, одним из которых является и обыкновенный грабёж. Ибо даже если бы мы привели их к признанию того, что исчезновение грабительского государства должно вызвать и окончательное исчезновение всех других грабежей, то они ведь прекрасно знают, что, как бы результаты ни были несомненны, но они лишь редко наступают немедленно и что, принимая во внимание конечную задачу, придётся столкнуться с серьёзными трудностями.
3. Если мистер Робинсон всё ещё продолжает утверждать, что чинить насилие над теми, кто нападает, всё равно, что чинить насилие над тем, кто нас не трогает, то я могу лишь скромно намекнуть ему ещё раз, что у меня более верный глаз для определения угла, чем у него.
4. Моё определение нападения далеко не бессодержательно. До тех пор, пока почти все люди не согласятся между собой в оценке громадного большинства своих поступков, как согласных или противоречащих равной свободе, до тех пор, пока всё большее число людей не распространит этой общей своей оценки на более широкую область своего по-

ведения, – до этих пор определение нападения, далёкое от того, чтобы быть бессодержательным, останется важным фактором политического прогресса.

5. Мы не видим никакой повелительной и крайней необходимости немедленно разрешать вопрос об авторском праве и думаем, что доводы разума предпочтительнее доводов насилия во всех сомнительных случаях, когда мы ещё имеем возможность ждать.

6. Судя по последним словам мистера Робинсона, можно думать, что и он допускает, что в некоторых случаях мы можем прибегнуть к насилию. В таком случае пришёл мой черёд спросить его, – почему? Если он признаёт применение насилия в одном случае, то почему не признаёт его во всех случаях? Я могу сказать, почему я этого не признаю, но не с точки зрения мистера Робинсона. Что касается меня, то я не придаю никакого значения тому, действует ли мистер Робинсон из чувства протеста или по принципу, когда он находит для себя возможным применять насилие. Вопрос, главным образом, сводится к следующему. Считает ли он разумным применять в некоторых обстоятельствах насилие, или же он настолько практически «непротивленец», что не спас бы своего ребёнка от неминуемо грозящего ему убийства, если бы для этого ему пришлось разбить голову убийце?

Мистер Пентекост, как пособник правительства

(Liberty 14 ноября 1891 г.)

Из того, что я заявляю и учу, что Анархизм оправдывает применение силы к нападающим людям и осуждает её применение в том случае, когда она обращена против не агрессивного человека, – из этого мистер Пентекост заключает, что всё

различие между Анархизмом с одной стороны, и монархизмом или республиканством с другой, – сводится к различию между обычным пониманием нападения и моим собственным. Если бы я утверждал, что биология есть наука, имеющая дело с явлениями живой материи и не охватывающая всех явлений материи мёртвой, а мистер Пентекост, исходя из этого, сказал бы, что всё различие между науками биологическими и не биологическими сводится к различию между обычным пониманием жизни и моим собственным, то он стал бы в этом вопросе в такое же положение, какое он принял относительно Анархизма, и оба эти положения были бы во всех отношениях одинаково умны или глупы. Граница между нападением и ненападением, подобно границе между жизнью и нежизнью, не может быть, по крайней мере при наших современных знаниях, проведена сколько-нибудь отчётливо и прочно. Но разве из этого следует, что нападение и ненападение, жизнь и нежизнь тождественны между собой? Отнюдь нет. Неопределённый характер этой границы указывает только на то, что некоторая часть явлений общественной жизни, подобно небольшой части явлений материи, ещё не поддаётся разграничению по тем отличительным признакам, которыми характеризуется другая, гораздо большая часть этих явлений, и на основании которых последние и были классифицированы. И как в действительности ни трудно пограничным явлениям быстро разместиться по обе стороны границы, следуя этим отличительным признакам, но ещё затруднительнее теоретически выработать какую-нибудь рациональную точку зрения на общество или жизнь, не принимая во внимание этих признаков, на основании которых общие различия только и были установлены. Некоторые из самых явных различий никогда не были резко приводимы.

Если мистер Пентекост рассмотрит поднятый нами вопрос при свете только что изложенного и будет исходить из приведённых мной соображений, то он тотчас же увидит, что моё понимание или непонимание того, в чём состоит нападение не может оказывать никакого влияния на научное различение *анархизма*, безвластия и *архизма*, власти. Я могу тяжело заблуждаться,

приписывая захватный или не захватный характер данному социальному явлению, и если я буду действовать исходя из своего заблуждения, я буду поступать архистически. Но уже самый факт, что я действую не слепо и наудачу, а стараясь сообразоваться с обобщением, являющимся продуктом долгого опыта и накопленных данных, бесконечно усилит вероятность того, что я сознаю своё заблуждение. В своих попытках провести с большей отчётливостью разграничительную линию между нападением и ненападением всем нам, и мне в том числе, суждено сделать много ошибок. Но, делая их, мы будем приближаться к своей цели. Мистер Пентекост и все следующие за ним только ставят себя в стороне от столбовой дороги прогресса, когда полагают, что возможно жить гармонии, просто игнорируя факт социального трения и его причины. Принцип отсутствия всякой власти, который разделяет мистер Пентекост, вылился бы на практике в подчинение власти агрессивного индивида. Лозунг «никакой власти», в смысле абсолютного неприменения никакой силы, страдает внутренним противоречием. Человек, который старается проводить его в жизни, становится пособником правительства, ибо он отвергает сопротивление ему. До тех пор, пока мистер Пентекост готов на себя и на меня необузданного и подкованного шипами коня преступности, его «предпочтение не быть совершенно управляемым» представляет собой лишь утопию и блаженное самоуслаждение несомненным вздором.

Философ голых принципов

(*Liberty* 8 июня 1889 г.)

В Бостоне имеется женское общество, находящееся в постоянных сношениях с массачусетским отделом Национальной Ассоциации завоевания избирательного права для женщин и называющее себя Бостонским Политическим Обществом. Оно ставит себе целью подготовку своих членов к разумному пользованию избирательным правом. В четверг вечером 30 мая доктор В. Т. Гаррис держал перед обществом речь о государственном

социализме, анархизме и свободной конкуренции. Позволю себе, мимоходом, указать этим дамам, что если они действительно желали научиться тому, как нужно пользоваться избирательным правом, то им следовало обратиться за сведениями не к доктору Гаррису, а к бывшему инспектору Симменсу, или к Джонни О'Брайену в Нью-Йорке, или к сенатору Мэтью-Кею, или к одному из тех «хозяев», которые господствуют и над городом и над нацией. Ведь главная цель избирательного права заключается в том, чтобы найти истину посредством подсчёта голосов и опровергнуть своих противников, показав им, что они менее многочисленны, чем ваши друзья. Те же люди, которых я вам рекомендую, доказали на практике, что они великие мастера в искусстве «делать» большинство на выборах; и они могут научить членов Бостонского Политического Общества одной или двум плутням, посредством которых и последние могли бы достичь численного превосходства. Доктор же Гаррис может в лучшем случае только расширить умственный кругозор ваших сочленов и этим ещё безнадежнее оставить вас положении меньшинства, которое должно быть побеждено в борьбе, где вместо мозгов решают победу голоса. Но оставим это. Я имею теперь дело не с этими великолепными дамами, а с превосходной речью доктора Гарриса, ибо речь эта в самом деле превосходна, несмотря на то, что направлена отчасти и против Анархизма. В действительности же она совсем не нападает на него, а представляет собой почти от начала до конца утверждение Анархизма, по крайней мере, поскольку касается его принципов, и отступает от него лишь в двух или трёх неудачных попытках иллюстрировать эти принципы примерами, взятыми из жизни существующего общества.

Установить, что целью общества является создание и разумной личности в её наивысшей форме или, иными словами, наиболее совершенной индивидуальности, лектор посвятил первую часть своей лекции анализу государственного социализма с этой точки зрения. Ему совсем не трудно было показать, что принижение духа предприимчивости государством есть, в сущности, шаг назад, — очень большой шаг назад к

тому коммунизму, который был для первобытного человека единственно возможной формой общества, и который достигает материального равенства ценой уничтожения свободы. Разве не из стадии этого коммунизма человечество начало своё прогрессивное шествие, совершая в течении тысячелетий эволюцию, направленную к развитию индивидуальности? Разве не этот коммунизм подчиняет индивидуальные права на жизнь и собственность промышленной тирании, и этим делает необходимой центральную политическую тиранию, чтобы хоть отчасти обеспечить право на жизнь и сделать возможным хоть некоторое подобие прочного социального существования? Лектор выставил тезис, что гражданское общество обуславливается свободой производства, распределения и потребления, и что эта свобода совершенно несовместима с государственным социализмом, который в своём конечном развитии стремится заменить экономический закон неограниченным надзором произвольной власти за всеми хозяйственными функциями. Поэтому доктор Гаррис, высоко ценя гражданское общество, не испытывает никакой нужды в государственном социализме. Но её не испытывают и анархисты. Значит, в этих пределах, анархисты и этот наставник Бостонского политического общества могут идти рука об руку.

Впрочем, доктор Гаррис обольщает меня надеждою, что как раз в этом пункте он с нами расходится. Мы увидим, следуя дальше за его аргументацией, насколько он в этом прав. Философия общества, продолжает он, охватывает собой четыре рода учреждений: семью, гражданское общество, государство и церковь. Затем он приступает к определению каждого из этих учреждений. Целью семьи, заявляет он, является охрана размножения индивидов и приготовление из них, посредством руководства ими в годы детства, разумных существ. Цель гражданского общества заключается в предоставлении каждому индивиду возможности извлекать выгоду из сил всех других индивидов с помощью разделения труда, свободного обмена и других экономических средств. Цель государства состоит в защите каждого индивида от нападения и обеспечения ему его свободы до тех пор, пока он соблюдает равную свободу

других. Наконец, целью церкви (употребляя это слово в самом широком смысле и не относя его исключительно к различным религиозным обществам) является поощрение миропознания, совершенствование науки, литературы, изящных искусств и всех тех высших знаний, которые делают жизнь достойной того, чтобы её прожить, и способствует возвышению и совершенствованию сознательной, разумной личности или индивидуальности. Каждая из этих целей с точки зрения лектора необходима для существования общества, достойного этого имени, а забвение какой-либо из них для него пагубно. Государственный социалисты, замечает он вполне резонно, разрушили бы всякий общественный строй, упразднив гражданское общество, анархисты же, замечает он уже совершенно ошибочно, также разрушили бы его, упразднив государство. Вот именно в этом и заключается оплошность мистера Гарриса, что он повторяет самую распространённую из всех ошибок критиков: он трактует идеи других, не исходя из их собственных определений, а с точки зрения своих собственных определений. Доктор Гаррис слышал, что анархисты хотят упразднить государство; и вот он делает логический скачок и заключает, будто бы они хотят упразднить то, что он считает государством. И это он говорит после того, как сам присутствовал недавно (мне это доподлинно известно) при чтении одним анархистом доклада, из которого можно ясно видеть, что анархисты ничего не имеют против учреждения, ограничивающегося принуждением к исполнению закона равной свободы, что они выступают против государства лишь с того момента, как оно определяется как учреждение, требующее власти над неагрессивными индивидами и проявляющее эту власть посредством физической силы или средств, действительных только потому, что они могут быть и будут подкреплены в случае необходимости физической силой. Далёкие от того, чтобы пренебрегать государством, *как его определяет доктор Гаррис*, анархисты открыто будут поддерживать такое учреждение, как ни называйте его, но только до тех пор, пока оно сохраняет свой *raison d'être*. Несомненно, доктор Гаррис

не будет требовать его сохранения после того, как оно станет излишним.

Таким образом, разве анархисты не согласны с доктором Гаррисом во всех существенных пунктах? Мне это согласие представляется не подлежащим сомнению. Я не знаю ни одного анархиста, который отверг бы правильность нарисованной им социальной картины.

Определяя цель семьи так, как её определяет доктор Гаррис, анархисты этим самым признают семью. Они только настаивают на необходимости свободного соперничества и опыта для того, чтобы могла выясниться та *форма* семьи, которая наилучшим образом обеспечивает достижение этой цели.

Соглашаясь с доктором Гаррисом в определении цели гражданского общества, анархисты тем самым признают и гражданское общество. Они только настаивают на том, чтобы свобода гражданского общества была полной, а не частичной.

Определяя цель государства так, как её определяет доктор Гаррис, анархисты тем самым признают и государство. Они только настаивают на том, что большая часть, если не все соображения, говорящие в пользу его необходимости, составляют результат искусственного ограничения свободы гражданского общества и что, поэтому, завершение развития промышленной свободы может в будущем привести индивидов к такой гармонии, что уже не будет необходимости заботиться о гарантиях политической свободы.

Наконец, соглашаясь с доктором Гаррисом в определении цели церкви, анархисты тем самым в высокой степени признают и церковь. Они только настаивают на том, чтобы вся её работа была исключительно добровольной и чтобы её откровения и истины, как бы ни были они благодетельны, не навязывались индивиду властью.

Но есть, к несчастью, один пункт, в котором анархисты действительно расходятся с доктором Гаррисом. Мы подходим к нему, как только он заявляет, или предполагает, или даёт возможность предположить, будто современная форма семьи есть именно та форма, которая наилучшим образом обеспе-

чивает цели семьи, будто не может быть терпима никакая попытка к её изменению, хотя каждый день даёт всё больше очевидных свидетельств тех ужасов, которые порождает современная семейная жизнь. Мы подходим к нему и тогда, когда он утверждает, что современная форма гражданского общества представляет собою осуществление полной экономической свободы; хотя неоспоримо, что остальные важные свободы, те, без которых все остальные свободы не имеют вовсе никакой или имеют самую ничтожную ценность, – а именно, свобода организации банков и свобода завладения незанятой землёй, – не существуют нигде в цивилизованном мире. Мы расходимся с доктором Гаррисом и в его предположении, будто существующее государство ограничивается в своей деятельности только принуждением к соблюдению закона равной свободы, хотя оно бесспорно опирается на принудительное взимание налогов, что само по себе есть отрицание равной свободы; хотя оно неустанно накапливает увесистые тома законов, подавляющая часть которых либо мелочно и придирчиво вторгается в частную жизнь, либо издана в интересах привилегий и монополий. Наконец, мы не можем согласиться с доктором Гаррисом в том, будто существующая церковь ведёт своё дело в полном согласии с принципом свободной конкуренции, ибо ведь несомненный факт, что в различных сферах религии, литературы, науки, искусств она наделена и бесчисленными льготами, привилегиями, прерогативами и иммунитетами, широтою и исключительностью которых она всё ещё не удовлетворена.

Все эти положения доктора Гарриса показывают, что он человек теории, а не практики. Он знает лишь голые принципы. Если, поэтому, государственный социалист предлагает облечь в плоть и кровь принцип, враждебный его принципу, он быстро распознает его и уничтожает метко направленными аргументами. Но этот же самый враждебный принцип, уже воплотившийся в жизни в определённые формы, для него нераспознаваем. Как только этот принцип осуществляется, он ошибочно принимает его за свой собственный. Причём всё равно, какую бы форму он ни принял; является ли он банковской монополией,

или монополией земельной, или монополией почтовой, или системой народного образования, или принудительным налогом, или отдачей неагрессивных индивидов на расстрел врагу, – доктор Гаррис спешит предложить ему свою руку, потрясая в то же время другой рукой знамя свободной конкуренции. Эта слепота по отношению к враждебному принципу, облечённому в телесные одежды, делает его органически неспособным бороться с существующим порядком вещей. Он, поэтому, совсем не компетентный наставник и может затемнить мысль честолюбивых дам, принадлежащих Бостонскому политическому обществу.

Сомнения анархиста

(*Liberty* 25 января 1890 г.)

Сэр:

Эта проклятая шарманка, играющая у моего окна, чуть не сводит меня с ума (я хочу сказать, что она приводит меня в более невменяемое состояние, чем то, в котором я находился раньше). Что мне делать? Я не могу попросить государство в лице того джентльмена, который стоит на углу в своём синем мундире, прогнать шарманщика. Ведь я уже всех поставил в известность, что я намереваюсь прогнать самого этого одетого в синее джентльмена; иными словами, я уже известил государство, что я его покидаю. Вежливо просить шарманщика перенести свою музыку куда-нибудь в другое место? Я пробовал и это, но он только показывает мне язык. Должен ли я ринуться в бешенстве из своей квартиры и разбить ему голову? Но, во-первых, такое моё поведение можно рассматривать, как нападение на его личную свободу, а, во-вторых, он может сам разбить мне голову; а последнее будет гораздо хуже первого. Должен ли я сам устранился с его пути? Но без больших затруднений я не могу взять с собой

свой дом или даже свою библиотеку. Я придумал другой план действий. Я взял свой кларнет и, став рядом с шарманщиком, пустил несколько таких нот, от которых, кажется, должны были перевернуться все внутренности цербера. Но единственным результатом этого была вежливая просьба моего соседа (которого я уважаю) прекратить моё соло, так как оно мешает слушать приятные и мелодичные звуки шарманки. Ну а умалять счастье уважаемого соседа по околотку я ни за что не решусь. Что же мне делать? Я надел шляпу и пошёл бродить по улицам с тяжёлым сознанием всех трудностей, связанных с моим индивидуалистическим учением. Первое лицо, которое я встретил, был нищий, подошедший ко мне и показавший свой белый язык, покрытый зловонными язвами, насколько это была не симуляция – не знаю. Меня чуть не стошнило, и я подумал: неужели, в самом деле, можно позволить людям ходить по улицам и выставлять напоказ с целью наживы отвратительные вещи? Я не дал нищему пенни, которого он ждал, а кратко, очень кратко выразил надежду, что некое бесконечное существо уготовит ему вечные муки, и пошёл дальше. Я шёл из улицы в улицу, и все они были застроены домами, окрашенными в различные оттенки желтовато-коричневого цвета, на которые наложил отпечаток лондонский туман. Все они были настолько похожи один на другой, что хотелось видеть их или совершенно одинаковыми, или совершенно различными. И я спрашивал себя, неужели нельзя ничего сделать для того, чтобы принудить всех собственников этих домов выкрасить их в одно и то же время в один и тот же цвет. Я дошёл, наконец, до площади, через которую нельзя было пройти: огромная толпа слушала оратора, который кричал, стоя на опрокинутой бочке. Он объяснял ей, что много лет назад Иисус умер для спасения

таких грешников, как мы, и что, самое лучшее, что мы можем сделать, – это отнять у трактирщиков без вознаграждения их патенты. Я осмелился заметить, что хотя всё то, о чём он говорит, быть может, и совершенно верно, но я желал бы пройтись за город по обычной дороге, между тем толпа, собравшаяся его послушать, мешает мне в этом. Он ответил мне, что разделяет мою горькую участь; но его слова, казалось, имели такое магическое действие на слушателей, что когда мне пришлось в конце проложить себе дорогу через густую толпу, моя шляпа невольно пострадала. Я облегчённо вздохнул только тогда, когда дошёл, наконец, до поля, сел у ручья и стал наблюдать за детьми, собиравшими чернику. К моему изумлению, ягоды были ещё розоваты и далеко не зрелы.

– Отчего вы не ждёте, пока они созреют, – спросил я детей.

Но дети мне ответили ничуть не смущаясь:

– Эх, дядя, если мы будем ждать, от ягод ничего не останется.

– Позвольте, – сказал я им, – но если вы *все* согласитесь ждать, то их можно и сохранить.

– О, да – ответила маленькая девочка, снисходительно улыбаясь моей простоте, – но другие всё равно придут и оберут их *до того*, как они созреют.

Я совершенно не знаю тех, кого девочка имела ввиду под словом «другие»; но мне ясно, что нужно было предпринять какие-то меры и положить конец их нелепой поспешности и разрушительному соперничеству. Ведь в результате нынешней системы именно и получается то, что никто не может достать спелой черники. Я поделился своими мыслями со старым джентльменом, удившим в речёнке рыбу.

– Вот именно – ответил он мне – то же самое и с рыбой. Сейчас как раз время для сёмги и другой

рыбы. Но эти негодяи постоянно портят всё дело, вылавливая мелкую, не выросшую ещё рыбёшку, вместо того, чтобы ждать, пока она будет на что-нибудь годна. Они, вероятно, думают, что им не удастся поймать её вновь, и потому предпочитают иметь синицу в руках, чем ждать журавля в небе.

Я отдал справедливость силе и красоте его образного сравнения и продолжал свою прогулку.

Так как я начал чувствовать голод, то направил свои стопы в ближайшую деревню, где, по моим сведениям, была гостиница. На расстоянии нескольких сот ярдов от неё я заметил группу парней, которые раздевались на берегу с явным намерением купаться в речке. Меня поразило, что они это делали довольно близко от дороги. Тем не менее я счёл своим долгом воспротивиться вмешательству полицейского, который не замедлил явиться и довольно грубо приказать парням выйти из воды.

– Мне кажется, – сказал я ему – что свободные граждане имеют право купаться в свободной реке.

Но блюститель закона и порядка уставился на меня своими выпученными глазами и, не соблаговолив даже раскрыть рта, указал пальцем на чёрную доску, висевшую на столбе немного в стороне от дороги. Я понял его жест и пошёл дальше. Придя в гостиницу, я заказал себе котлеты с картофелем и пинту горького пива, и с удивлением увидел, что некоторым посетителям были поданы заказанные ими блюда раньше меня, хотя они и пришли позже. Вскоре я заметил, что один из них даёт лакею взятку.

– Извините меня, сэр, – сказал я ему, – но это несправедливо. Вы подкупаете этого человека для того, чтобы он отнёсся к вам более внимательно, чем к другим. Вы, вероятно, даёте также взятки и железнодорожным носильщикам, а, быть может, и таможенным чиновникам?

– Конечно, даю – ответил он и затем продолжал – а вам какое дело? Не вмешивайтесь, пожалуйста, в чужие дела.

Я, видно, очень не понравился этому господину, также как и другим посетителям. Один из них жевал табак и постоянно сплёвывал его на пол. Другой ходил взад и вперёд по комнате в скрипящих сапогах, поднося каждую минуту к носу щепотку табаку. Третий прожорливо уплетал кусок мяса, выплёвывая в ладонь огрызки хрящей и лишь затем кладя их на тарелку. После каждого глотка портера он не без чувства собственного достоинства давал волю своим газам и завёл такую канонаду, которая, наверно, воскресила бы Лазаря. Наконец, мне подали заказанные мной порции. Я готов был уже себя поздравить с тем, что, благодаря задержке, я избавился от необходимости завтракать в компании этого Эола, который тем временем принялся за зубочистку, как, к моему ужасу, он достал чёрную глиняную трубку и стал набивать её крепчайшей махоркой.

– В гостинице, я думаю, есть курительная комната, – обратился я к нему с умоляющим видом, – иначе я бы попросил бы вас разрешить мне окончить свою котлетку до того, как вы закурите свою трубку. Не думаете ли вы, что табак отбивает аппетит?

Я, кажется, говорил очень вежливо, но получил такой ответ:

– Какой вы важный барин! Если вы настолько избалованы, что мой табак для вас недостаточно хорош, вам бы следовало отправиться в ресторан Звезды и Подвязки.

И, ожидая моего ответа с пренебрежительным и вызывающим выражением лица, он подкреплял свои аргументы отчаянным кашлем мне прямо в лицо, не заботясь даже прикрыть рукой рот. Я не очень брезглив, но не могу есть того, над чем кто-нибудь

кашлял. К довершению всего, мой завтрак исчез: его украли. Я искал кругом сочувствия своему горю, но настроение всей компании было явно против меня. Господин в скрипящих сапогах смеялся; а затем, подойдя к столу, положил на него свою руку, как это делают обыкновенно ораторы. Некоторое время он не произносил ни слова, очевидно, приводя в порядок свои мысли, и я тем временем успел его внимательно рассмотреть. Ногти, обведённые глубоким чёрным трауром, одежда, пропитанная табаком и потом, изо рта несёт луком и пивом; но на широком и красном лице выражение честности и независимости. Всякий мог в нём с первого же взгляда узнать крепко сколоченного британского фермера. После полу-минутного раздумья, мысли его, наконец, вылились в следующие слова.

– Я вам скажу, в чём здесь дело, сэр. Я не знаю, кто вы, но здесь свободная страна, а нынче базарный день, – вот и всё.

Я не мог опровергнуть ни одного из этих доводов, а так как последние, казалось, вполне отвечали настроению всего общества, то я очутился в затруднительном положении.

– Друг мой, – решил я, наконец, сказать, – я не оспариваю ваших прав, но только прошу о небольшом внимании к чувствам других.

– Люди не должны иметь чувств, которые не являются обычными и уместными, – ответил он мне; – если же они их имеют, то они должны отправляться туда, где их чувства обычны и уместны, – вот и всё.

Ответ этот мне показался не лишённым философской силы; та же самая мысль давно смутно рисовалась в моём уме. Но помимо всего, разве я не индивидуалист?

– Вы правы, друг мой, – сказал я, – и потому позвольте пожелать вам доброго утра и отправиться куда-нибудь в другое место.

– Прощайте. – ответил фермер, протягивая мне руку.

– Поздравляю вас с освобождением – прибавил господин, возившийся с зубочисткой.

Когда я выскочил из гостиницы, нисколько, однако не упав духом, по дороге мчалась кошка, преследуемая собакой, которую в свою очередь науськивали два краснощёких мальчика.

– Прекратите эту игру, – вскричал я, – что вам сделала бедная кошечка?

Мальчишки остановились, но по весёлым огонькам их глазёнок я ясно видел, что они намереваются сейчас же начать вновь свой спорт, как только старый дядя им перестанет мешать. Инцидент этот не был оставлен без внимания бледным человеком в длинном чёрном пальто и с прекрасным лицом.

– Ваше вмешательство совершенно бесполезно, – сказал он, – в природе собак – гнаться за кошками, также как в природе мальчишек – науськивать собак. Мы все родились в грехе, а дети в гневе. Во мне была заложена любовь к охоте на кошек ещё до того, как я родился. Вы должны воспитывать, сэр, воспитывать раньше, чем сумеете приняться за реформы. Запомните мои слова, сэр: департамент народного просвещения есть ступень к небесам идеала.

– Департамент народного просвещения! – воскликнул я, – надеюсь, вы не хотите этим сказать, что одобряете государственное воспитание. Осмелюсь вас спросить, неужели вы одобряете и государственную религию, и государственную церковь?

Мне казалось, что этим вопросом я поставлю своего собеседника в тупик, но я обманулся в своих ожиданиях.

– Это две совершенно различные вещи, – ответил пастор-диссидент (да, нельзя больше сомневаться в том, кто был мой собеседник), – господствующая церковь – это ядовитое дерево, отравляющее весь лес и посаженное лживой аристократией. Департамент же народного просвещения основан народом.

– Раз дерево посажено, я не могу придавать большого значения тому, кто его посадил, – заявил я решительным тоном, – но, отвлекаясь от этой метафоры, центр вопроса заключается в том, должна ли одна часть населения диктовать другой, во что она должна верить, чему должна учиться, что должна делать. Причём я совершенно не касаюсь вопроса, является ли диктующая часть меньшинством или большинством, так как принцип и в том и в другом случае один и тот же – деспотизм.

Служитель бога оторопел.

– Как! – воскликнул он, – разве у нас не должно быть никаких законов? Разве каждый человек может делать то, что кажется ему правильным? Знаете ли вы, сэр, что вы проповедуете *анархию*?

Теперь наступил мой черёд сделать обходное движение.

– Анархия – это слишком сильно сказано, – сказал я, приводя в исполнение мой довольно вероломный план действий, – всё, что я хотел сказать, сводится к тому, что чем меньше государство вмешивается в отношения между людьми, тем лучше. Вы, конечно, согласитесь с этим?

Но по нахмуренным бровям и сжатым губам моего собеседника я видел, что с его губ готов сорваться ответ, который расстроит все мои лукавые намерения. И я был прав.

– Видите ли вы, – спросил он меня, тот дом, на крыше которого развеваются флаги, а над входом

скульптурную группу, изображающую мир, плоть и дьявола?

– Я вижу дом, – ответил я, – но, простите, мне кажется, что группа эта изображает трёх граций.

Пастор метнул на меня гневный взгляд. Он очень хорошо знал, что означают эти фигуры, но ведь и духовенство прибегает к юмору, правда, довольно мрачному.

– Это вход в ад, – продолжал он, – а там на углу зияет сам ад. Правда, его обыкновенно называют «Старым театром Варьете» или «Зелёным Грифом», но мы предпочитаем называть вещи их собственными именами.

– Ах, Господи! – сказал я, несколько смущённый серьёзностью тона, – неужели это действительно такие страшные места?

Мне чудился уже запах серы, и колени мои начали подгибаться. Но пастор продолжал свою речь, не обратив внимания на мои слова.

– Неужели мы должны смотреть, сложа руки, как невинные молодые девушки томятся в этом вертепе греха, слушают гнусные и непристойные песни, присутствуют при бесстыдных танцах полуобнажённых тел, встречаются с распутными мужчинами, и в заключение входят в разверзтую пасть этого «Зелёного Грифа», чтобы припасть к потоку, приводящему душу в иступление, умерщвляющему совесть, распяляющему страсти?

Здесь мой оратор остановился, чтобы перевести дух, и прибавил могильным шёпотом:

– И что из этого следует? Что следует?

Вопрос этот он повторял несколько раз и всё более низким голосом, не сводя в то же время глаз с меня, словно на моём лбу был написан ответ на него.

– Я скажу вам, что за этим следует, – заключил он, он наконец, к моему великому облегчению, – за этим следует судьба госпожи Флетчер.

В этом выводе было столько комичного, что я неожиданно для самого себя прыснул со смеху, который прозвучал в воздухе, как треск электрической искры. Я не мог удержаться от смеха, и мне было очень прискорбно, что я оказался таким грубым; но, чтобы избежать неловкого положения с обеих сторон, я пустился стрелой по улице, оставив своего собеседника в благочестивом ужасе. Очевидно, у обитателя деревни имя госпожи Флетчер издавна ассоциировалось с представлением о чём-то мрачном, подобно тому как противоположное выражение «благословенная Месопотамия» издавна соединяется с представлением о чём-то светлом.

Я находился в положении того сказочного счастливица, у которого «карман полон денег, а погреб – пива». Но погреб мой был на расстоянии девяти миль от меня, а деньгами моими я не мог воспользоваться ни для каких практических целей и намерений. Поблизости не имелось другой гостиницы. В «Зелёный Гриф» я не дерзнул пойти, а к «госпоже Флетчер» я не знал дороги. Я решил пойти назад в город.

– Нет ли здесь поблизости железнодорожной станции? – спросил я у лысого человека, снимавшего цветочные горшки с подоконника гостиницы.

– Железнодорожной станции? – повторил он с усмешкой, – нет, зачем здесь быть железнодорожной станции?

– А почему же нет? – спросил я.

– Вопрос ваш вполне понятен, – ответил мне лысый человек, – но если бы вы были знакомы с нашими местами, то знали бы, что половина всей земли, расположенной между городом и нашей деревней, принадлежит лорду Браунмиду. А он противится

биллю, внесённому железнодорожной компанией в парламент. Поэтому и лорды отвергли этот билль и отказали в концессии, и вот теперь и вы и я должны ходить пешком или тащиться по дороге, или, если нам угодно, летать на воздушном шаре. Удивляюсь ещё тому, что его сиятельство разрешили провести проезжую дорогу. Разве мы не могли бы проложить себе дорогу под землёй, как это делают кроты? Я думаю, что и такой дороги вполне достаточно для нас. А то захотели железнодорожную станцию, подумаешь!

В то же время, словно подчёркивая нелепость этого желания, с треском упал цветочный горшок.

– Вы знаете, – продолжал он в том же тоне горькой иронии – лорд Браунмид принадлежит к Лиге защиты свободы и собственности. Он утверждает, что никто не имеет права вмешиваться в его свободу делать со своей землёй всё, что угодно. Что же, он прав, совершенно прав. Шутка ли сказать, свобода и собственность!

Слова лысого человека били меня как молотом. Я всегда верил в свободу и намеревался присоединиться к ассоциации лорда Браунмида.

– Быть может, – спросил я, – здесь есть трамвай или какие-либо другие способы быстрого передвижения, так что железная дорога и не является делом крайней необходимости?

– Быть может, есть, – злорадно повторил мои слова мой собеседник, – но здесь нет трамвая, разве вы этого не видите? Вы можете, впрочем, сесть на него там, где вы его найдёте. Если же вы предпочитаете ходить пешком или платить за кабриолет, то я, конечно, ничего против не имею. Я разрешаю вам это вполне, так же, как и лорд Браунмид. Только помните, не сворачивайте на кратчайший путь, на дорогу для верховой езды: она огорожена. По ней, видите ли, нет

прав проезда. Она частная, совершенно частная. Не забывают этого!

– Я не желал быть для моего раздражительного собеседника объектом насмешек и поэтому просто спросил его, почему здесь нет трамвая.

– Почему? – вскричал он с такой силой, что я стал опасаться, как бы он не перешёл к кулачным аргументам – да потому что лорд Браунмид и господа, разъезжающие в колясках, говорят, что и трамвай портит дорогу, и колёса их экипажей. Вот почему. Вам это кажется недостаточным основанием? Мы, низших десять тысяч, должны ходить пешком для того, чтобы верхним десяти не пришлось платить каретникам за лишний слой краски. Разумно это, а?

– Я не знаю, насколько это разумно, мой дорогой сэръ, – возразил я, – но ведь вы знаете, что мы имеем право пользоваться общественной дорогой в тех целях, для которых она была с самого начала предназначена. Они ничего против этого не смогут возразить. Мне кажется также, что трамвай монополизирует в пользу одного класса (согласен с вами, класса очень широкого) большую часть общественных прав на проезд, чем это следует. Обыкновенная езда им очень сильно затруднена, а рельсы, несомненно, причиняют ущерб и неприятности лицам, которые никогда не пользуются общественными экипажами. Трамваи, может быть, и удобны, но они, несомненно, несправедливы.

Я думал, что моё возражение вызовет у моего собеседника поток слов, по меньшей мере, ещё на четверть часа, но кто может читать чужие мысли? Он не произнёс больше ни слова. Вероятно, моё последнее замечание убедило его в том, что я или тори, или аристократ, или один из тех господ, что разъезжают в экипажах, следовательно, не достоин даже презрения и недоступен логике. После неко-

тогого неловкого молчания, я решился сказать «ну, благодарю вас, прощайте». Но даже и это обращение не вызвало никакого ответа, и я медленно отошёл от окна, чувствуя себя немного обиженным.

Но тотчас же я узнал, что между «Зелёным Грифом» и «Королевским Дубом» в Лондон идут через каждые два часа кареты, – факт, который мой лысый собеседник злонамеренно, как мне казалось, скрыл от меня. Линия эта, как мне говорил официант из «Зелёного Грифа», была устроена самим лордом Браунмидом и поддерживалась им со значительными убытками для себя, исключительно ради своих арендаторов и более бедных людей, а как некоторые думали, и для того, чтобы загладить своё противление трамваю.

– Иногда, – прибавил приказчик, – правит сам его сиятельство, и тогда, о, тогда!..

И по той энергии, с которой он произнёс последние слова, я ясно видел, что удовольствие этого малого в таких случаях проистекало от более осязательных вещей, чем простая симпатия к высокому гостю, который занимал место на козлах рядом с очастливленным кучером. И согласно своей догадке, я без всяких околичностей сунул ему в руку пол-кроны. Он не высказал по этому поводу ни малейшего удивления. Но когда карета готова была уже двинуться в путь, я сразу сделался предметом нежных забот полчища конюхов, грумов и всяких приспешников, которые буквально подняли меня и усадили в коляску и высказали вообще самое трогательное беспокойство о моих удобствах и безопасности. Без всяких усилий с моей стороны колени мои были окутаны в одеяло, и фартук коляски плотно застёгнут, чтобы предохранить меня от холода и сырости. Когда же стоявшие впереди поправили постромки, а лорд Браунмид щёлкнул кнутом, на меня уставилась дюжина

глаз, в то время как их владельцы пили за моё здоровье, очевидно, то, что каждому нравилось, но что мне казалось более всего похожим на пиво. Когда мы неслись по улице, мой лысый собеседник бросил угрожающий взгляд на карету и сидящих в ней, а лицо его, когда наши взгляды встретились, приняло такое выражение, словно он хотел сказать «я так и думал». Но вскоре я забыл о нём. Меня захватила мысль о следующем любопытном обстоятельстве: почему во власти кучки пьяниц и конюхов должна быть возможность продавать за пол-кроны общество дворянина? Однако, это было несомненно так. И разве не столь же странно, что эти самые пьяницы вместе с миллионами подобных должны иметь право продавать тому, кто даст дороже, каждую шестьсот семидесятую часть королевской прерогативы? Ведь божественное право королей остаётся тем, чем оно было всегда, – правом сильного попирать ногами слабого, абсолютным деспотизмом *наличного* большинства. Только в настоящее время оно не сосредоточено всецело в руках одной личности, а разделено на шестьсот семьдесят мелких кусочков и продаётся по частям тому, кто даст дороже, синдикатом из пяти миллионов пьяниц и им подобных существ.

Такова наша новая демократия, – думал я, и в моей голове, быть может, сложился бы целый очерк по этому вопросу, если бы какое-то ворчанье, внезапно раздавшееся с козел, не разогнало всех моих мыслей.

– Извините пожалуйста, – сказал я, – но я не понял хорошо того, что вы хотели сказать.

– Славная птица. – повторил его сиятельство погромче, указывая пальцем на отдалённый лесок, – Завтра начало, славное будет дело. – продолжал он.

– Начало чего? – спросил я, несколько, устыдившись своей бестолковости.

– Ведь завтра октябрь, – ответил он, – разве вы забыли?

– Ах да, конечно; первое октября – начало охоты на фазанов. Я знаю. – сказал я, как только догадался о смысле его слов.

– Ну, а этот сезон был хорош, сэр? – продолжал он спрашивать меня.

– Хорош, то есть как? Какой сезон? Я вас совершенно не понимаю. – недоумевал я.

– Глухари, глухари – объяснял лорд Браунмид, – тетерева, сэр, тетерева. Разве вы не. . .

– А, знаю, – поспешил я ответить – Вы, вероятно, хотите спросить, сколько я набил в этом сезоне тетеревей? Ничего не набил. Я не был в этом году в Шотландии. Кроме того, я близорук и совсем не охочусь.

Человек, который не охотится, вряд ли достоин того, чтобы с ним вели разговор, и потому после моих слов воцарилось продолжительное молчание. В конце концов, наш Йеху сжалился надо мной:

– Должно быть, вы были заняты рыбной ловлей. Вероятно, не можете охотиться круглый год?

Я ответил, что совершенно не рыбаю и не имею ни лошадей, ни средств для охоты. Эти мои слова вызвали самый живой интерес ко мне. После полуминутного многозначительного покашливания лорд Браунмид с живостью и серьёзностью, какой он ещё не проявлял, обратился ко мне со следующим вопросом, произнесённым более громким голосом, чем раньше:

– Куда же вы, чёрт возьми, деваете своё время?

Я объяснил, что не встретил бы затруднений убить и вдвое большее количество времени, если бы только им располагал.

– Из двадцати четырёх часов, – сказал я, – которые, обыкновенно, составляют день, семь часов я

сплю, семь работаю, около двух часов уходит на еду и только восемь часов остаётся таким образом на развлечения.

– А что вы подразумеваете под развлечением, сэр? Ведь это, чёрт возьми, и есть развлечение.

– Иногда я хожу в театр, – ответил я, иногда на концерт; иной вечер я провожу с друзьями или каким-либо иным образом.

– На балы, что ли, ходите?

– Нет, я не люблю танцев, – заметил я.

– А, тем лучше! – воскликнул он. – Вы знаете, мы, высшие десять, не танцуем. Я ни разу в своей жизни не был на танцевальном вечере.

– В последний вечер, – продолжал я, – я отправился в Земледельческий зал послушать мистера Гладстона.

– Что! – вскричал он, – мистера... Будьте столь любезны, не упоминайте больше этого имени в моём присутствии, сэр. Он бездельник, сэр, настоящий бездельник.

Почва подо мной, очевидно, ускользала и, чтобы переменить предмет разговора, я сказал:

– Славная здесь местность, милорд.

– Будь она проклята, эта славная местность! – вот что я услышал в ответ, – это уже не та местность с тех пор, как вышел этот ужасный билль.

– В самом деле, – изумился я, – какой же это билль?

Лорд Браунмид бросил на взгляд, полный невыразимого презрения.

– О каком билле вы думаете, сэр? Что вы, иностранец, что ли? Я бы всю жизнь кормил этого молодца зайцами и кроликами. – сердился он.

– Разве билль о зайцах и кроликах причинил так много вреда? – осведомился я.

– Не причинил много вреда! – вскричал он, – да он революционизировал весь округ, вы слышите! Он

разорил земледельца, он восстановил класс против класса, он превратил честных фермеров в браконьеров и негодяев. Вы видите вон там, среди деревьев шпич? Так вот, этот бедный малый обыкновенно жил на своей земле. У него круглым счётом около пятнадцати детей, и каждое воскресенье у него бывал пирог с кроликами. А теперь, найдите мне в окрестностях хоть одного кролика!

Я сделал предположение, что эти слова относились к пастору, а не к шпицу колокольни, и потому выразил своё сочувствие человеку, который при таких прискорбных обстоятельствах оказался отцом столь многочисленного семейства.

– Однако, – заметил я, – мне говорили будто кролики истребляли большую часть жатвы.

– Чепуха, сэр, чепуха! Не верьте этому! – зарычал его сиятельство, – они никогда не съедали и одной былинкой более того, чего сами стоили. А если иногда и съедали, то злодеям делалась тогда скидка с арендной платы.

Большинство соседей моего спутника оказывались злодеями в том или другом отношении, но в данном случае, я думаю, этот эпитет относился к фермерам.

– Злодеи все получили избирательное право, сэр, – продолжал он, – в этом всё. Да, они все получили право голоса. Я вспоминаю то время, когда скромный арендатор скорее застрелил бы свою жену, чем кролика. Да, мы двигаемся слишком быстро вперёд, и двигаемся по наклонной плоскости, без всяких задержек.

Я не хотел выражать своего согласия с этим мнением, и поэтому просто спросил:

– Вы, вероятно, член Лиги защиты свободы и собственности?

– Да, что-то в этом роде, – ответил он. – Разве плохо разрушать замыслы этого гнусного бездельни-

ка? Да, мой секретарь записал меня в Лигу на 50 фунтов в год. Он говорит, что она намерена бороться против билля о вознаграждении арендаторов и тому подобных биллей. Хорошее общество, право! Его должны поддерживать все честные люди.

– Вы, стало быть, не дали бы арендатору вознаграждения за сделанные улучшения? – спросил я.

– Вознаграждение! – заорал лорд Браунмид, – вознаграждение за что? Праведный Боже! Если бы кто-нибудь из этих молодцов устроил склад на моей городской земле, или поднял свой дом на один этаж, или выстроил новый флигель, разве вы думаете, что он потребовал бы вознаграждения за это в конце своей аренды? Да он был бы сумасшедшим, сэр. Но почему же в деревне должно быть иначе, чем в городе? Не иначе, как здесь вмешались злодеи. Торговая сделка есть торговая сделка, не так ли? Какого же они хотят вознаграждения? Я бы их вознаградил! Надеть им кандалы – вот сто им нужно. Поверьте мне, сэр, – продолжал он, понижая свой голос до хриплого шёпота, – старик – бессовестный агитатор, и будь моя воля, я бы держал его под замком. Если же он ещё будет ходить на свободе, он разорит всю страну. . .

– Эй, Джерри, милая! Ну, проклятая!

Мы как раз подъехали к «Королевскому Дубу» и, по правде говоря, я совсем не был огорчён тем, что вырвался наконец из атмосферы славного, старинного окаменелого торизма, и могу ходить по улице среди равных мне. И всё-таки в этом человеке говорило то непримиримое отвращение к мелочному вмешательству и государственной опеке, которое нельзя было не уважать. «Торговая сделка есть торговая сделка». Правда, это не оригинально, но здесь есть, несомненно, здоровое нравственное начало. Аргумент о пироге с кроликами показался мне довольноно

слабым, но при всём том я встречал политиков, вызывавших во мне гораздо большее омерзение, чем лорд Браунмид.

Наступили уже сумерки, и вечерние газеты успели выйти. Я остановился у прибитого к стене плаката, кратко обзревавшего события дня. Но в них не было ничего нового: «Трое детей, убитых матерью», «Большой пожар на Стрэнде», «Гибель «Морской чайки» со всем экипажем». Обратившись к подробностям событий, возвещённых плакатом, я узнал, что мать троих детей была вдова, которая застраховала жизнь своих детей в лондонском страховом обществе в десять фунтов, а затем толкнула их в резервуар с водой. Её объяснения, будто дети упали нечаянно во время игры, не вызвали бы, без сомнения, ничьих подозрений, если бы не знаки насилия, оказавшиеся на шее старшей дочери, очевидно, упорно боровшейся за свою жизнь. Затем обнаружили другие факты, сделавшие несомненным, что дети были жертвой предумышленного убийства. Заклучая свой рассказ, газета предлагала запретить всем страховым обществам страховать жизнь детей, так как таким страхованием бедняки только вводятся в соблазн. Странным образом и пожар на Стрэнде оказался результатом подобных же мотивов и подобной же сделки. Какой-то парикмахер застраховал все принадлежности своего ремесла и своё имущество в 150 фунтов, а затем поджёг свою лавку. Комментируя этот факт, редакция газеты не нашла нужным сказать, как несправедливо искушать людей на поджоги. Она лишь полагала по этому поводу, что государство должно следить, чтобы все здания, находящиеся на больших улицах, были снабжены бетонными полами и покрыты асбестом, а кисейные занавеси должны быть запрещены. «Морская чайка», нагруженная углём и шедшая в Гибралтар, пошла ко дну близ берега

против мыса Голигед, прежде чем ей могла быть оказана помощь. Она, кажется, была застрахована в Ливерпульском Обществе взаимного страхования на море на сумму, равнявшуюся двойной стоимости корабля и груза. Один из членов судовой команды отказался выйти в море, ссылаясь на то, что корабль негоден для морского плавания; но на основании закона о торговом мореплавании он был приговорён за это к двухнедельному тюремному заключению. Редакция газеты была того мнения, что хотя он осуждён вполне законно, но то обстоятельство, что его предсказание так печально осуществилось, может оказать такое влияние на общественное мнение, что его дальнейшее содержание в тюрьме будет в высшей степени нецелесообразным и даже приведёт к мятежам. Редакция настаивала также на том, что страхование на море должно быть совершенно запрещено, за исключением тех случаев, когда оно заключается страхователями «обычным путём». Я впоследствии слышал, что статья эта произвела громадную сенсацию в «Ллойде», и что четыре тысячи номеров газеты были безвозмездно розданы в окрестностях домов Ливерпуля и Лондона. Был учреждён комитет, задавшийся целью побудить парламент объявить недействительными все морские страховые полисы, за исключением тех, которые составлены «обычным путём». Очевидно, экипаж «Морской чайки» погиб не напрасно. Он погиб во имя старинной монополии. Общественное негодование, вызванное её жестокой участью, было ловко использовано как ловушка, в которую должны были попасть все «новомодные системы страхования на море, которые не выдержали испытания времени и лишь с трудом завоевали себе место».

Я уже дошёл до дверей своей квартиры, как внимание моё было привлечено криком и громкой бранью

нескольких голосов, раздававшихся за углом улицы. Побежав за угол, я увидел остатки опрокинувшейся тележки. Несколько человек оживлённо спорили между собой; их окружала толпа, наблюдавшая происходящее с эпическим спокойствием греческого хора. Спорящими были: молодой пылкий джентльмен в высоких воротничках и перчатках из собачьей кожи, адвокатский клерк без дела, обыкновенный городской и рабочий в полосатой плисовой куртке. Роли действующих лиц не трудно было угадать. «Барин» был, очевидно, собственником злополучной тележки; рабочий наблюдал за машиной для перевозки тяжестей, которая спокойно стояла теперь у дороги, горя своими двумя красными огнями. Клерк был «человеком с улицы», тот *vir pietate gravis*, к которому обратились спорящие стороны, как к посреднику. Полицейский же был лицом само собой подразумеваемым в подобных случаях. Когда я дошёл до места происшествия и проложил себе путь к спорящим, дело находилось в следующем положении.

– Говорю вам, что всякая хорошо выдрессированная лошадь испугалась бы такой проклятой машины. Вы не имели права оставлять её в этом месте. Я вас заставлю заплатить. – кипятился «барин».

– Я получил такой приказ. – кричал рабочий – Вот, мои огни все горят. Зачем вы ездите по лондонским улицам на таких лошадях, как ваша? Такие лошади всего будут бояться и всё будут ломать.

Барин: – Извините, пожалуйста; я говорю вам, что любая лошадь испугалась бы машины. Но, главное, мне кажется, что такие машины не имеют совсем права быть на улице. Я об этом, кажись, слышал.

Клерк: – Да, да, я не могу сказать точно, но кажется, что так. Я знаю, например, что слонам не позволено ходить днём по улицам без особого разрешения. У нас был такой случай. Один человек

вздумал ехать по городу на слоне и раздавать цветные рекламы, но суд постановил, что. . .

– Машины для перевозки тяжестей – не слоны, – перебил его полицейский. – Какое нам дело до слонов? По какой улице вы ехали, когда ваша лошадь заметила эту машину, – вот что я хочу знать.

– Вверх по Королевской улице, господин констебль, а этот парень крепко спал у своей машины.

– Нет, я совсем не спал. Разве я не схватил лошадь за узду?

– Да, вы проснулись, но вы даже не подали предостерегающего знака. Отчего вы не кричали «берегись машины»?

– С какой стати? Что, у вас нет глаз? Разве я должен целый день кричать? Чем эта машина хуже всякой другой большой повозки для перевозки мебели? Ну скажите, констебль, чем она хуже?

Полицейский (серьёзно): – НЕ в этом дело. Вопрос в том, горели ли ваши лампы.

– Конечно, горели. Разве они не горят теперь?

Клерк (робко): – Они горели.

Полицейский (наступая на ноги клерку): – Вам что нужно здесь? Проваливайте! Зачем всё это вам? Долой отсюда! Ну, а теперь скажите, сэр, – обратился он к собственнику разбитой тележки, – спал ли этот человек на своём посту?

– Конечно, я не могу присягнуть, что он спал, но. . . *(стараясь что-то сунуть незаметно в подставленную полицейским руку)* но я уверен, что он не бодрствовал, не совсем бодрствовал.

– Благодарю вас, сэр, – вежливо ответил полицейский и, обращаясь к рабочему, сказал:

– Ты видишь теперь, какой ты молодец? Я доложу, что ты спишь на своём посту.

– Но я не спал, говорю вам, не спал.

—Ты спал. Разве ты не слышал, что джентльмен сказал, что ты не бодрствовал?

Таков был результат всего спора. Толпа глухо и недовольно роптала, но и ропот скоро стих. Инцидент был исчерпан; закон торжествовал; правосудие было оказано. Да, *оказано*, и ничего больше. Но я так и остался в неведении относительно того, имеет ли право собственник машины пользоваться общественными путями сообщения. История о слоне казалась мне также имеющей отношение к решению этого вопроса, но она отцвела, не успев расцвести. Я пошёл домой, съел не без аппетита свой обед и отправился искать развлечений.

В Лондоне всегда по этой части большой выбор, за исключением воскресных дней. Но и тогда вы можете выбирать между церковью, кабаком и борделем. В этот же день в моём распоряжении были братья Голиафы, маленький Сэмюэль, ходящий по канату, мисс Лотти Льюзон, комик Джон Бол, сёстры Делила, сеньор Фарини с его изумительными голубями, бенгальский укротитель тигров, семья Перл с неподражаемыми водяными фокусами и многое другое. В то время, как я сидел и раздумывал о преимуществах того или другого из этих развлечений, я услышал у дверей знакомый голос.

— Идём, старина! Пойдём в национал-либеральный клуб. Стюарт Гедлем откроет там дебаты о совете графства и о кафе-шантанах. Тряхнём стариной. Иди и говори!

Я вообще боюсь, как бы разные Трокадеро и аквариумы не вытеснили Либерального клуба, как места послеобеденного развлечения; в данном же случае мой интерес к вопросам, подобным тому, который должен был обсуждаться, был ещё вновь подогрет. Я надел шляпу и вскочил в кабриолет, который Джек оставил у дверей моей квартиры. Кстати, вы, быть

может, заметили, что вот уже второй раз, как я докладываю вам о том обстоятельстве, что «я надел свою шляпу». Английские романисты всегда очень внимательны к этому обстоятельству. «Он надел свою шляпу и вышел из комнаты». «Он сказал ей: прощайте, и, надев свою шляпу, вышел из комнаты такой же поступью, какой вошёл». Вам не говорят ни слова о пальто героя, об его перчатках, не обращают никакого внимания на то, холодна ли погода или нет, но факт надевания шляпы всегда тщательно отмечается. И это имеет под собой веские основания. Одним из вполне установленных принципов английского обычного права является требование, чтобы в случае нарушения общественного порядка, уличной стычки или какого-либо иного беспорядка, блюститель порядка находил в толпе подходящего козла отпущения. Мне говорили, что, например, в австрийской армии в случае бунта обыкновенно расстреливают каждого десятого солдата, выбранного жребием. Но у нас в весёлой Англии даны на этот счёт другие инструкции: найти где-нибудь поблизости человека без шляпы. Как только его находят, его тотчас же тащат в участок при одобрении всех присутствующих. Это правило составляет как бы часть неписанного права. Несколько месяцев тому назад принцип был применён судом при разрешении одного громкого дела. Один журналист обвинял в нападении ни более, ни менее, как герцога Кембриджского. Факты были неопровержимы, и свидетели все согласны между собой, но помощь пришла с совершенно неожиданной стороны.

– Я читал в газетах, что истец был без шляпы. Правда ли это? – с таким вопросом обратилось к сторонам почтенное должностное лицо. Стороны этого факта не отрицали. Обвинитель *bbl/l* без шляпы во время доказанного уже нападения. И это обстоятель-

ство решило всё дело: главнокомандующий британской армии оставил суд, выражаясь метафорически, без пятна на своей репутации.

Как бы то ни было, но, как я уже сказал, я надел свою шляпу и поехал в зал заседаний знатного клуба с его странным именем. Слово «национальный» было первоначально употреблено покойным Бенджамином Дизраэли, как политический термин, равнозначный со словом «патриотический» и противоположный словам «космополитический» и «антинациональный». Слово «либеральный» употреблялось около 1815 года в политическом смысле для обозначения сторонников свободы в качестве понятия, противоположного представлению о «рабах», веривших в государственный надзор. Однако, это не мешает в настоящее время членам этого клуба открыто защищать государственное вмешательство во всевозможные дела и признавать доктрину *laissez faire* символом веры эгоизма. Впрочем, здание клуба – прекрасное и очень удобное, а, в сущности, что в имени тебе моём?

Когда мы дошли до арены политической битвы, мистер Гедлем, социалист, произносил очень искусную индивидуалистическую речь. Я, действительно, никогда не слышал, чтобы кто-либо лучше изложил и мужественнее защищал дело нравственной свободы, чем это сделал на этот раз мистер Гедлем. Я с беспокойством ждал ответа противной стороны. Я представлял себе, что вот станет на место мистера Гедлема какой-нибудь скучный аскет, быть может, какой-нибудь суровый кардинал, и начнёт читать высокопарные отрывки из сентенциозного Гукера. Но я был приятно разочарован, когда юркий маленький шотландец, в забавных брюках и изъеденной молью одежде, выскочил с таким лепетом.

– Джентльмены, здесь, быть может, никто не любит так свободу, как я. Но, видите ли, нам надо провести разграничительную линию между нею и благопристойностью. Я был избран в совет графства наблюдать за тем, чтобы эта линия была проведена в надлежащем месте. Это – мой долг, и я исполню свой долг. Всё, могущее заставить чистую девушку покраснеть, должно быть уничтожено. И ещё одно. Я говорю, что кафе-шантаны, где продаются опьяняющие напитки, должны быть тоже уничтожены. Мы не потерпим мест, поощряющих блуд и пьянство. Но в то же время мы не враги свободы, т. е. свободы поступать справедливо, ибо единственная свобода, достойная того, чтобы за неё бороться, обуславливается этим.

Мистер Мак-Дудл энергично ударил по колену и сел на место.

– Я хотел бы спросить последнего оратора, – сказал тонкий джентельмен из задних рядов, – последовательно ли, чтобы государство, отменившее все законы, каравшие сами внебрачные связи, поддерживало множество мелких мер, карающих такое поведение, которое может привести к такой связи. Другими словами, прелюбодеяние вполне правомерно, а песенка, которая, быть может, приведёт к нему, неправомерна! Разве это последовательно?

– Извините меня, – крикнул громким голосом высокий мужчина. – Я юрист и потому, быть может, знаком с этим вопросом ближе, чем мистер Мак-Дудл. Джентльмен, только что предложивший вопрос, заблуждается. Он исходит из ложной предпосылки. Внебрачная связь в нашей стране есть преступление в силу законов 23 и 24, изданных на тридцать втором году царствования Виктории.

– Извините, – возразил голос из задних рядов. – Я тоже юрист и утверждаю, что закон, на который вы

ссылаются, не считает внебрачную связь преступлением. Он относится только к соучастию в вовлечении женщины в совершение греха. А это две различные вещи.

– Я этого не вижу, – возразил высокий мужчина. – Ибо, что такое соучастие, как не согласие совершить беззаконие? Но в таком случае соглашение между мужчиной и женщиной совершить беззаконие есть именно соучастие. А так как они не могут совершить этого греха без соглашения – если они совершают без него, то это, конечно, относится к другой статье, – то, следовательно, я прав.

– Нисколько, – упорствовал задний юрист, – нисколько. Боюсь, что ваше понимание соучастия смутно. Если вы обратитесь к своду уголовных законов Стифенса, который сейчас у меня в руках, то найдёте там следующие слова: «само собой подразумевается, что соглашение между мужчиной и женщиной совершить любодеяние не есть соучастие». Я думаю, что судью Стифенса можно считать некоторым знатоком права.

Но тут пришёл на выручку председатель, который, обращаясь к собранию, сказал:

– Мне кажется, джентльмены, что мы уклонились от темы. Быть может, мистеру Гатти угодно будет сказать нам несколько слов.

– Сознаюсь, сэр, – ответил на это обращение мистер Гатти, – что я нахожусь в затруднительном положении. Обсуждаем ли мы вопрос о том, правомерна ли неблагопристойность; или же перед собранием поставлен другой вопрос: являются ли мистер Мак-Дудл и его товарищи подходящими лицами для того, чтобы быть цензорами нравов. Я смотрю на эти вопросы следующим образом. Неблагопристойность, надлежащим образом определённая, несомненно, неправомерна. Но мистер Мак-Дудл и

его друзья не компетентны ни определять её, ни предлагать средства для борьбы с ней. Наконец, государство сделало бы гораздо лучше, если бы предоставило решение этого вопроса общественному мнению, здравому смыслу и опыту народа.

Речь эта вызвала целую бурю аргументов – убедительных и неубедительных, – ссылавшихся на многочисленных сторонников государственного вмешательства и доказывающих их неизменную и неизбежную несостоятельность по всей линии. Один аполектически сложенный маленький господин громко требовал ответа на такой вопрос: «неужели мы намерены позволить людям ходить по улицам совершенно нагими?» Вот, что он желал знать. Другой возражал на это, что в нашем климате эта опасность очень незначительна, и что, во всяком случае, против грубиянов были бы приняты очень достаточные защитительные меры. Третий желал знать, прилично ли продавать на улице Pall Mall Gazzete, а очень серьёзный молодой человек осведомлялся у своих слушателей, не читали ли они когда-нибудь тридцать шестую главу книги Бытия и не думают ли они, что она может вызвать краску на ланитах добродетели. На это один шутник ответил, что у добродетели нет ланит. Так разговор перескакивал с одного предмета на другой. Мы оставили зал, не составив себе даже и самого слабого представления о том, должно ли государство вмешиваться в развлечения народа или нет; должно ли оно ограничить это своё вмешательство принуждением к соблюдению приличий и благопристойности и какое значение должны иметь последние термины для практических целей; должно ли оно в каких-нибудь случаях передавать эту свою обязанность местным властям, а если да, то каким; должно ли государство взять на себя инициативу преследования или оно может предоставить её лицам,

считающим себя обиженными; и, наконец, должно ли такое правонарушение быть прямым или косвенным и – в каждом из этих случаев – какое значение имеют эти возражения. Как бы то ни было, но вопрос потерял свою прежнюю простоту, и даже самый уверенный в своих взглядах из лиц, вступивших в спор, оставил его – в чём я не сомневаюсь – с убеждением, что можно многое сказать о каждой стороне вопроса. А это уже само по себе результат.

Когда я шёл домой, ко мне близ Оксфордской площади обратилась почтенного вида молодая женщина с просьбой указать ей дорогу к Рессельскому скверу. Но едва она начала излагать свою просьбу, как из ворот вынырнул полицейский и обвинил её в попрошайничестве, а меня попросил сопровождать их в участок, чтобы подписать протокол. Очевидно, молодая женщина, не будучи профессиональной нищей, не платила ему, понятно, его «доли»; отсюда и официальное усердие. Старые, опытные нищие совершенно безнаказанно обращались ко мне по крайней мере двенадцать раз на этой же улице. Я пытался было возражать против обвинения полицейского, но он тогда взвёл на меня поклёп, будто я пьян и сопротивляюсь задержанию. Я, несомненно, закончил бы свой день в камере, если бы не пришёл ко мне на помощь проходивший мимо другой блюститель порядка. Он отвёл моего обвинителя в сторону и о чём-то шептался с ним несколько минут. Я узнал в нём моего старого знакомого, с которым случайно распил бутылку пива в ресторане «Сноп сена», возвращаясь из клуба.

Наконец-то я добрался до своего дома, но происшествия дня продолжали и во сне тревожить меня. Свобода, порядок, порядок, свобода – попеременно заполняли моё сознание, и я не знал, кто из них одержит верх. Когда я встал на другой день, я

попробовал запротоколировать все события предыдущего дня такими, какими они проходили перед моими глазами, не прилагая догматической оценки к тем правдам и неправдам, которые наблюдал в отдельных случаях. «Пошло-ка я их, – сказал я самому себе, – в Америку, в органы философского анархизма; быть может, несмотря на их тривиальный характер, в них найдутся пункты, достойные комментирования». Как жаль, что мы не можем собрать в мешок наши лондонские туманы и послать их по почте в Бостон для тщательного анализа!

Вордсворт Донисторп.

Лондон, Англия.

Мораль сомнения мистера Донисторпа

(*Liberty* 25 января 1890 г.)

Читатель статьи мистера Донисторпа «Сомнения анархиста» будет, вероятно, охвачен по её прочтении такими же сомнениями, какие изобразил автор; но он, по крайней мере, должен будет сказать, что ему редко приходилось читать статью со столь неподдельным юмором. Что касается меня лично, то я дважды читал её в рукописи и дважды в корректуре, и очень желаю, чтобы смех, который она, несомненно, вызвала бы во мне, если бы я её читал ещё четыре раза, мог продлить мою жизнь. Мистер Донисторп должен был бы писать романы. Но когда он просит *Liberty* комментировать его сомнения и рассеять туман, который он сгущает вокруг себя, я недоумеваю, как ответить ему. Ибо какова может быть мораль статьи, в которой происшествия одного дня изложены таким образом, что они говорят с одинаковой силой то против государственного социализма, то против капитализма, то против анархизма, то против индивидуализма? Мораль может быть просто та, что

среди обычной неурядицы, в которой мы живём, быть может, и в любом порядке вещей, всякие социальные теории будут иметь свои трудности и невыгоды, и что существуют такие тягости жизни, которых человечество никогда не сумеет избежать. Но анархисты, вопреки утверждению Генри Джорджа, называющего их оптимистами, достаточно пессимистичны для того, чтобы целиком признать эту истину. Они никогда не заявляли, что свобода принесёт с собою совершенство; они просто говорят, что её последствия несравненно предпочтительнее результатов, которые влечёт за собой власть. В царстве свободы мистериу Донисторпу, быть может, придётся ежедневно слушать в течении нескольких минут игру шарманки (хотя я думаю, что она никогда не доведёт его до сумасшедшего дома); но он, по крайней мере, будет иметь возможность пойти вечером в кафе-шантан. Между тем при господстве власти, даже в её самой честной и последовательной форме, он избавится от шарманки только ценой лишения себя кафе-шантана, а в её менее честной, менее последовательной и более вероятной форме он потеряет возможность идти в кафе-шантан и в то же время будет вынужден терпеть игру шарманки. Свобода создаёт большую возможность радостей и меньшую возможность зол. Пусть же поэтому всегда царит свобода, говорят анархисты. Не употреблять силы, разве только против нападающего. В тех же случаях, когда трудно определить, является ли данный насильник нападающим или нет, всё-таки не употреблять силы, разве только необходимость немедленного решения этого вопроса так настоятельна, что без употребления силы нам угрожала бы смерть. А в тех немногих случаях, когда нам приходится употреблять силу, будем делать это открыто и прямо, признавая её делом необходимости. Не будем стараться примирять наш поступок с каким-нибудь политическим идеалом или строить какую-то искусственную теорию государства или коллективности, имеющих права и прерогативы высшие, чем права и прерогативы индивидов и соединений индивидов, и неподлежащих воздействию этических принципов, соблюдения которых ждут от индивидов. Но говорить всё это мистериу Донисторпу совершенно излишне, несмотря на все его

сомнения и недоумения. Он так же хорошо знает, как и я, что «свобода не дочь, а мать порядка».

L'état et mort; viva L'état!

Liberty 24 мая 1890 г.

К редактору Liberty.

Крючки вместе с петлями очень полезны. Крючки без петель – ник чему как же, как и петли без крючков; но в соединении он очень полезны. То же самое можно сказать и о кооперации. Когда вы имеете разделение труда и последовательную дифференциацию функций, а в конце концов и строения, то перед вами кооперация. У некоторых видов муравьёв имеются муравьи-работники и муравьи-воины. Военная каста неспособна собирать пищу, которая готовится для них другими членами муравьиной кучи; но в обмене за это она посвящает себя защите всего общества. Без этих воинов общество погибло бы. Если бы погиб один из этих классов, другой погиб бы вместе с ним. Но этому уже давно учит старинная басня о желудке и других членах человеческого тела.

Разделение труда не всегда влечёт за собою дифференциацию в строении. У пчёл и многих других насекомых такое совпадение, как известно, имеет место. У млекопитающих существует резкое структурное деление на самцов и самок, но за этим делением тенденция к закреплению структурных изменений очень слаба. В тех человеческих расах, где господствует кастовое деление, тенденция эта более заметна. Даже в Англии, где оно угасает, можно её наблюдать среди рудничного населения Нортумберленда. А известная близорукость немцев приписывается существующему у них обязательному обучению.

Но, по общему правилу, мы можем пренебречь этим влиянием кооперации на человеческие организмы. Главнейшим моментом остаётся тот факт, что организованное усилие ста индивидов несравненно производительнее суммы усилий ста неорганизованных индивидов. Кооперация является, таким образом, несомненным благом. Анархия же непокорных шмелей просто экономически нерациональна. Лишь невежды могут приписывать последователям философского анархизма враждебное отношение к принципу кооперации, являющемуся фундаментом общества. А социалисты никогда не устают указывать на замечательные завоевания кооперации, требуя её применения и в социалистическом обществе. Где только некоторое число лиц соединяют свои усилия для осуществления цели, иначе недостижимой, — там мы имеем возникновение новой силы, силы организации. А лица, объединённые для этой цели и рассматриваемые, как единый организм, могут носить и особое имя: союз, ассоциация, общество, клуб, компания, корпорация, государство. Это не значит, что все эти термины обозначают одно и то же, но они все *предполагают* наличность кооперации. Я предпочитаю употреблять слово «клуб» всех таких ассоциаций людей для общей цели.

Предположим, в целях успешности нашего спора, что государство уничтожено. В каком мы тогда окажемся положении? Упразднением государства мы никоим образом не уничтожили всех клубов и частных обществ, в которые граждане сгруппированы и соединены. Они остаются на своих местах, как и раньше. Присмотримся к некоторым из них поближе. Но постойте! Вот множество каких-то новых обществ, внезапно выросших из развалин старого государства.

Вот перед нами восемьдесят человек, организовавшихся в клуб для игры в крикет. Они не могут подбрасывать мяч так, как им угодно, но только следуя строгим правилам. Они выбирают себе короля, или капитана, которому обязуются повиноваться на поле игры. Какому-нибудь члену отсчитывают в длину, хотя он, быть может, и желает иного подсчёта. Но он вынужден повиноваться деспоту.

Вот кружок наездников. Они участвуют в скачках и выезжают на собственных лошадях. Возникают споры при столкновениях. Быть может, ипподром представляет собой кривую линию, а один из наездников взял по более короткой дороге. Или вес наездников не одинаков, и более тяжёлый требует уравнивания в весе. Все эти вопросы передаются на рассмотрение комитета, который вырабатывает определённые правила; и правила эти все члены скакового общества обязуются исполнять. Клуб растёт: к нему присоединяются или принимают его правила другие едзющие верхом или участвующие в скачках лица. В конце концов его законы оказываются столь хорошими, что они принимаются всеми скаковыми обществами нашего острова; все споры, возникающие на скачках, решаются на основании правил этого жокейского клуба. И даже судьи нашей страны принимают их во внимание и передают в клуб разрешение вопросов жокейского права.

Вот кружок китоловов, собравшихся у берега бурного моря. Каждый из них дрожит за участь своего собственного судна. Он дал бы что-нибудь, чтобы избавиться от этого беспокойства. Если бы, например, весь его товар был в одной корзине, то он охотно распределил бы его по многим корзинам. Так и теперь он предлагает биться с ним об заклад, что его судно погибло. Он повторяет своё предложение до тех пор, пока сумма заклада не покрывает ценности

судна и груза, а быть может, обеспечивает ему и прибыль. «Ну, – говорит он, – теперь я устроился. Правда, я плачу неустойку в несколько процентов; но если даже мой корабль пойдёт ко дну, я всё-таки ничего не теряю». И он смеётся и поёт в то время, как другие ходят взад и вперёд по песчаному берегу, тяжело вздыхая и печально качая головой, и со страхом смотрят на грозный прибой. Но, в конце концов, и они следуют его примеру, и в результате у нас взаимное общество страхования на море. По истечении некоторого времени они бьются об заклад уже не только с членами своего кружка, но и с другими. А так как риск вначале, естественно, высоко оценивается, то они и получают большие дивиденды. Но вскоре возникают затруднения. Капитан одного китобойного судна выбросил во время бури груз за борт. Собственник судна требует возмещения убытков. Компания отказывается платить на том основании, что убытки сознательно причинены капитаном судна, а не вызваны божьим произволением или врагами короля; а также и потому, что выбрасывание грузов за борт приняло бы безграничные размеры, если удовлетворить это требование. Другие члены встречаются с подобными же затруднениями, пока, наконец, не вырабатываются правила, предусматривающие все известные случаи. И когда возникает спор, то избранный третейский судья, – является ли он общим другом спорящих сторон или собранием старейших граждан, или министерским департаментом, или каким-нибудь другим лицом или соединением лиц, – обращается к обычной практике и прецедентам, поскольку они приложимы к данному случаю. Другими словами, правила страхового общества становятся законами страны. До некоторой степени это имеет место и в настоящее время, несмотря на существование государства, можно сказать во всех

делах, которые не были так или иначе регулированы законодательством.

Но вот перед нами другой род клубов, возникший из альтруистических мотивов. Старая леди проникается состраданием к умирающей с голоду кошке (совсем не редкое зрелище по окончании сезона в лондонском Вест-Энде). Она ставит на пороге своего дома блюдце молока и кладёт немного печёнки. Её добрые чувства делаются вскоре широко известными, и кошки со всех окрестностей на милую кругом стекаются к её дому. Блюдца увеличиваются и множатся, а печёнка начинает составлять крупную рубрику в счёте мясника старой леди. Но дело слишком обширно для того, чтобы вести его одному. Старая леди выпускает поэтому циркулярный призыв, и удивляется большому количеству лиц, изъявивших желание участвовать в равной доле в расходах. Но надо заметить, что их симпатия к этому делу ослабевает, когда к ним предъявляются несправедливые требования. Они готовы делать пропорциональный взнос, но не согласны расплачиваться за скардность других. «Пусть лучше расплачиваются за неё бедные кошки, – говорят они. – Никто не заботится о том, о чём заботятся все. Это очень печально, но этому ничем нельзя помочь. Пока мы будем поддерживать одну кошку, сотни других будут умирать с голоду. Какой же толк из этого?» Но раз возник клуб, никто не расплачивается за другого. Дом для кошек сооружён и обеспечен доходами, и всё идёт хорошо. Больницы, лазареты, богадельни, сиротские дома вырастают повсюду. Вначале все эти учреждения придерживаются довольно легкомысленной и неразборчивой политики и становятся добычей обманщиков и ловких бродяг. Но вскоре разрабатывается устав. Общество организации благотворительности координирует и направляет общественную помощь.

А его разумные и экономные правила деятельности перенимают и усваивают во многих отношениях и заведующие государственной помощью бедным.

Есть затем у нас ассоциации лиц, согласных между собою в важнейших вопросах науки и политики. Они стремятся сделать других своими единомышленниками, для того, чтобы общество было для них приятнее и более родственно по духу. Они могли бы останавливать на улицах каждого человека и, держа его за пуговицу сюртука, обсуждать с ним данный вопрос. Но процесс этот слишком медлен и утомителен. Они, поэтому, соединяются в клуб и образуют учреждения, подобные Британскому и Международному библейскому обществу, истратившему семь миллионов фунтов на распространение неправды по всему земному шару. У нас есть клуб Кобдена, умирающий медленной и грустной смертью от собственной непоследовательности после длинного периода заслуженного успеха. У нас есть и всевозможные научные общества, никогда не просящие и не ожидающие ни одного пенни награды за всю свою работу и видящие единственную её цель в том, чтобы сделать других более умными и приятными соседями.

Наконец, у нас есть общества, спаянные общей борьбой против соперников и основанные на принципе «в единении сила». Эти клубы имеют как оборонительный, так и наступательный характер. Клубы последнего рода обнимают собою все торговые ассоциации, цель которых состоит в получении прибыли посредством уничтожения своих конкурентов. Первые же, т. е. клубы, носящие оборонительный характер, составляют почти все политические общества, образованные для сопротивления государству, этому самому агрессивному из всех существующих в настоящее время клубов. Более сотни этих «оборонитель-

ных обществ» того или другого рода объединились в настоящее время под знаменем Лиги для защиты свободы и собственности.

Мы условились выше, что государство должно быть уничтожено. Каков будет результат этого? Раньше всего в больших городах образуются комитеты безопасности для предупреждения и защиты от нападений грабителей, воров и тому подобных мародёров. Я не представляю себе ясно ни того, как они будут организованы, на границ их функций. Затем появляется взаимное общество исследования трупов перед погребением или сжиганием; его задача – сделать убийство возможно более невыгодным делом. Вот перед нами бдительная ассоциация, рассылающая сыщиков для обнаружения и расправы с теми противообщественными элементами, которые путешествуют по общественным дорогам, заведомо страдая заразными болезнями. Вот журнал, поддерживаемый потребителями и публикующий имена купцов, фальсифицирующих продукты. А вот общество, основанное отважными негодяями типа старой Ост-Индской компании, для ведения торговли в чужеземных странах с согласия или без согласия сторон, являющихся объектами захвата. Вот статистическое общество, изобретающее правила, делающие неприятным уклонение от регистрации и переписи и поощряющая всех, дающих требуемые сведения. Какова будет организация, – если только таковая будет – основанная для принуждения (непреренно посредством грубой силы) к исполнению договоров? Или будет много таких организаций, имеющих дело с различными видами договоров? Будет ли существовать Лига женщин для бойкота мужчин, злоупотребивших доверием женщины и нарушивших данные ими речательства? Как она будет судить и устанавливать нарушения обещаний?

Но, кроме всего этого, как должна быть устроена та могущественная компания, которая берёт на себя задачу защищать страну от нападения чужеземцев? Какую защиту она даст своим членам против тирании чиновников? Когда один сенатор предложил ограничить постоянную армию Соединённых Штатов тремя тысячами, то Джордж Вашингтон согласился с этим, но под условием, чтобы почтенный член устроил так, чтобы страна никогда не была предметом нападения со стороны более чем двух тысяч. Франкенштейн создал чудовище, с которым он не мог справиться. Пусть же анархисты будущего разрушат это затруднение!

Возвращаясь к наблюдательному комитету, образующемуся для расправы с лицами, больными оспой или скарлатиной и, несмотря на это, свободно разгуливающими в публичных местах, я позволю себе спросить, какими правилами он будет руководствоваться в своей деятельности? Предположим, что он признает всякое лицо, не сделавшее прививку от оспы, «очагом заразы». Значит ли это, что мы будем свидетелями образования другого общества, противоположного наблюдательному и поставившего себе задачей разбивать головы агентов, разбивающих в свою очередь головы «очагов заразы»? Вспомним, что подобные два общества действуют и в настоящее время. Одно зовётся государством, другое – Общество борьбы с прививками.

Вопросы, которые я желал бы поставить и на которые желал бы получить ответ у мистеров Герберта Спенсера, Оберона Герберта, Бенджамина Такера и Виктора Иерроса, сводятся к двум главнейшим:

1. До каких пределов добровольные кооператоры могут посягать на свободу других, и как нужно предупреждать такое посягательство при господстве системы анархии?

2. Желательна ли в каких-нибудь случаях принудительная кооперация, и какую форму – если вообще оно должно существовать – это принуждение может принять?

Существующее государство есть только конгломерат нескольких больших обществ, которые существовали бы отдельно или вместе и при его отсутствии. Если бы государство было уничтожено, они по необходимости возникли бы на его развалинах подобно тому, как нации Европы возникли на развалинах Римской империи. Ассоциации эти, очевидно, нуждались бы в обладании принудительной властью. В самом деле, никто не мог бы быть принуждён присоединиться к ним против своей воли. Возьмём обыкновенный случай уличного газового освещения. Желал ли бы добровольный газовый комитет освещать улицу, не прибегая к обложению всех обитателей улицы? Если да, то это было бы несправедливо. Щедрый и стремящийся к общему благу обыватель платил бы за скупого и дурного гражданина. Но если нет, то как осуществить обложение? Где провести предельную линию? Вы принуждаете, например, А платить за освещение улицы в то время, как он уверяет, что предпочитает видеть её тёмной. (Случай вполне возможный. Домохозяин может действительно предпочитать тёмную улицу светлой, если он, например, ложится спать при заходе солнца и желает, чтобы шум уличного движения перешёл на другие улицы, и тем был ему обеспечен покой). Вы затем принуждаете его участвовать в образовании охранного фонда, хотя его дом защищён от нападения грабителей, в содержании пожарной охраны, хотя его дом защищён и от пожара, в содержании тюрем, как составной части всего аппарата охранного комитета, и, наконец, – и это можно логически доказать – даже в содержании церквей и школ, ибо и они составляют

часть этого аппарата, как предупредительные меры против некоторых преступлений.

Мало того. Раз вы принуждаете его платить за газ на улице, то вы должны заставить его платить и за поддержание самой улицы, за её мощение, ремонт и чистку. А если за улицу, то и за шоссе; а если за шоссе, то и за железную дорогу, и за канал, и за мосты, и даже за гавани и маяки, и другие обычные средства транспорта и передвижения.

Лично я, как индивидуалист, не принуждал бы гражданина платить за *общие* блага, даже если бы он по необходимости пользовался ими. Но что я желаю узнать от четырёх вышеупомянутых светочей анархии, так это следующее. Как должны мы устранить несправедливость, возникающую из разрешения одному человеку пользоваться тем, что заработал другой? Вопросы мои очень ясны. Армия, при существовании обязательной воинской повинности, представляет собою случай принудительной кооперации. Банда разбойников есть случай добровольной кооперации. Я ненавижу обе эти кооперации. Я присоединился бы к добровольной ассоциации, направленной против каждой из них или против обеих. Я ставлю эти вопросы не для того, чтобы бросить хоть тень сомнения на осуществимость анархии в настоящее время. Я просто прошу разъяснений у тех, кто по моему мнению, лучше всего может дать их.

Вордсворт Донисторп

Добровольная кооперация

(*Liberty* 24 мая 1890 г.)

Весьма сомнительно, чтобы Герберт Спенсер нашёл большое удовольствие в квалификации его мистером Донисторпом,

как одного из четырёх светочей анархии. И я думаю, что он был бы прав, отвергая её. Нет сомнения, учение об анархии неизмеримо обязано мистеру Спенсеру за феноменально ясное изложение её основных понятий. Но именно по вопросам, поднятым мистерам Донисторпом, он держится таких еретических взглядов, которые мешают признавать его анархистом. Его вера в принудительное обложение, его признание начала большинства, не как временно необходимого, но как постоянного, узаконенного средства в пределах определённой области, показывают, что он не остаётся верным своему собственному принципу равной свободы, что убедительно доказал мистер Донисторп в своей недавно вышедшей книге обь «Индивидуализме». Я уверен, что его ответы на вопросы мистера Донисторпа сильно различились бы от тех ответов, которые могли бы дать мистер Иеррос или я.

Что касается Оберона Герберта, то духовного родства между нами больше, так как в практических вопросах он довольно близок к позиции *Liberty*. Но мне думается, что мистер Донисторп встретил бы большие затруднения в своей попытке загнать всех троих нас в один и тот же угол. Прежде чем он подвинулся бы хоть сколько-нибудь значительно в этом поприще, поднялся бы этический вопрос о природе права, и мистер Иэррос и я вместе с мистером Донисторпом выступили бы прямо против мистера Герберта.

Как один из двух ещё оставшихся «светочей анархии», призванных к ответу, я попытаюсь ответить вкратце на вопросы мистера Донисторпа. На его первый вопрос: «до каких пределов могут добровольные кооператоры посягать на свободу других», я отвечаю: совсем не могут посягать. Я уже давал по этому вопросу ответ мистеру Донисторпу, но он до сих пор не дал знать, насколько удовлетворил его мой ответ. Я позволю себе, поэтому, повторить свои слова. «Пусть же всегда царит свобода, говорят анархисты. Не употреблять силы, разве только против нападающего. В тех же случаях, когда трудно определить, является ли данный насильник нападающим или нет, всё-таки не употреблять силы, разве только необходимость немедленного

решения этого вопроса так настоятельна, что без применения силы нам угрожала бы смерть. А в тех немногих случаях, когда нам приходится употреблять силу, будем это делать открыто и прямо, признавая её делом необходимости. Не будем стараться примирять наш поступок с каким-либо политическим идеалом или строить какую-то искусственную теорию государства или коллективности, имеющих права или прерогативы высшие, чем права и прерогативы индивидов и соединений индивидов, и не подлежащих воздействию этических принципов, соблюдения которых мы ждём от индивидов». Таково наилучшее правило, которое я могу предложить, в качестве руководящего принципа, добровольным кооператорам. Применяя его только к одному из случаев, приводимых мистером Донисторпом, я прихожу к следующему выводу. Если бы в анархическом строе было даже допущено, что есть некоторые основания признавать индивида, которому не привита оспа, лицом нападающим, то и в этом случае было бы признано, во-первых, что это нападение не такого свойства, чтобы требовать применения силы, а во-вторых, что всякая попытка употребить против него силу есть сама ещё более несомненное и непосредственное нападение, чем то, против которого она направлена.

Как же должно быть организовано в анархическом строе сопротивление «нападению» индивида, которому не привита оспа? Таков второй вопрос мистера Донисторпа. Я отвечаю: посредством другого союза добровольных кооператоров. Но не будем ли мы тогда иметь, спросит нас мистер Донисторп, бесчисленного множества союзов добровольных кооператоров, находящихся в непрерывной войне друг с другом? Отнюдь нет. Функционирующий анархический строй предполагает предварительное воспитание народа в принципах анархии; а последнее в свою очередь предполагает такое недоверие и ненависть к вмешательству, что единственным союзом добровольных кооператоров, который сумеет приобрести силу, достаточную для того, чтобы принуждать к исполнению своей воли, будет именно тот союз, который или совершенно воздержится от вмешательства, или сведёт его к минимуму. Так я бы ответил мистеру Донистор-

пу, если бы я разделял его предположение, что анархический строй возникнет после внезапного исчезновения организованной власти. Но на самом деле я считаю такое предположение нелепым. Анархисты стремятся к уничтожению государства, но под этим они понимают не его ниспровержение, а, как это предполагает Прудон, его разложение в экономический организм. А если так, то перед нами уже не будет стоять, как думает мистер Донисторп, вопрос о том, какие меры и средства вмешательства мы вправе устанавливать, а вопрос о том, какие из уже существующих средств вмешательства мы должны раньше всего упразднить. И на последнее анархисты отвечают: бесспорно, первыми должны исчезнуть те из них, которые самым коренным образом противоречат свободной торговле; экономические же и моральные изменения, которые явятся результатом этого исчезновения, будут играть роль разлагающего средства для всех остальных форм вмешательства.

«Желательна ли в каких-нибудь случаях принудительная кооперация?» Принудительная кооперация есть просто одна из форм нападения на свободу других, и добровольные кооператоры, прибегая к ней, т. е. становясь принудительными кооператорами, столько же правы, как и прибегая к какой-либо другой форме нападения.

«Как должны мы устранить несправедливость, возникающую из разрешения одному человеку пользоваться тем, что заработал другой?» Я не жду, чтобы эта несправедливость была когда-нибудь совершенно устранена. Но я верю, что на каждый доллар, которым воспользуются при анархическом строе уклонившиеся от платежа налогов, приходится в настоящее время тысяча долларов, которыми пользуются люди, завладевшие заработкам других, благодаря специальным промышленным, торговым и финансовым привилегиям, дарованным им властью в нарушение свободы торговли.

Что касается упоминаемых мистером Донисторпом различных клубов, основанных на нетерпимости, преисполненной духа вмешательства, то я могу только сказать, что они, вероятно, перестанут брать за образец своего самого крупного собрата,

государство, с того момента, когда государство прекратит своё существование. Если же нетерпимые фанатики всё-таки захотят ставить условием вступления с ними в ассоциацию некоторую тиранию, то мы, последователи свободы, будем иметь привилегию избежать их общества. Или мистер Донисторп полагает, что мы не сумеем держаться так же долго, как и они?

L'état, c'est L'ennemi

Liberty 26 февраля 1887 г.

Многоуважаемый мистер Такер!

С тех пор, как вы так произвольно отстранили меня от составления руководящих статей в *Liberty*¹², известная доля самоуважения, наряду с вашим отношением ко мне, побуждали меня оставлять своё перо всякий раз, как я задумывал изложить свою теперешнюю позицию, в которой – я чувствую – я перерос те ограниченные методы посредством коих вы стараетесь разрешить существующие социальные противоречия. Однако, я послал заметку в *Truth Seeker*, но Макдональд, напечатавший тогда вашу заметку, превзошёл даже вас в дисциплинарных приёмах устранения, и закрыл для меня все отделы своей газеты. Но, чтобы не быть заподозренным в том, что я ушёл из ваших рядов вследствие трусости,

¹² Автор этого письма, мистер Генри Эплтон, был одним из первых ответственных сотрудников *Liberty* в течении пяти лет. В конце этого промежутка времени, он публично занял в одно из важнейших вопросов позицию, несогласную с направлением газеты. Это сделало необходимым прекращение его передовых статей. В то же время другие разделы газеты были охотно предоставлены в его распоряжение для того, чтобы он мог излагать свои взгляды. Но он воспользовался этим предложением только для того, чтобы написать приводимое мною письмо. Я его помещаю вместе с ответом редактора в этой книге, так как, несмотря на личный характер нашего спора, оно затрагивает важные принципиальные вопросы.

расчёта или каких-нибудь иных недостойных соображений, я ради выяснения истины буду касаться своей собственной личности и постараюсь изложить свои взгляды настолько полно, насколько это позволят место и важность предмета.

1. Всякое учение о радикальной реформе содержит в себе два главных элемента: основное философское положение и вытекающий из последнего протест. Основное положение или утверждение нашей пропаганды есть обусловленное свободой и принципом ценности *верховенство индивида*, на котором воздвигнуто всё учение индивидуализма. А его протест направлен против произвольной силы, не считающейся с согласием индивида. У Прудона вы заимствовали название этому протесту: «анархизм».

2. Я был вполне согласен как с великим утверждением Джозайи Уоррена, так и с правильностью вашего протеста. Не обращая большого внимания на то, хватаете ли вы зверя за голову или за хвост, я засучил свои рукава и пошёл вместе с вами выгонять его из его логовища. Называлась ли эта борьба анархией или нет – этому я в то время не придавал большого значения, так как я был уверен, что это дело справедливое и бьющее в цель.

Но едва только появилось несколько номеров *Liberty*, как уважаемые личные друзья мои, которых я склонил подписываться на газету, пристали ко мне со следующим вопросом: «допустим, что ваш протест вполне правилен; но чем же вы замените существующий порядок?»

– Ведь желательный нам порядок, – отвечал я, – вырастет из самого учения индивидуализма, краеугольным камнем которого является наше основное философское положение.

– О, да, конечно! – возразил мне один окружной судья Соединённых Штатов. – Но вы и Такер при-

надлежите к тому типу социологов, которые своё отрицание предпосылают положительной стороне своего учения и таким образом предполагают двигать общество с конца. Где же ваша творческая сторона учения? Дайте нам её, и тогда ваш протест, который является просто её логическим следствием, будет воспринят сам собою.

Я ответил ему и другим, что газета ещё молода и не велика по своим размерам, но что положительные задачи будут, несомненно, поставлены на один уровень с задачами разрушительными. С такими намерениями я принялся за работу и долгое время направлял своё внимание на то, чтобы придать каждой своей статье наше философское обоснование. Простой просмотр первого тома *Liberty*, я думаю, убедит всякого, что почти каждая статья, излагающая философию и метод газеты, написана мной.

3. Но искушение драться, щипать, царапаться и кусаться вместо того, чтобы воспитывать и творить, всегда стояло за моей спиной. Много раз я принимал решение предоставить вам весь раздел полемики, а самому отдаться исключительно делу воспитания читателя в наших взглядах, но – увы! – оказывался слишком слабым для этого. В конце концов, развившаяся привычка к личным препирательствам, схваткам, умолчаниям для того, чтобы избежать заслуженного наказания, и тому подобным приёмам привела к какому-то ничем не стесняемому «тунеядству». Председатель кружка отставил меня от ответственного поста, сестра Келли бросила мне упрёки в компромиссе, а брат Ллойд воскликнул: «и это называется свободным спором!»

4. Да, дорогой друг Такер, этот не очень завидный результат явился следствием роковой ошибки, сделанной в начале вашего предприятия, ошибки, жертвой которой никогда не должен быть истинно-

научный пропагандист. Ошибка эта заключается в том, что вы начали свою пропаганду скорее с *протеста*, чем с *утверждения основных положений Свободы*. Первичным же моментом является утверждение; протест образует лишь второй этап. Хотя протест и ведёт логически назад, к утверждению, но такой процесс всегда напоминает собой неестественное хождение задом. Если вы развиваете свою пропаганду шаг за шагом, исходя из своих положительных утверждений, то вместе с ней пробивает себе путь и отрицание, которое всегда может быть поддержано сопровождающей его философской базой. Воспитание и строительство являются естественной, успешной работой. Если же вы выступите вперёд, опрометчиво развёртывая знамя своего протеста, то процесс возвращения задом к своей базе столь неестественен, а искушение сражаться вместо того, чтобы строить так велико, что вы скоро начинаете сражаться на таком далёком расстоянии от своих укреплений, что вас, естественно, начинают упрекать на каждом шагу: «Но что стоит за вами, куда вы ведёте нас, и что защитит нас, когда вы придёте к намеченной цели?» Вам приходится, поэтому, отводить каждого отдельного рекрута назад к вашему философскому обозу, раз вы не берёте последнего с собой.

5. Что касается термина «анархизм», то я дошёл до убеждения, что он ограничен, неопределён, вводит в заблуждение и не представляет широкого научного дополнения индивидуализма. Если он выражает собой отрицание существующего политического государства, тогда я, конечно, анархист. Вы говорите, что он означает более этого, что он заключает в себе протест против всякого нападения на право индивида. Но это только очень удобное предположение, несколько не подкрепляющееся этимологическим значением термина, значением чисто политического про-

исхождения. Прудон, у которого вы заимствовали этот термин, употреблял его, только говоря о политическом аппарате правительства. Мост, Парсонс и Сеймур основывают своё отрицание существующего политического государства на коммунизме, который служит им образцом социального порядка. Вы основываете своё отрицание на добровольной кооперации суверенных индивидов, которая *вам* служит образцом социального порядка. Если анархизм есть только отрицание существующего государства, то, как правильно замечает мой друг Морз, вы имеете такое же право утверждать, что они не анархисты, какое имеют они, заявляя, что вы не анархист. Если же вы все анархисты и становитесь таковыми, исходя из совершенно противоположных принципов, то спрашивается, кто же является анархистом, и кто — нет, и какую ценность имеет анархизм, как научный протест против государства?

6. Кроме того, каждый человек имеет право быть понятым. Если вы расширяете понятие анархии за пределы политической сферы, то оно просто начинает означать *отрицание принципа руководства* — т. е. становится прямой противоположностью того, к чему логически ведёт индивидуализм. Анархия выступает против *архоса*, или политического руководителя, так как движущим принципом политики является сила. Если же вы берёте *архоса* вне политики, то он становится тем, к чему вы стремитесь как индивидуалист, так как он делается руководителем по добровольному выбору. Не следует, поэтому, расширять содержание понятия анархизма за пределы политического правления, иначе вы уничтожаете свою собственную цель. Оно должно, таким образом, оставаться в границах политики; а, оставаясь в этой области, оно является совершенно недостаточным

и совершенно ненаучным термином для выражения всего отрицания, совершаемого индивидуализмом.

7. Когда меня спрашивают, анархист ли я, то я чувствую, что спрашивающий желает знать, являюсь ли я тем человеком, которого он рисует себе, т. е. человеком, не признающим никаких руководящих принципов в общественном управлении. Из чувства правдивости перед самим собой, я вынужден обыкновенно отвечать: *нет*. Мы здесь сталкиваемся с вечной, крайне вредной склонностью определять человека скорее по отрицательной стороне его взглядов, чем по их положительному содержанию. Каждый обязан перед самим собой избегать такого положения, раз его протест есть следствие философской системы. Все протестантские секты определяют себя по своему положительному учению, а не по тому, что они отрицают; их примеру должны последовать и все научные системы социологии. Протестующая сторона их учений не станет менее яркой, а, наоборот, будет гораздо убедительней, когда она будет излагаться, как завершение принципов, её порождающих, чем когда она будет выставлена в качестве главного положения, в качестве творения, узурпирующего область своего творца.

8. Как индивидуалист, я считаю государство скорее второй посылкой, чем первой. Делая же свой протест первенствующим положением, вы этим самым должны признать за государством роль первой посылки, а ею оно не является. Если вы думаете, что государство служит действующей причиной тирании над индивидами, то вы находитесь в самом коренном заблуждении, на которое я легко мог бы пролить поток света, если бы письмо моё не разрослось уже так сильно. Государство есть переменная величина, увеличивающаяся в той мере, в какой первоначальные отказы индивидов от своего верховенства де-

лают его материальным фактом. Во всяком случае, начальной причиной является отказывающийся индивид; государство, следовательно, возможно только после отказа. Отсюда ясно, что отправным пунктом реформы должен быть индивид. Когда он будет реформирован, государство исчезнет само собой.

9. Развита выше мною точка зрения так богата мыслями, что я мог бы заполнить их изложением весь выпуск *Liberty* и всё ещё не сказать и половины того, что имеет к ней отношение. Растратив слишком значительную часть своей жизни на борьбу и рассмотрение вещей с их конца, а не по их главным и существенным признакам, я предполагаю посвятить остаток её творчески-воспитательной работе. Борьбаться языком и пером значит просто заниматься духовным убийством, отличающимся от других видов убийства только по своему методу. Когда кругом так много вопиющей о себе настоятельной творческой работы, я предпочитаю предоставить воинственную сторону пропаганды тем, кого темперамент и телосложение сделали лучшими воинами, чем строителями. Итак, продолжайте поднимать анархический гам у заднего конца зверя деспотизма, но позвольте мне, вертевшемуся всю свою жизнь, в качестве реформатора, у хвоста этого зверя, попытаться подойти немного ближе к его голове и рогам, а уж затем довести свою работу до конца.

Неестественное правление является неизбежным последствием неестественных условий. Одной бранью, гиканьем и вечными протестами никогда нельзя изменить этого сурового закона природы, которым оно обеспечивает себе самосохранение. Та нездоровая форма общественного управления, которая известна под именем государства, связана по самой сущности своей с нездоровыми условиями, получившими общее название централизации и заменившими собой

локализацию. Нью-Йорк и другие города, из которых государство, главным образом, и черпает материал, нужный ему для создания ренты, денежного роста и рабства индивида вообще, являются язвами на нашей планете. Разместите их население по земле, сделайте так, чтобы их индивиды не только требовали, но и *использовали* право на землю и другие средства своего верховенства, – и девятнадцать двадцатых государства в нашей стране перестанут существовать. Но вместо этого тысячи жалких, несчастных рабов в Нью-Йорке идут на рабочие митинги и кричат «земля принадлежит народу!» Их не выманишь и не выгонишь из этого зловонного гнезда лихоимства и политического разврата, хотя бы им предложили даром множество прекрасной земли. В то время, как обширные пространства земли можно получить почти даром вдоль реки в Нью Джерси, молодые люди этой местности бросают дома и земли своих отцов, дают им гнить и истощаться, а сами смешиваются с остальной нью-йоркской чернью, обольщая себя призрачными мечтами о богатстве, вдвое превышающем богатство Джея Гульда. Я утверждаю, поэтому, что если мы не сумеем вселить в индивидов более благородных и более трезвых побуждений, то города, подобные Нью-Йорку и Чикаго, превратятся в такие зловонные очаги политического разврата и общей деморализации, что освободить от них человечество сумеет только милосердный факел. Провозглашать анархию в таких обществах совершенно бесполезно, если только вы не будете провозглашать её в её самом худшем значении, а это ведь уже почти сделано.

Однако, вы, дорогой друг Такер, всегда относились с пренебрежением к моему предложению – звать индивидов выйти из этих городов и селиться на земле в условиях, которые одни только и делают возможным добровольное правление. Вы утвержда-

ете, что большие города – благословение для человечества, что этим жалким, подвижным низкими побуждениями и крикливым созданиям, которые вопиют на рабочих митингах «земля народу», именно и следует оставаться в них и биться там до последней крайности. Мне кажется, что вы находитесь во власти злосчастного самообмана, будто естественное правление возможно в этой набитой битком дыре, где даже богатый спит в стойлах из бурого камня, а обстановка, окружающая народные массы, хуже скотской. До тех пор, пока промышленность, торговля и жилища централизованы, условия, необходимые для верховенства индивида, физически невозможны. Ибо этой централизацией вызывается взимание процентов, а тот кое-как прикрытый обман, который носит имя правительства, становится необходимой организацией для поддержания в равновесии этих нездоровых условий, – вплоть до того неизбежного дня, когда огонь и динамит сотрут с лица земли эти социальные язвы для того, чтобы ещё могло существовать всё социальное тело. Я искренне надеюсь, что вы серьёзнее отнесётесь к поднятому мной вопросу и будете настаивать на локализации, как социальном выражении индивидуализма.

10. Слово «Свобода», так артистически начертанное на заглавном листе вашей газеты, не выражает ни утверждения, ни отрицания нашей современной системы; оно – просто вспомогательный термин, уместяющийся между ними. Я считаю большим несчастьем, что ваша газета не была названа «Индивидуалист»; теперь же в моём уме складывается название, даже более близкое к сути дела, чем это. Если бы наша пропаганда сосредоточилась с самого начала на этой сути, мы, вероятно, уже далеко продвинулись бы в творческо-воспитательной работе вместо того, чтобы хлестать направо и налево, путаясь в безыс-

ходной чаще недоразумений. Впрочем, быть может, всё к лучшему, и, каковы бы ни были ошибки его пионеров, но новое сооружение мало-помалу примет окончательные формы и предупредит то социальное самоубийство, к которому так быстро катится существующий порядок.

Генри Эпплтон

Я не отдавал некоторое время вышеприведённой статьи в печать, так как подготовка ответа заставило меня отсрочить её выход в свет. Но я тем легче примирился с этой отсрочкой в несколько недель, что её автор сам засвидетельствовал своевременность её появления, отложив на несколько месяцев её написание. К тому же, «произвольное отстранение», на которое он жалуется и которое вызвало его статью, имело место в августе прошлого года; его же защитительный протест появляется только в феврале. Ясно, следовательно, что этот протест не очень прельщал бы свежестью, если бы появился в январе. Но принципы никогда не стареют, и в их освещении слова мистера Эпплтона столь же умны или глупы в настоящее время, какими они были раньше или какими будут впредь.

Строго говоря, все добровольные поступки произвольны, так как они совершаются, как отправление воли. В этом смысле и «отстранение» мистера Эпплтона было, конечно, произвольным поступком. Но оно не было произвольным в каком-либо предосудительном смысле, и уже ни в каком отношении оно не было деспотическим. Мистер Эпплтон Заявил, что главная цель, ради которой я и он так долго сотрудничали вместе, сделалась для него целью второстепенной и относительно тривиальной. Это должно было сделать для него очевидным, как было очевидно для меня и чуть ли не для всех, что наша кооперация не может быть в будущем тем, чем она была. После такого заявления мой поступок подразумевался сам собой. Он не был деспотическим, а был почти вынужденным. Мистер Эпплтон сам отстранил себя; я только зарегистрировал факт.

Я ценю тот дух снисходительности и самоунижения, который позволил, наконец, мистеру Эплтону не только продолжать свой спор с таким недостойным противником, как я, но и поставить себя рядом с той низшей расой существ, которые пишут для *Liberty* не передовые статьи. Я даже несколько соревную ему в этом принижении своей личности, соглашаясь на то, чтобы он заполнил мою своей защитой или объяснением после того, как он пренебрёг моим первым приглашением, в таких размерах, которые убедили бы его, что он не сможет поместить своей статьи нигде в другом месте.

После этих предварительных замечаний я могу приступить к рассмотрению аргументов мистера Эплтона. Я отмечаю цифрами все пункты, с которыми мне приходится иметь дело, для того, чтобы избежать повторения критикуемых мною положений.

1. Я не допускаю никакого другого условия верховенства индивида, кроме существования самого индивида. Сказать, что верховенство индивида обуславливается свободой, значит просто сказать другими словами, что оно обуславливается самим собой. Обуславливать же его принципом ценности равносильно установлению принципа ценности властью, т. е. представляет собой давно уже сделанную попытку смешать анархизм с государственным социализмом, попытку, против которой, как я всегда предполагал, мистер Эплтон восстаёт.

2. Чтобы защищать такое утверждение, мистер Эплтон должен был бы доказать, что он является автором почти всех статей, появившихся в первом томе *Liberty*, тогда как, по общему правилу, он писал для каждого номера только одну статью. Девять десятых передовых статей, напечатанных в *Liberty*, были написаны в разъяснение её философии и метода. Правда, мистер Эплтон употреблял слова «философия» и «метод» чаще, чем какой-либо другой автор, но одно только повторение этих слов ещё не свидетельствует ни о философии, ни о рациональном методе. Это не значит, что я утверждаю, будто статьи мистера Эплтона не были философскими статьями. Я только настаиваю на том, что они не были обязаны своим философским

характером употреблению слова «философия», и что другие статьи, употреблявшие это слово менее часто или даже совсем его не употреблявшие, были же столько же философскими, как и его.

3. Какую бы полемику мистер Эпплтон ни вёл на страницах *Liberty*, он вёл её по собственному побуждению. Он всегда имел полную возможность свободно пользоваться газетой – в пределах, конечно, определённого числа столбцов – для «творческой-воспитательной работы» на фундаменте принципа верховенства индивида. Он писал, как хотел и по вопросам, по каким хотел, редко слыша от меня даже намёк по поводу той или другой желательной мне темы статьи. А в столкновениях со мной он всегда был нападающей стороной.

4. Совершенно верно, что утверждение верховенства индивида *логически* предшествует отрицанию власти, как таковой. Но на практике они неотделимы одно от другого. Протестовать против нападения на верховенство индивида по необходимости значит утверждать верховенство индивида. Анархист всегда несёт с собой свою базу подкреплений. Он не может сражаться вдали от неё. С того момента, как он поступает иначе, он становится архистом, сторонником власти. В самом его протесте содержится всё утверждение, его предполагающее. Как я указывал уже товарищу Ллойду, анархия не имеет ни одной положительной черты в смысле творчества, строительства. Ни как анархистам, ни как – что практически одно и то же – суверенным индивидам, нам не нужно совершать какой-нибудь творческой работы, хотя, как у прогрессивных существ, у нас этой работы – полные руки. Но если мы вполне осуществили свободу, то мы можем, если хотим, быть крайне неактивными и всё-таки оставаться суверенными индивидами. Незавидные опыты мистера Эпплтона вызваны не моей ошибкой, а его собственным безумием, побудившим его считаться с избитыми фразами о творчестве, которые ничего не теряют в своей нелепости от того, что срываются с уст окружного судьи.

5. Я спрашивал моего друга Морза, утверждал ли он когда-нибудь то, что ему приписывает мистер Эпплтон, но

он решительно отрицал это. Мне едва ли даже следовало и спрашивать его. Мы с ним находились в духовном общении в течении последних пятнадцати лет не для того, чтобы он мог так не понять меня. Он прекрасно знает, что я основываю своё утверждение, что чикагские коммунисты – не анархисты, на том, что анархизм означает отрицание всякой формы нападения. (Я покажу в следующем параграфе, правильно ли это определение этимологически). Те, кто отрицает существующее политическое государство, делая ударение на слове «существующее», не анархисты, а архисты. Отвергая специальную форму или метод нападения, они тем самым молчаливо признают справедливость какой-нибудь другой формы или метод нападения. Прудон никогда не боролся против какой-нибудь частной формы государства; он боролся против самого этого учреждения, как необходимо отрицающего верховенство индивида, какую бы форму государство не принимало. Все случаи употребления им слова «анархизм» показывают, что он считал это понятие совпадающим по объёму с понятием верховенства индивида. Если же он применял его только в борьбе с политическим правлением, то это объясняется тем, что он считал политическое правление единственным нападением на верховенство индивида, о котором стоит говорить. Он не знал ещё «глубокомысленной философии» мистера Эплтона, которая познала «обширную область правления вне организованного государства». Причина того, почему Мост и Парсонс не анархисты, а я являюсь таковым, заключается в том, что их коммунизм представляет собой только другое государство, тогда как моя добровольная кооперация совсем не государство. Определить, кто анархист, а кто не анархист, – дело очень лёгкое. Один вопрос всегда разрешит все сомнения. Признаёте ли вы какую-либо форму насильного принуждения человеческой воли? Если вы ответите да, то вы не анархист. Если скажете нет, вы анархист. Какой может быть задан в этом отношении более положительный, более научный вопрос, чем этот?

6. Анархия не означает просто выступления против *архоса* или политического руководителя. Она означает нечто протививо-

положное *архе* (αρχε). Но *архе* в своём первом значении есть *начало, происхождение*. Отсюда происходит её значение, как *первого принципа, элемента*. Затем следуют значения: *первое место, высшая власть, верховенство, владычество, начальствование, властвование*. И наконец: *суверенитет, держава, царство, администрация, правительство*. Таким образом, этимологически слово анархия может иметь несколько значений, – среди них, как говорит мистер Эплтон, и значение *отрицания принципа руководства*. Я никогда не возражал против последнего значения этого слова, а только всегда старался истолковать мысль тех, кто его применял, в согласии с их собственным определением. Но слово анархия, как философский термин, и слово анархисты, как название философской школы, были вначале употреблены в смысле оппозиции владычеству, власти. Они и сохранили это своё значение по праву захвата. Благодаря этому обстоятельству, употребление их в каком-либо ином философском смысле приводит к неточностям и неясностям. Отсюда ясно, что, если мистер Эплтон не считает политической сферы совпадающей по своему объёму с владычеством или властью, то он не может и требовать, чтобы понятие анархии, даже расширенное за пределы политической сферы, необходимо означало *отрицание принципа руководства*; ибо оно может означать и в силу приспособления действительно значит: *без владычества, без власти*. Следовательно, анархия есть термин, всецело и вполне научно выражающий индивидуалистический протест.

7. То непонимание, жертвой которого был мистер Эплтон, не является результатом определения им себя по протестующей стороне своих взглядов, ибо он не избег бы его, если бы определил себя и по их положительной стороне и назвал бы себя индивидуалистом. Я вряд ли мог бы назвать другое слово, которым бы так злоупотребляли, которое бы так не понимали и ложно истолковывали, как слово индивидуализм. Мистер Эплтон, ссылаясь на пример протестантских сект, приводит, в сущности, против себя столь же явный повод, что положительно смешно видеть, как он пытается использовать его против меня.

Как бы там не обстояло дело с протестантскими сектами, но сама великая протестантская церковь возникла из протеста, вскормлена протестом, *носит имя протеста* и жила протестом до тех пор, пока не минули дни её общественной полезности. Если бы подобные примеры что-нибудь доказывали, то можно было бы множество их привести против мистера Эплтона. Так, беря один из самых недавних, я мог бы поставить ему вполне уместный вопрос: кто более содействовал освобождению негров – те, кто определял себя по своим положительным взглядам, как партия свободы и приверженцы колонизации, или те, кто определял себя по своему протесту, как, например, общество борьбы с рабством и аболиционисты. Неоспоримо, последние. И когда человеческое рабство исчезнет во всех своих формах, то, я думаю, честь этой победы будет столь же исключительно приписана анархистам. Те же новоиспечённые приверженцы колонизации, к которым мистер Эплтон внезапно воспылал такой нежной любовью, юдут столь же неповинны в этом уничтожении, как были неповинны их предшественники и тёзки в уничтожении собственности на людей.

8. Очень жаль, что мистер Эплтон посвятил так много места другим вопросам, что не мог «пролить потока света» на моё «заблуждение», что государство служит действующей причиной тирании над индивидами. Ибо вопрос о том, является ли моё мнение заблуждением или нет, представляет центральный пункт наших разногласий. Мистер Эплтон утверждал, что вне организованного государства существует обширная область правления, и что наша главная борьба должна быть направлена против последнего. Я же, напротив того, поддерживал то мнение, что почти всю власть, против которой нам нужно бороться, имеет государство, и что, поэтому, когда мы уничтожим последнее, то борьба за верховенство индивида будет почти окончена. Я затем предложил мистеру Эплтону указать для защиты своей позиции эту обширную гору правления и сказать нам, наконец, что она такое и как она действует. Но он не дал его ни в своей последней статье, ни в первой. Единственная его попытка оспорить моё утверждение, что государство служит действующей причи-

ной тирании над индивидами, ограничивается двумя или тремя сентенциями, завершающимися заключением, что *начальной* причиной является сдающийся индивид. Я этого никогда не отрицал, и прямо восхищён тем невинным видом, с которым он совершает эту подмену слова *действующий* словом *начальный*. О начальных причинах точная наука ничего не знает; она может знать причины только более или менее отдалённые. Но, употребляя слово *начальный* в смысле более отдалённый, я для целей аргументации готов допустить (хотя это вопрос далеко ещё не решённый), что начальной причиной был подчинившийся индивид. Мистер Эпплтон, без сомнения, хочет сказать: добровольно подчиняющийся индивид, ибо принудительный отказ предполагал бы для его вынуждения предварительное существование власти или примитивную форму государства. Но государство, возникнув благодаря такому добровольному подчинению, становится затем положительным, сильным, всё более растущим и всё захватывающим учреждением, которое ширится уже не в силу дальнейших добровольных подчинений, а посредством вынуждения подчинения у своих подданных – индивидов, а сужается только тогда, когда последние удачно восстают против него. Таково оно, во всяком случае, в настоящее время, и вот почему оно является действующей причиной тирании. По той же причине утверждение мистера Эпплтона, что «индивид должен быть отправным пунктом реформы» может быть правильно только в одном смысле, именно в том, что он должен проникнуться анархической идеей и научиться восставать. Но не так думает мистер Эпплтон. Если бы он думал так, его критика была бы совершенно не уместна, так как я никогда не защищал какого-либо иного метода упразднения государства. В действительности же логика его позиции принуждает нас к иному истолкованию его слов, именно, что государство не может исчезнуть, пока индивид не совершенен. Но, говоря это, мистер Эпплтон протягивает руку тем мудрецам, которые допускают, что анархия будет практически осуществлена, когда наступит тысячелетнее царство. Это – крайняя уступка анархического социализма. Нет спора, если бы индивид мог совершенствоваться

в то время, как поставлены преграды его совершенствованию, то государство впоследствии исчезло бы. Быть может, также, он мог бы подняться и на небо, если бы только мог поднять себя за ушки своих сапогов.

9. Если должно поддерживать колонизацию или, по выражению мистера Эплтона, локализацию, как результат «серебряного» отношения к поднимаемым здесь вопросам, то он, очевидно, долгое время посмеивался над нами. На страницах этой газеты мистер Эплтон боролся с колонизацией более решительно, чем я, даже более решительно, чем я могу это сделать; лишь сравнительно долгое время спустя он написал что-то похожее на её защиту. Но даже тогда он заявил, что не делает отважную попытку проникнуть в область, которой до того не исследовал. Если он, однако, сделался с тех пор колонистом, то это только показывает мне, что он ещё не вник в сущность действительной причины народных бедствий. Эта причина заключается в государственном вмешательстве в естественные экономические процессы. Народ беден, ограблен и порабощён не потому, что «промышленность, торговля и жилища централизованы» – в общем эта централизация принесла великую пользу народу, – а потому, что централизован надзор над теми условиями, в которых промышленность, торговля и жилища функционируют и эксплуатируются. Та локализация, которая в действительности нужна, заключается не в локализации людей по земле, а в локализации власти между людьми, т. е. в ограничении власти по отношению к самому себе и в уничтожении власти над другими. Правительство даёт себя чувствовать одинаково и в деревне и в городе, капитал захватывает своей загребущей лапой так же прочно ферму, как и фабрику. Но угнетения и вымогательства ни правительства, ни капитала не могут быть устранены посредством расселения. *L'État, c'est l'ennemi*. Государство – вот враг, и наилучшие средства борьбы с этим врагом могут быть найдены только в уже существующих общинах. Если бы нельзя было выставить против колонизации никакого другого довода, кроме последнего соображения, то и этого было бы вполне достаточно для того, чтобы её отвергнуть.

10. Я не знаю, что хотел сказать мистер Эшплтон, когда он назвал *Liberty* – свободу – вспомогательным термином, уместающимся между утверждением и отрицанием нашей современной системы. Сомневаюсь, чтобы он сам знал это. Что она практически выражает ту же самую мысль, что и слово «индивидуалист», и представляет собою гораздо лучшее название для газеты, – в этом, я думаю, многие согласятся со мною. Если «мы, вероятно, уже далеко продвинулись бы в творческо-воспитательной работе, будь наша пропаганда сосредоточена с самого начала на сути дела», и если, (предполагая, что мы продвинулись далеко в этой работе), – это, «вероятно, к лучшему», то, вероятно, к лучшему и то, что наша пропаганда не сосредоточилась на сути дела (допуская, конечно, что она и действительно не сосредоточилась на ней). Но в таком случае, по какому случаю шум? Оптимисты никогда не должны жаловаться.

Деспотизм сторонника свободы

(*Liberty* 1 января 1887 г.)

«Нет ничего лучше свободы и нет ничего хуже деспотизма, – всё равно, будет ли это теологический деспотизм небес или теократический деспотизм королей, или демократический деспотизм большинства. Защитник интересов труда, выступающий на борьбу с деспотизмом капитала при посредстве другого деспотизма, нисколько не лучше врага, с которым он борется». Так писал мой собрат Пинни в *Winsted Press*, протекционист и защитник принудительных ассигнаций, т. е. человек, борющийся с деспотизмом капитала как посредством деспотизма, отрицающего свободу покупать необложенными иностранные товары, так и посредством деспотизма, отрицающего свободу выпускать кредитные билеты, циркулирующие, как орудия обращения. Эта непоследовательность мистера Пинни объясняется его стремлениями к высокой заработной плате и обилию денег: и первая, и второе, по его мнению, возможны только через посредство протекционистской и денежной монополий. Но религиозный

деспотизм выставляет в свою защиту желание спасти душу, моральный деспотизм – стремление к нравственной чистоте, а деспотизм, желающий воспретить продажу спиртных напитков, – стремление к трезвости. Однако, все эти деспотизмы ведут в ад, хотя каждый такой ад вымощен благими намерениями. Но в аду мистера Пинни такое же пекло, как и во всяком другом. Приведённая выдержка показывает, что мистер Пинни считает свободу истинным путём к спасению. Почему же он, в таком случае, не следует неизменно этому пути?

Оборонительный деспотизм

(*Liberty* 22 января 1887 г.)

Мистер Пинни, редактор блестящей газеты, *Winsted Press*, выступал недавно против воспреещения продажи спиртных напитков во имя свободы. Я указал ему на это, что аргументы, приводимые им, вполне убедительно говорят и против защищаемых им покровительственных ввозных пошлин, и против исключительно государственного денежного обращения меновых знаков. Мистер Пинни отвечает мне теперь, тщательно, однако, избегая всякого намёка на приведённую мною аналогию, следующее: «Коротко говоря, мы деспотичны потому, что считаем себя в праве защищаться как от нападающих на нас иностранцев, так и от подделывателей ассигнаций». Но в таком случае мы столь же деспотичны, как и желающие воспретить продажу спиртных напитков, которые считают себя в праве защищаться от пьяниц и продавцов рома. В другом месте того же номера *Press* я нашёл ссылку на «логическое прокрустово ложе», которое будто бы имеется в редакции *Liberty*, и которому я подгоняю своих друзей и врагов, растягивая или обрубая им конечности. Мистер Пинни, которого я будто бы таким образом окарнал, говорит об этом с большим негодованием.

Все на прокрустовом ложе

(*Liberty* 12 февраля 1887 г.)

Продолжая свой спор со мной по вопросу о логике принципа свободы, мистер Пинни пишет в *Winsted Press*:

Между запрещением продавать спиртные напитки и покровительственными пошлинами нет никакой аналогии; последние никому не запрещают удовлетворять своему желанию торговать, где угодно. Они представляют собой просто налог. До некоторой степени они аналогичны оплате патента на право продажи спиртных напитков в данной местности. Запрещение же продавать спиртные напитки, если не на практике, то в теории, совершенно другая вещь.

Различие, проводимое мистером Пинни, не обосновано никаким действительным различием. Закон о воспрещении продажи спиртных напитков никому не запрещает, даже в теории, удовлетворять своему желанию продавать спиртные напитки. Он только подвергает человека, удовлетворившего таким образом своё желание, штрафу и тюремному заключению. Налог, заключающийся в покровительственном тарифе, и штраф, налагаемый законом о воспрещении продажи спиртных напитков, в одинаковой степени отражает природу наказания и равно агрессивны по отношению к свободе. Аргумент мистера Пинни, ни в коем случае не имеющий действительной силы, представлял бы, по крайней мере, хоть *видимость* доказательства в устах «реформатора налоговой системы». Но он теряет даже внешность логического рассуждения, когда исходит от человека, глумящегося над идеей о получении дохода посредством покровительственных пошлин и открыто заявившего, что он требует такого запретительного тарифа, который совершенно не давал бы дохода.

Так же хромают и доводы, приводимые мистером Пинни в защиту принудительной денежной системы.

Что касается исключительно государственных ассигнаций, которые мы защищаем и которые мистер Такер насильственно уподобляет запрещению квитанций на индивидуальную собственность, – то между этими двумя требованиями ровно столько же аналогии, сколько между запрещением продажи спиртных напитков и исключительными правами на законодательство, заключение трактатов, объявление войны и многими другими полномочиями, вручёнными правительству, как потому, что оно внушает в этих случаях к себе больше доверия, чем индивид, так и потому, что оно может лучше его использовать эти полномочия.

«Ровно столько же аналогии» – с этим я согласен. В этом я могу видеть достаточное основание того, почему мистер Пинни, выступивший с положением, что «нет ничего лучше свободы и нет ничего хуже деспотизма», должен выступать и против законодательства, заключения трактатов, объявления войны и т. п. Но в этом я не вижу основания защищать исключительно государственные денежные знаки. Читатель, несомненно, обойдётся и без моей помощи при решении того, сколько «насилия» мне нужно было употребить, чтобы от *исключительно* государственных денежных знаков умозаключать к «запрещению квитанций на индивидуальную собственность», если только слово «исключительный» не получило какого-либо нового значения, ещё неизвестного ни читателю, ни мне.

Но блестящие идеи мистера Пинни ещё не пришли к концу. Он продолжает их излагать следующим образом:

Правительство запрещает отнятие частной собственности для общественных надобностей без справедливого вознаграждения. Поэтому, если мы окараушим себя до размеров прокрутова ложа мистера Такера, мы не сможем поддерживать эту форму запрещения и последовательно выступать против воспрещения распивать спиртные напитки! Но это –

последовательность сумасшедшего, «аналогия», доведённая до абсурда. Удивляемся тому, что мистер Такер может быть повинен в этом.

Но изумляюсь и я. Точнее говоря, я должен был бы быть изумлён, если бы был повинен в приписываемых мне мистером Пинни грехах. Но я не повинен в них. Не говоря уж о том обстоятельстве, что правительственное запрещение, о котором здесь идёт речь, есть запрещение, налагаемое правительством на самого себя, и что подобные запрещения никогда не могут быть неодобрены анархистами, – для меня ясно, что отнятие частной собственности у лиц, не нарушивших ничьих прав, есть нападение; а против запрещения нападения ни один друг свободы не найдёт что-либо возразить. Мистер Пинни уже прибегал к доводу защиты от нападения, когда старался оправдать необходимость покровительственного тарифа; и его аргументация была бы, несомненно, правильна, если бы он мог доказать её. Но я ему показал, что его ссылка на то, будто иностранные купцы, продающие товары американским гражданам, представляют собой нападающих индивидов, столь же неосновательна, как и отговорка сторонников воспрещения продажи спиртных напитков, будто продавцы рома и пьяницы – нападающие индивиды. Ни нападения, ни увёртки не помогут мистеру Пинни выйти из тупика, в который он завёл себя. Если в его распоряжении нет другого, более действенного оружия, чем то, которое он окрестил именем «бостонской аналогии», то его нападки не представляют никакой опасности.

Борьба мистера Пинни с Прокрустом

(Liberty 12 марта 1887 г.)

Некультурный житель Запада, когда ему нечего ответить на аргументы какого-нибудь бостонца, имеет обыкновение надёргать из длинных слов длинные сентенции и при их помощи высмеять некоторые воображаемые особенности бостонского

ума. Редактор *Winsted Press*, мистер Пинни, не совсем некультурный житель Запада, но он живёт достаточно далеко от пределов Массачусетса, чтобы иметь возможность прибегнуть к этому приёму, когда нужно уклониться от явной необходимости встретиться мною на поле духовной борьбы. Его последний ответ мне представляет собой бессодержательный набор фраз, заполнивший две трети его длинной статьи. Будь столько же места уделено сколько-нибудь серьёзным аргументам, правота кого-либо из нас была бы уже доказана. Если бы мистер Пинни был знатоком человеческой природы, то все, так сказать, родовые черты бостонского ума, которые он отметил бы в том бостонце, с коим ему пришлось теперь столкнуться, свелись бы к следующей характеристике: чрезвычайно упрямый индивид, ум которого не отличается ничем небесным, сверхземным, эстетическим, вообще чем-нибудь, отклоняющимся от среднего уровня; его единственная диалектика заключается в усердном стремлении найти слабое место в позиции своего противника и затем напасть на это место быстро и решительно; если же такого места не находится, то он готов признать своё поражение. Но человеческая натура – по крайней мере, бостонская человеческая натура – представляет большую загадку для мистера Пинни! Он, поэтому, ошибочно принимает меня за софиста, придирчивого адвоката, за любителя словопрений. Посмотрим же, в таком случае, кто первый высказал любовь к словесному препирательству в нашем споре.

В неосторожную минуту справедливого раздражения по поводу безрассудства сторонников запрещения продажи спиртных напитков мистер Пинни высказал приверженность к некоей очень крайней анархической доктрине. Я поддержал его в этом и решил обратиться к одной-двум другим формам запрещения, столь же противоречащих его теории свободы, как и запрещение торговли спиртными напитками, и, несмотря на это, защищаемые им. Одной из этих форм был протекционизм. Он ответил мне на это, что «между запрещением торговать спиртными напитками и покровительственными пошлинами нет никакой аналогии. Последние никому не запрещают удовлетво-

рять своё желание торговать где угодно». Именно здесь, по отношению к слову «запрещать», мистер Пинни и проявил впервые свою любовь к словесным препирательствам. Я указал на две формы государственного вмешательства в торговлю, которые на практике, смотря по обстоятельствам, либо стесняют торговлю, либо мешают ей, либо фактически не допускают её. Но эта аналогия в существенных выводах представляла для мистера Пинни большое затруднение. Он и попытался обойти его, начав со мной спор о значении слова «запрещать», – вопрос чисто формального свойства, поскольку он вообще имеет отношение к нашему спору. Он указывал, что покровительственный тариф не аналогичен закону о воспрещении торговли спиртными напитками, так как он никому не запрещает торговать, где угодно. Но это различие, самое большее, чисто словесного свойства. Следовательно, мистер Пинни, выдавая его за различие реальное, был повинен в софистике.

Но я принимаю вызов мистера Пинни, даже исходя из его собственных предпосылок. Я готов допустить, что, точнее говоря, покровительственный тариф не запрещает, но прибавлю при этом, что не запрещает и так называемый запретительный закон о торговле спиртными напитками. Оба они просто налагают наказания на торговцев, в одном случае за условия, в другом – за последствия ведения ими торговли. Таким образом, моя аналогия всё ещё сохранила свою силу, и я ждал нападения на неё. Но я тщетно ждал. Мистер Пинни нашёл возможным одновременно и протестовать против софистики и выдвигать свои собственные софизмы. Он, например, спрашивает меня, неужели тюремная дисциплина так слаба, что осуждённые продавцы спиртных напитков могут продолжать свою торговлю в стенах тюрьмы. Он представляет себе далее, что я бы и в том случае полагал, что запрещение не запрещает, когда высшим наказанием за продажу спиртных напитков была бы смертная казнь. Я не оспариваю того, что человек не может вести торговли спиртными напитками, пока он в тюрьме. Но и мистер Пинни не может оспаривать того, что человек не может продавать некоторых иностранных товаров в нашей стране, пока он не соберёт денег,

необходимых для оплаты покровительственных пошлин. И если я не сомневаюсь в том, что смертная казнь, строго применяемая, прекратила бы торговлю спиртными напитками, то я не менее уверен и в том, что если бы смертная казнь применялась и к импортёрам, то её воздействие на иностранную торговлю было бы столь же губительно. По теории мистера Пинни, запретительные законы о торговле спиртными напитками могут быть сделаны незапретительными простым изменением наказания, заменой тюремного заключения штрафом. Абсурдность этого утверждения очевидна.

Но если бы я даже должен был согласиться с тем, что софизм мистера Пинни доказывает, что нет никакой аналогии между запретительным законом о торговле спиртными напитками и покровительственными пошлинами, взимаемыми с целью получения дохода (что я, в сущности, отрицаю), – то мистеру Пинни ещё оставалось бы доказать, что нет никакой аналогии между запретительным законом о торговле спиртными напитками и таким протекционным тарифом, который он защищает, т. е. столь высоким, что он становится абсолютно запретительным и не даёт никакого дохода. В противном случае, ему пришлось бы допустить, что он был непоследователен, противопоставив не первую форму тарифа, а последнюю. Но он и не пытался это доказать даже с помощью софизма.

Зато он старается доказать другое. На моё утверждение, что из его абстрактной оценки свободы логически вытекает борьба с правлением во всех его проявлениях, он даёт следующий ответ.

Между пуританским вмешательством в домашние дела гражданина и необходимым правительственным регулированием дел, которыми индивид некомпетентен управлять, но которые должны быть управляемы для обеспечения индивиду его правомерной свободы, – дистанция достаточно большого размера для того, чтобы в её пределах дать нашим ограниченным способностям полную возможность развиваться.

Но кто должен быть судьёй того, какое правительственное регулирование «необходимо», и кто должен решать, какими

делами «индивид некомпетентен управлять»? Большинство? Но большинство столько же может решать о том, насколько необходимо запрещение продажи спиртных напитков, и насколько индивид некомпетентен управлять своими желаниями, как и о том, насколько необходим протекционный тариф и насколько индивид некомпетентен заключать сам свои договоры. Мистер Пинни будет вынужден таким образом подчиниться воле большинства. Однако, он раньше заявлял, что деспотизм есть деспотизм, исходит ли он от монарха или от большинства. И это заявление ведёт обратно к утверждению свободы во всех делах. Ибо подобно тому, как он отвергал бы господство монарха, склонного разумно и справедливо управлять делами, только потому, что он монарх, так он должен отвергать господство большинства, даже правящего согласно его идеалу, единственно потому, что оно – большинство. Мистер Пинни старается служить двум богам: свободе и власти; и в этих своих стараниях он просто смешон.

Вести из заброшенного города

Liberty 13 августа 1887 г.

Winsted Press посвятила длинную передовицу высмеиванию анархистов, защищающих частную организацию перевозки писем. Весёлая газета исходит из двух соображений: во-первых, частная организация взимала бы за пересылку высокую плату; во-вторых, она не оборудовала бы доставки почты в отдалённые местности, лежащие вне путей сообщения. На страницах *Liberty* уже не раз приводился один неоспоримый факт, который наглядно и бесповоротно отвергает эти два соображения. Однако, его частое цитирование не оказало никакого воздействия на сторонников правительственной почтовой монополии. Я не жду, чтобы его новое повторение имело какое-нибудь влияние на *Winsted Press*, но всё-таки попытаюсь.

Около шести лет тому назад, когда плата за пересылку писем равнялась ещё трём центам, частная компания Уэльс,

Фэрго и Ко организовала большое дело по пересылке писем в пределах Тихоокеанских штатов и территорий. Она взимала за пересылку письма пять центов, из которых более трёх она тратила, как того требовала узаконенная монополия, на покупку у правительства Соединённых Штатов штемпельных конвертов, в которых она должна была доставлять доверенные ей письма. Другими словами, за каждое доставленное письмо ей приходилось платить налог, равный более чем трём центам. За вычетом этого налога, фирма Уэльс, Фэрго и Ко получала менее двух центов за каждое пересылаемое письмо, тогда как правительство получало три цента за каждое письмо, которое оно само пересылало, и более трёх центов за каждое письмо, пересылавшееся фирмой Уэльса, Фэрго и Ко. С другой стороны, каждому индивиду стоило пять центов послать письмо через компанию, и только три цента – через правительство. К тому же, в области, обслуживавшейся компанией, огромность расстояний, редкость населения и неправильное устройство поверхности делали доставку писем в местности, лежащие вне путей сообщения, необычайно трудной. Но, несмотря на все эти преимущества, находившиеся на стороне правительства, его почтовые отправления постоянно сокращались, тогда как почтовые отправления частной компании беспрерывно росли. В денежном отношении правительство от этого, конечно, выигрывало. Но именно по этой последней причине положение вещей и было убийственно для правительства. Главный почтовый директор послал, поэтому, специального уполномоченного для расследования дела. Последний выполнил данное ему поручение и доложил своему начальнику, что фирма Уэльс, Фэрго и Ко подчиняется всем мельчайшим требованиям закона и отбивает в то же время клиентов у правительства тем, что организовала более скорую и более надёжную доставку писем не только в главные пункты области, но и в более многочисленные и более отдалённые её местности, чем те, которые включены в правительственный список почтовых учреждений.

Сохранилось ли до сих пор такое положение вещей, – не знаю. Думаю, что да, хотя введение двухцентовой почтовой

оплаты могло и изменить его. Во всяком случае, приведённый мною факт вполне достаточен для того, чтобы вырвать почву у всяких сарказмов. Но что будет в таком случае с опасениями редактора мистера Пинни насчёт разорительных почтовых ставок, с его филантропическим беспокойством о жителях заброшенного Уэйбека или Гэнкертауна?

Как будто возражение, а в сущности сдача по всей линии

Liberty 10 сентября 1887 г.

Winsted Press взвесила необходимость дать, по крайней мере, кажущийся ответ на тот неопровержимый факт, который я противопоставил её защите правительственной почтовой монополии. Но ответ этот, приводимый мною ниже, есть лишь призрак ответа, быть может, и убедительный для жертв политического суеверия, как убедительно большинство материализаций для жертв религиозного суеверия, но, подобно последним, столь неощутимый для настойчивого исследователя, что он ничего не находит в том месте, где должен был по предположению находиться этот призрак.

Единственный пример с фирмой Уэльс, Фэрго и Ко, который Б. Такер приводит в доказательство преимуществ частной организации почтового дела, требует более полного разъяснения всех сопутствовавших ему обстоятельств, если мы хотим выяснить себе его истинное значение. Как говорит мистер Такер, компания эта организовала около шести лет тому назад широкую пересылку писем в пределах Тихоокеанских штатов и территорий в отдалённые и редко населённые местности, взимая по пяти центов за каждое письмо. Она платила более трёх центов правительству, согласно требованиям почтового закона, и получала, таким образом, менее двух за

оказываемые услуги. И несмотря на то, что отправка писем стоила отправителям дороже, почта, организованная компанией, была настолько лучше почты правительственной, что она захватила большую часть отправок.

Мои слова переданы в общем довольно верно газетой. Я мог бы указать разве на то, о чём она лишь глухо упоминает, – именно, что фирма Уэльс, Фэрго и Ко доставляла корреспонденцию не только в отдалённые и редко населённые места, но и в густо населённые и легко доступные местности, и что здесь она побивала правительство, – факт не малой важности.

Причина этого заключается в нескольких обстоятельствах. 1. Недостаточное развитие правительственного аппарата в новой стране, далёкой от местопребывания правительства.

Это возражение есть первое проявление призрака, имеющего одну только внешность и никакого внутреннего содержания

– Джон Джонс – лучший посыльный, чем Джон Смит, – заявляет *Winsted Press*, – так как Джонс может бежать по каменистой почве, а Смит не может.

– В самом деле? – изумляюсь я – Почему же Смит обогнал Джонса на днях по дороге из Сан-Франциско в Уэйбек?

– О, – отвечает мне *Press*, – это легко объясняется тем, что почва была камениста.

Press выставила против анархической теории свободной конкуренции в почтовом деле то соображение, что частные предприятия не обслуживали бы отдалённых местностей, тогда как правительство их обслуживает. Я доказывал фактами, что частные предприятия лучше правительства обслуживают отдалённые местности. Какой же смысл имеет в этом случае возражение, ссылающееся на отдалённость этих местностей от штаб-квартиры правительства и на то, что последнее не развило своего аппарата? Ведь весь вопрос заключается в том, что частное предприятие первое организовало своё дело и наиболее

успешно поддерживало его на высшей ступени производительности.

2. Правительственная конкуренция, удерживающая компанию Уэльс и Фэрго от взимания монопольных цен.

Если цель правительственной почтовой деятельности заключается в воспрепятствовании частным предприятиям взимать высокие цены, то вряд ли можно было бы привести более яркую иллюстрацию нелепости того способа, посредством которого правительство думает достичь этой цели, чем это обложение частных почтовых компаний двумя (раньше тремя) центами с каждого письма. Ведь очевидно, что этот налог был единственным препятствием, мешавшим компании Уэльс и Фэрго уменьшить плату за пересылку письма до трёх или даже двух центов. Само собою разумеется, что в последнем случае правительство, вероятно, потеряло бы и тех отправителей, которые ещё оставались ему верны. И такой налог есть верная гарантия против монопольных цен! Конкурент – всё равно, является ли им правительство или индивид, – который должен облагать налогами своего соперника для того, чтобы существовать, совсем не конкурент, а просто монополист. Анархисты борются не против правительственной конкуренции, а против правительственной монополии. Надо, впрочем, заметить, что во время процесса преобразования правительства в добровольные ассоциации несправедлива даже правительственная конкуренция, ибо ассоциация, поддерживаемая принудительным налогообложением, всегда сможет, если захочет, доставлять корреспонденцию за плату, меньшую, чем стоимость издержек производства, а дефицит покрывать налогами, взимаемыми с народа.

3. Другое доходное предприятие, которое привело компанию в соприкосновение с отдалёнными округами и дало её возможность обеспечить своим

транспортам лучшую охрану, чем та защита, которую правительство могло тогда предложить своим почтальонам.

Совершенно верно. Но что это доказывает? А то, что почтовая служба может быть весьма выгодно соединена с экстренной построй, и что частное предприятие первое додумалось до этого. Но это один из аргументов, которыми пользуются анархисты.

4. В стране, где неизвестны пенни, не обращают внимания на разницу в два цента.

Фантазия *Winsted Press* доходит здесь до высшей степени. Если мистер Пинни зайдёт в Уинстедскую почтовую контору, то её начальник объяснит ему то, что здравый смысл должен был ему сам подсказать, – именно, что по одной марке продаются не более пяти процентов всех марок, а остальные продаются по две, три, пять, десять, по сто и даже по тысяче за раз. Говорят, что калифорнийцы очень расточительны в своих мелких тратах; однако, я сомневаюсь, чтобы расточительность сколько-нибудь крупной части их доходила до того, чтобы они платили пять долларов за сотню марок, когда у соседнего угла можно их достать по три доллара за сотню.

5. Все эти условия не существуют в настоящее время в каком-либо другом месте нашей страны. Следовательно, иллюстрация мистера Такера ничего не доказывает.

Ничего не доказывает! Разве она не свидетельствует о том, что частное предприятие превзошло правительство при данных условиях, существовавших тогда-то и там-то, условиях, довольно затруднительных для обоих конкурентов и необычайно трудных для первого из них.

6. Мы знаем, что частные предприятия не доставляют удобств экстренной почты редко населённым округам страны.

Я ничего подобного не знаю. Компании экстренной почты фактически обслуживают всю страну. Правда, они взимают высокую плату за доставку посылок в местности, с трудом доступные; но это только справедливо. Наоборот, правительственная почтовая плата несправедлива. В самом деле, неужели справедливо, чтобы мой сосед, отправляющий ежегодно сто писем в Нью-Йорк, платил по два цента за каждое, хотя стоимость перевозки равна одному центу, только потому, что правительство тратит целый доллар на перевозку одного моего письма, которое я посылаю раз в год в Уэйбэк и за которое я также плачу два цента. Мне могут, впрочем, сказать, что там, где каждая отдельная ставка так невелика, разнообразные расценки создали бы больше затруднений и расходов, чем сбережений; другими словами, что вести книги при таких ставках было бы очень нерасчётливой экономией. Весьма возможно; но и в этом случае никто бы так скоро не сознал бы этого, как частные почтовые компании. Впрочем, это соображение теряет свою силу по отношению к экстренной почте, где перевозятся пакеты всевозможных размеров и веса.

Не доставляют частные предприятия и больших почтовых удобств. Исключение же только подтверждает правило. Если частные предприятия могут и хотят вести почтовое дело, то отчего же они не ведут его в настоящее время? Закон не более мешает в этом компании «Экспресс Адамса», чем мешал компании Уэльс, Фэргю и Ко.

Это возражение мистера Пинни напоминает мне вопрос, которым он закончил свой спор со мною о свободном выпуске денег. Он желал тогда знать, отчего анархисты не приступают к организации свободной денежной системы; ведь они должны быть достаточно проницательны для того, чтобы изобрести способ, каким можно было бы обойти закон. Как будто конкурирующее предприятие может надеяться на успех, когда ему приходится тратить целое состояние на ведение судебных процессов или на уплату тяжёлого налога, от которого свободен

его соперник! Находясь в таких невыгодных условиях, оно, естественно, не может преуспевать, если среда, в которой оно работает, не даёт ему полной возможности использовать все свои преимущества. Именно в таких условиях и происходила конкуренция между компанией Уэльс, Фэрго и Ко и правительством. Обслуживавшаяся им территория была так плохо приспособлена для почтовой службы, что она предоставляла широкое поле для проявления наивысшей производительности. Компания Уэльс, Фэрго и Ко использовала это обстоятельство в такой широкой степени, что побила правительство, несмотря на все его преимущества. Но в территории, обслуживаемой компанией «Экспресс Адамса», условия существенно иные. Там почтовое дело так просто, что возможный предел проявления компанией своего превосходства не покрыл бы излишних расходов даже в один цент на письмо. Но мне говорят, что компания «Экспресс Адамса» была бы лишь рада возможности перевозить письма по центу за каждое, если бы только не приходилось платить налога за эту перевозку. Если приверженцы правительства полагают, что Соединённые Штаты могут, конкурируя, побить компанию «Экспресс Адамса», то отчего они не решаются поставить их обоих в равные условия? Вопрос этот отвечает сам за себя. Когда у человека связаны руки, то спрашивать его о том, отчего он не борется, могут только трусы.

Глупые избиратели и глупые редакторы

(Liberty 4 августа 1888 г.)

Дядя Сэм доставляет за два доллара сто фунтов газет за две тысячи миль, а между тем сам платит железной дороге за перевозку почты в три с лишним раза больше. Компании «Экспресс» вжимали бы двадцать долларов за такую же услугу. И, несмотря на это, некоторые до сих пор не понимают, отчего акционеры таких компаний – миллионеры, тогда как народ беднеет. А некоторые не только ничего не

знают об этом, но и не хотят ничего знать. И весьма прискорбно, что такие люди имеют избирательное право. (*The Anti-Monopolist*).

Да, дядя Сэм доставляет сто фунтов газет за две тысячи миль, но не за два доллара, а за один доллар; да он платит железной дороге больше, чем стоят оказываемые ей услуги, и теряет около пяти долларов на каждое отправление.

Да, компания «Экспресс» взимала бы двадцать долларов за такую же услугу, так как она знает, что безумно вступать в конкуренцию, взимая плату только в один доллар. Она, поэтому, берёт за своё по необходимости ограниченное предприятие такую цену, которую согласны платить желающие иметь скорую и надёжную почту.

Дядя Сэм, тем не менее, продолжает перевозить за плату в один доллар. Он знает, что это прекрасный способ побудить газеты смотреть сквозь пальцы на его подлости, и что, во всяком случае, он может возместить и действительно возмещает свою потерю в пять долларов на каждое отправление двумя путями. Во-первых, он перевозит сто фунтов писем за две тысячи миль за тридцать два доллара и запрещает кому бы то ни было перевозить их за меньшую цену, несмотря на то, что компании «Экспресс» были бы рады возможности оказывать такую же услугу за шестнадцать долларов. Во-вторых, он взимает пошлину со всех покупателей как виски и табака туземного производства, так и многих других товаров, привозимых из-за границы.

И несмотря на всё это некоторые не понимают, почему тысячи чиновников, присоседившихся к общественному пирогу, жиреют, тогда как народ беднеет. В действительности, «некоторые» всё знают, за исключением, как говорил Джон Биллингс, «огромного множества вещей». И весьма прискорбно, что таким людям вверено редактирование газет.

Логика и фоксусничество

Liberty 7 июля 1888 г.

Генри Джордж представляет собою резко выраженный тип довольно распространённой амальгамы философа и фоксусника. Он обладает в заметной степени способностью ясного изложения своих основных принципов, но эту способность дополняет другой, не менее развитой способностью, – способностью так затемнить связь, которую он устанавливает между своими основными принципами и их ошибочными приложениями, что только ум, привыкший к аналитическому мышлению, может открыть ошибку и прикрытый ей обман. Мы можем наблюдать обе эти способности на примере многочисленных его статей, в которых он блестяще защищает в теории принцип индивидуальной свободы только для того, чтобы непосредственно затем отвергнуть его на практике, придавая в то же время этому своему отрицанию по какой-то удивительной логике значение фактического подтверждения. Свобода торговли есть вернейшая гарантия благосостояния. *Следовательно*, должна существовать полнейшая свобода устройства банков. И вдруг *фоксус!* Только правительство должно иметь право выпускать деньги. Таким образом, разъединив втихомолку два тесно связанных между собой явления: выпуск денег и устройство банков, он, по видимому, оправдывает принципом свободы самую пагубную из существующих монополий. Таков тот краткий путь, по которому он приходит к очень многим своим практическим выводам. Его простота и ясность, как философа, так завоёвывают доверие его учеников, что он с успехом может перед их же глазами играть роль престижджигатора. И они не замечают этого перехода от логики к фоксусничеству. Некоторое расстояние он продвигается вперёд вдумчиво, уверенно и прямо, строго следуя методу логического умозаключения, а затем, когда умы последователей уже не настороже, он внезапно восклицает: *готово!* – и в одно мгновение переводит их на путь заблуждения. А они и не подозревают того, что уже не направляются прямо к истине. Вот эта-то способность проституировать принцип до защиты мысли,

противоположной ему, и пользоваться истиной, как орудием лжи, делает мистера Джорджа одним из самых опасных людей среди всех тех, кто позирует в настоящее время в качестве общественных проповедников.

Одно их самых недавних и серьёзных преступлений этого рода было им совершено в *Standard* от 23 июля при обсуждении проблемы авторского права. Какой-то корреспондент поднял вопрос о собственности на идеи, и мистер Джордж взялся за его тщательное рассмотрение. Исходя из этого принципа, что истинным основанием права собственности является производительный труд, он со всем присущим ему замечательным искусством, о котором я уже говорил выше, приходит на протяжении трёх столбцов к торжественному заключению, что по справедливости не может быть исключительной собственности на идею.

«Ни один человек, – говорит он, – не может по справедливости требовать собственности на что-нибудь в силу естественных законов, или в силу каких-либо отношений, которые могут быть постигнуты человеческим умом, или в силу каких-либо возможностей, которые природа ставит возникновению собственности. . . . Собственность проистекает из производства. Она не может проистекать из открытия. Открытие не может дать никакого права собственности. . . . Ни один человек не может открыть ничего, что бы не было уже, так сказать, дано для того, чтобы быть открытым, и чего не мог бы со временем открыть кто-либо другой. Если он находит что-нибудь, то это не значит, что его находка была раньше потеряна. Она или её возможность существовала до того, как он появился. Она, таким образом, имелась уже в наличности для того, чтобы быть найденной. . . . В производстве всякой материальной вещи, машины, например, можно различить два отдельных момента: абстрактную идею или принцип, обыкновенно выраженную чертежом или словами, письменно или устно, и конкретную форму самой машины, произведённую приведением в определённые отношения определённых количеств и качеств материи: дерева, стали, меди, кирпича, напильника, ткани и т. п. Труд приступает к производству машины двумя способами.

Первый заключается в установлении принципа, на основании которого машина может функционировать. Второй состоит в том, чтобы добыть из естественных хранилищ, привести в связь и придать определённую форму тем количествам и качествам материи, которые в известной комбинации образуют данную конкретную машину. Посредством первого способа труд тратится на открытие, посредством второго – на производство. Работа открытия может быть сделана раз навсегда, как, например, при открытии в доисторическое время принципа или идеи тачки. Работа же производства требуется сызнова для каждой отдельной вещи. Сколько бы тысяч миллионов тачек ни было произведено, но для того, чтобы сделать ещё одну, нужно вновь затратить работу производства... Естественное вознаграждение за труд, потраченный на открытие, заключается в возможном использовании открытия, не посягающем, однако, на чьи бы то ни было права на его использование. Но к этому естественному вознаграждению наши законы о патентах стараются прибавить ещё и искусственное вознаграждение. Несмотря на то, что предоставление изобретателем абсолютного права на исключительное пользование их полезными изобретениями или процессами обременило бы всю промышленность самыми тяжёлыми монополиями и в сильной степени задержало бы, если бы не приостановило совсем, дальнейшие открытия, теория наших законов о патентах гласит, что мы можем поощрять изобретения, предоставляя ограниченное право собственности на пользование ими в течении определённого количества лет. В течении этого срока мы стараемся, при помощи особых законов, дать специальное вознаграждение за труд, потраченный на открытие, вознаграждение, которое не составляет естественного права, но носит характер премии. Совсем иначе обстоит дело с вознаграждением труда, потраченного согласно второму способу производства продуктов, т. е. потраченного на производство машины посредством приведения в определённые отношения определённых количеств и качеств материи. Здесь мы не нуждаемся ни в каких специальных законах его вознаграждения. Абсолютная собственность присуща результатам труда не в силу

специального законодательства, а по обычному праву. И если бы даже все человеческие законы были уничтожены, то и тогда люди продолжали бы держаться того, что, какова бы ни была конкретная вещь, является ли она тачкой или фонографом, но она принадлежит тому, кто её произвёл. И принадлежит не на определённое количество лет, а вечно. Она переходила бы после смерти к его наследникам, или к тем, кому он её отказал бы».

Приведённый отрывок взят мной из статьи мистера Джорджа. Я считаю его вполне убедительным, неотразимым. Весь он построен – заметим это – по строгим законам логического мышления. Очевидно, это был момент выхода философа на сцену. Он совершил предназначенную ему работу, разрушил право право на патенты. Теперь наступает очередь престижизитатора. Его задача – оправдать авторское право, т. е. собственность не на идеи, опубликованные в книге, а на способ их выражения. Тут выступает на сцену жонглёр Джордж. *«Смотрите!* – кричит он, – помимо труда открытия», потраченного на измышление того, *что* сказать, сказать, существует ещё «труд производства», потраченный на отыскание того, *как* сказать». – Заметьте, с какой ловкостью он принимает здесь за доказанное, что задача давать литературное выражение мысли есть скорее труд производства, а не труд открытия. Но в самом ли деле это так? Мистер Джордж подвергает здесь право своим жонглёрским приёмам; мы же подвергнем его анализу философа, которого мы уже цитировали. *«Работа открытия может быть сделана раз навсегда. . . Работа же производства требуется заново для каждой отдельной вещи»*. Может ли быть что-нибудь проще того, что тот, кто совершает работу комбинирования слов для выражения какой-нибудь мысли, сберегает как раз это время для всех тех, кто в последствии захотел бы употребить те же слова в том же порядке для выражения той же мысли; что, следовательно, эта работа не требуется заново в каждом отдельном случае и потому не есть работа производства, а, не будучи таковой, и не даёт права собственности? Цитируя выше мистера Джорджа я не должен был вовсе затрачивать труд на измышление того, «как сказать» то, что он уже сказал. Он

сделал за меня эту работу. Мне оставалось просто написать, а затем напечатать его слова на новых листах бумаги. Эти листы бумаги принадлежат мне так же, как листы, на которых писал и печатал мистер Джордж, принадлежали ему. Но находящаяся на них особенная комбинация слов не принадлежит никому из нас. Правда, он её изобрёл, но это обстоятельство не даёт ещё ему никакого права на неё. Почему? Да потому, что эта комбинация слов, употребляя его собственные выражения, «существовала в возможности до того, как он явился»; «она имела уже в наличности для того, чтобы быть изобретённой», и если бы он не изобрёл её, кто-нибудь другой изобрёл бы или мог бы её изобрести. Труд размножения или печатания книги аналогичен производству тачек; первоначальный же труд автора, состоит ли он в мышлении или составлении сочинения, аналогичен *изобретению* тачки. И те же соображения, которые говорят против права изобретателя, говорят и против права авторского. Способ выражения мысли есть сама мысль, и потому не подлежит присвоению в собственность.

Как видит читатель, проделки мистера Джорджа разоблачены вполне. Но разве он признает это? Во всяком случае, не он; он не признает этого, как не признавал подобных же разоблачений своего фокусничества в вопросах ренты, прибыли и денег. Жонглёр никогда не допустит своего разоблачения. Это было бы разорительно для его ремесла. Он низко лжет, пока не прошёл вызванный им к себе интерес, а затем начинает невозмутимо «бросать шары» и ловко дурачить своими старыми фокусами другую толпу новичков. Такова была политика жонглёра Джорджа до сих пор. Таковой она будет и в последствии.

Право собственности

Liberty 2 августа 1890 г.

К редактору Liberty.

Позвольте мне просить вас дать мне с анархической точки зрения определение «права собствен-

ности». Что вы собственно хотите сказать, когда говорите, что данная вещь принадлежит данному лицу?

Перед тем как я обратился к изучению социального вопроса, я имел довольно смутное понятие о значении этого термина. Собственность казалась мне каким-то соединением богатства и индивида. Понимание это не могло быть, конечно, поддерживаемо мною при анализе социального вопроса и распределения богатств. В течении некоторого времени я не мог ни составить себе ясного представления о том, что собственно означает этот термин в его обычном словоупотреблении, ни найти сколько-нибудь удовлетворительное определение его в тех книгах, которыми я располагал. Составители словарей довольствуются цитированием множества синонимов, не проливающих никакого света на интересующий меня вопрос, а писатели по политической экономии, по видимому, не ломают себе головы над такими пустяками. Они не нуждаются в прочном фундаменте для своих теорий, пока они строят себе воздушные замки. Говорят, что собственность есть «исключительное право владения», но это определение не даёт ответа тому, кто нигде не может найти удовлетворительного объяснения термина «право».

Ясно, что между владением и собственностью существует радикальное различие, хотя эти понятия до некоторой степени и родственны друг другу. Поэтому разумно будет, мне кажется, надеяться, что при исследовании различия, которое существует между владельцем и собственником вещи, мы найдём ключ к поставленному мной вопросу. Собственник вещи, которая по каким-либо причинам находится во владении другого, может требовать её возврата, и, если её не возвращают добровольно, то *может быть призвана помощь закона*. Это приводит к заключению,

что право собственности есть отношение между вещью и лицом, созданное социальным обязательством гарантировать владение.

Только это определение кажется мне удовлетворительным. Но оно предполагает наличие социальной организации, как бы неразвита она ни была. Оно предполагает, что верховная власть будет принуждать исполнять повеление «не укради». И в той мере, в какой эта социальная организация будет приобретать всё большую прочность, а эта верховная власть – всё более всеобъемлющее верховенство, – в той мере и право собственности будет иметь всё более определённое существование.

Теперь, для того, чтобы быть лучше понятным, я могу повторить свой вопрос. Имеет ли анархизм иное понятие о праве собственности, или он отвергает совершенно подобное право, или же, наконец, он предполагает, что из развалин правительства возникнет другая социальная организация, обладающая верховной властью? Другой альтернативы я не вижу в данный момент.

Гуго Билгрэм

Приступая к рассмотрению вопроса, поставленного мистром Билгремом, необходимо раньше всего отбросить, – что, несомненно и делает мистер Билгрэм, – интуитивную идею права, понятие о праве как о правиле поведения, которому мы следуем, исходя из мотивов, кажущихся нам с точки зрения наших интересов. Когда я говорю о «праве собственности», я отнюдь не употребляю слова «право» в этом смысле. Я вполне согласен с той мыслью, которая, по-моему, лежит в основании всей аргументации мистера Билгрема, а именно, что с точки зрения общества нет никакого другого права, кроме социальной целесообразности. Но я также вполне убеждён и в том, что правило социальной целесообразности, т. е. факты,

свидетельствующие о том, что в действительности социально-целесообразно, а также обобщения этих фактов, которые мы можем назвать законами социальной целесообразности, – что это правило существует независимо от велений какой бы то ни было социальной власти. В согласии с этим анархическое определение права собственности, хотя и тесно примыкает к определению мистера Билгрема, но представляет такое его видоизменение, которое не содержит в себе предпосылки, указываемой мистером Билгремом и содержащейся в его определении. С анархической точки зрения право собственности есть то господство личности над вещью, которое получит или социальную санкцию или какую-либо иную единодушную индивидуальную санкцию, когда законы социальной целесообразности будут, наконец, открыты. (Конечно, я мог бы пойти дальше и сказать, что анархизм считает основным законом социальной целесообразности наибольшую сумму свободы, совместимую с равенством свободы, и прибавить, что почти все анархисты полагают, что единственным базисом права собственности, находящимся в гармонии с этим законом, является труд. Но всё это несущественно ни для моего определения, ни для опровержения позиции, занятой мистером Билгремом по отношению к анархизму).

Читатель, несомненно, заметит, что данное мной анархическое определение не предполагает непременно существования организованной или установленной социальной власти с целью принуждать к соблюдению права собственности. Это определение предвидит время, когда социальная санкция заменится единодушной индивидуальной санкцией, делающей, таким образом, принуждение излишним. Согласно определению мистера Билгрема, право собственности перестало бы тогда существовать. Другими словами, мистер Билгрем, по-видимому, полагает, что, если бы все люди были согласны между собой насчёт права собственности и добровольно уважали его, то собственность не имела бы под собою никакой почвы по той простой причине, что отсутствовало бы всякое учреждение, её защищающее. Но с точки зрения анархистов собственность существовала бы тогда в своей наиболее совершенной форме.

На вопрос, поставленный мистером Билгремом в заключительных строках его письма, я ответил бы следующим образом. Анархизм не отрицает права собственности, но его понимание этого права в достаточной степени отлично от понимания мистера Билгрема, так как оно предполагает возможность исчезновения той социальной организации, которая возникает не из развалин правительства, а из преобразования правительства в добровольную ассоциацию для защиты.

Верховенство индивида – наша цель

(*Liberty* 7 июня 1890 г.)

В не подписанной статье, помещённой в газете *Open Court* (и написанной, как я подозреваю, её редактором), я нашёл следующее место.

Анархисты проповедуют верховенство индивида. Мы должны ответить им, что общество есть организованное целое. Индивид есть только то, чем делает его общество; он должен, поэтому, повиноваться законам, управляющим развитием общественной жизни. Чем добровольнее это повиновение, тем лучше для общества, а также и для самого индивида. Но если индивид не повинуется добровольно законам общества, общество в праве принудить его к этому. Верховенства индивида не существует.

Совершенно верно, верховенства индивида не существует. Но мы, анархисты, полагаем, что такое верховенство должно существовать. Критика сотрудника *Open Court* несомненно была бы правильна, если бы она была направлена против тех анархистов, которые считают верховенство индивида естественным правом, по отношению к коему общество не в праве совершать насилие. Ноя совершенно не могу понять, какое значение она

может иметь, если должна комментировать, как это в действительности и есть, заявление «видного чикагского анархиста» о том, что верховенство индивида есть *цель* прогресса.

Анархизм типа «естественного права» отжил своё время. Анархизм современный признаёт как право общества принуждать индивида, так и право индивида принуждать общество, поскольку только они имеют требуемую для этого силу. Он готов допустить всё то, что писатель *Open Court* говорит в защиту общества, и даже превзойти его в этой защите, сделав его предстательство совершенно излишним.

Но, допуская и признавая всё это, анархизм в то же время утверждает – и в этом его специальная миссия, – что лучшее знакомство с социологией убедит обе стороны – и общество и индивида, что *практически* верховенство индивида т. е. наибольшая сумма свободы, совместимая с равенством свободы, есть закон социальной жизни; что оно – единственное условие, при котором жизнь человеческих существ может протекать в гармонии. Когда убедятся в этой истине и будут поступать согласно ей, тогда только мы будем иметь верховенство индивида осуществлённым в жизни, – и осуществлённым не как священное естественное право, снабжённое защитой, а как социальное средство, принятое с общего согласия; скажу даже, как дарованная привилегия, если писатель *Open Court* предпочтёт последнее выражение, как льстящее тщеславию его бога, общества. В этом смысле *Liberty* и борется за верховенство индивида. На нашем знамени не начертано «свобода – естественное право»; на нём развевается девиз «свобода – мать порядка».

Надо надеяться, что писатель *Open Court* обратит внимание на всё вышесказанное перед тем, как присоединится к пошлой болтовне о национализме и анархизме, как о противоположных крайностях, одинаково правых и неправых. Анархизм – такая же крайность и ровно столько же прав и неправ, как и то «идеальное состояние общества», которое рисует сотрудник *Open Court* и «в котором возможно больший порядок сочетается с возможно большей индивидуальной свободой». Да, анархизм вполне выражается идеей, которую критик формулирует следу-

ющим образом. «Мы всегда сможем отметить в развитии нации, идущей по пути прогресса, всё возрастающее осуществление двух по внешности враждебных начал: свободы и порядка».

Партия первого освобождения и её девять требований

(*Liberty* 25 января 1890 г.)

Партия нового освобождения, номинально Соединённых Штатов, а в действительности не выходящая в настоящее время (т. е. за то время, в течении которого она должна была «пронестись по стране подобно приливной волне») за стены редакционной комнаты *Individualist* в Денвере, выступила с восемью требованиями. И взятые в целом, требования эти были очень хорошими требованиями. Но недавно она прибавила к ним ещё одно, девятое. Почему именно, не знаю, – разве из зависти к либерализму и из обязанности иметь столько же требований, сколько и он. Но это соображение вряд ли сколько-нибудь разумно, так как по отношению к либерализму девять, видимо, не оказалось тем магическим числом, которое завоевало бы спрос на него. Как бы то ни было, но несомненно, что девятое требование находится в прямом противоречии с некоторыми из наиболее важных восьми требований, особенно с пятым и седьмым. Девятое правило гласит: «коллективное содержание и контроль в интересах народа над всеми общественными дорогами, водяными путями сообщения, железными дорогами, каналами, канавами, водоёмами, телеграфами, телефонами, переправами, мостами, водопроводами, газовыми заводами, парками, электрическими сооружениями и т. п.». Седьмой пункт требует «немедленной и безусловной отмены всех форм принудительного обложения». Пятый заявляет о «немедленной и безусловной отмене всех законов, устанавливающих какое бы то ни было вмешательство в свободную торговлю между индивидами одной и той же или различных стран». Предположите теперь, что мистер Стюарт (основатель партии нового освобождения) и я живём на одном

и том же берегу какой-нибудь реки. У меня есть лодка, – а у мистера Стюарта нет. Мистер Стюарт приходит ко мне и говорит: «сколько вы возьмёте за то, чтобы перевезти меня через реку?» – «Десять центов», – отвечаю я. – «Хорошо», – соглашается мистер Стюарт и входит в лодку. Но в это самое время подходит партия нового освобождения в образе полицейского (а ей придётся принять этот образ, так как в таких делах требование, не облечённое в синий мундир и не подкреплённое дубинкой в руке, совершенно недействительно) и обращается ко мне с такими словами: «Эй, вы! постойте! Разве вы не знаете, что партия нового освобождения, которая в последние выборы «пронеслась по всей стране, подобно приливной волне», затопила и вашу лодку вместе со всеми остальными, установив коллективное содержание и контроль за всеми переправами? Если вы попытаетесь перевезти мистера стюарта через реку, я конфискую вашу лодку именем закона». И затем, обращаясь к мистеру Стюарту, полицейский прибавляет: «А вы можете выйти из этой лодки и сесть на паром, о котором уже позаботились ново-освобожденцы». – «Господин Констебль, вы превышаете свою власть, – горячо возражает на слова полицейского мистер Стюарт; – я заключил сделку с мистером Такером, и если бы вы стояли на высоте своего долга, то знали бы, что партия нового освобождения требовала в той самой платформе, благодаря которой она «пронеслась по всей стране подобно приливной волне», «немедленной и безусловной отмены всех законов, устанавливающих какое бы то ни было вмешательство в свободу торговли»¹³. – «Да-да, – поддерживаю я мистера Стюарта, спеша в то же время взяться за вёсла (я употребляю последнее слово в переносном смысле, не относя его совершенно к вёслам моей лодки); – вы знали бы также, что эта самая победоносная партия требовала и «немедленной и безусловной отмены всех форм принудительного обложения». Хотел бы я посмотреть, как вы теперь конфискуете мою лодку».

¹³ «Свобода торговли» должна пониматься и в смысле свободы занятий или промысла, так как «trade» по-английски означает также и промысел или профессию. – Прим. Ред.

– «О, какая вы пара простаков и как вы отстали! – отвечает нам полицейский; – требования, о которых вы говорите, значились под пунктами пятым и седьмым. Требование же о переправах было девятым и последним. Следовательно, оно лишило силы все прежние требования, входившие с ним в коллизию». Так как мистер Стюарт уважает законы и не принадлежит к тем «бостонским анархистам», которые не верят в государство, то он, поникнув головой, выходит из лодки. проклиная про себя последствия своей же собственной политической платформы, садится на правительственный паром и, благодаря этому, теряет благоприятный случай послушать лекцию одного «бостонского анархиста» о «судьбе одного индивидуалиста, давшего подачку социалистическому черберу».

Принудительное воспитание противоречит духу анархизма

(Liberty 6 августа 1892 г.)

Один мой знакомый, народный учитель, очень интересовавшийся анархизмом и почти разделявший его, счёл необходимым рассмотреть вопрос о принудительном воспитании с этой новой точки зрения, и очутился в очень затруднительном положении. Желая рассеять свои недоумения, он обратился ко мне со следующими вопросами.

1. Если родитель морит голодом, мучит или калечит своего ребёнка, активно нападая на него к его ущербу, то справедливо ли вмешательство других членов группы с целью недопущения такого нападения?
2. Если родитель не заботится о доставлении своему ребёнку пищи, крова и одежды, пренебрегая таким образом тем долгом самоотвержения, который предполагается вторым выводом из закона равной свободы, то справедливо ли

вмешательство других членов группы с целью принуждения его к исполнению долга?

3. Если родитель преднамеренно стремится к тому, чтобы помешать своему ребёнку достичь умственной или нравственной зрелости, безотносительно к зрелости физической, то справедливо ли вмешательство других членов группы с целью недопущения такого нападения?
4. Если родитель не заботится о доставлении своему ребёнку возможности достичь умственной зрелости, – предполагая, что умственная зрелость может быть определена, – справедливо ли вмешательство других членов группы с целью принуждения его к доставлению такой возможности?
5. Если признать, что умение читать и писать, т. е. умение изображать и объяснять постоянные знаки мышления, есть *необходимое* проявление зрелости, и если родитель не заботится о доставлении своему ребёнку возможности научиться читать и писать или отказывается использовать возможность уже имеющуюся, то справедливо ли вмешательство других членов группы с целью принуждения его доставить или использовать такую возможность?

Перед тем, как ответить на какой-нибудь из этих вопросов прямым да или нет, необходимо раньше всего удостовериться, нарушает ли упомянутый в них гипотетический родитель своим гипотетическим поведением равную свободу не своего ребёнка, а других членов общества. Я подчеркнул: не своего ребёнка. Почему? Да потому, что явно и несправедливо и по самой сущности невозможно, чтобы отношения между родителем, независимым и отвечающим за себя индивидом, и ребёнком, зависимым и неответственным индивидом, характеризовались принципом равной свободы. Но в развитии этого ребёнка, ко-

торый в будущем должен перейти от положения зависимости и неответственности к положению независимости и ответственности, заинтересованы и другие члены общества. Именно из этой заинтересованности и возникает сразу вопрос, не нарушает ли родитель, ухудшающий условия развития своего ребёнка, равную свободу этих зрелых индивидов, интересы которых это развитие несомненно затрагивает.

Но *Liberty* уже неоднократно указывала, анализируя природу нападения, что есть поступки, носящие явно агрессивный характер, и поступки, явно не агрессивные, и что, хотя оба эти класса и обнимают собой значительную часть человеческого поведения, но они отделены друг от друга не резкой и устойчивой разграничительной линией, а неясной полосой колеблющегося света, которая рядом незаметных переходных ступеней приближается к обоим этим классам, принимая вместе с тем и более явственные очертания. В этой то более, то менее смутной полосе и находится то меньшинство человеческих поступков, которое даёт повод к возникновению большинства наших политических разногласий, а в самой гуще её мрака спрятано поведение родителя по отношению к детям.

Итак, мы не можем ясно квалифицировать дурного обращения родителя с ребёнком, как поступок, носящий характер агрессивный или неагрессивный по отношению к свободе третьих лиц. В виду такого затруднения, мы должны обратиться к той политике, которую анархизм предлагает для решения сомнительных случаев. Так как я не могу охарактеризовать эту политику лучше, чем я её уже охарактеризовал, то я позволю себе процитировать свои собственные слова из 154-го номера *Liberty*.

«Итак, всегда свобода, говорят анархисты. Не применять силы иначе, как против нападающего; а в тех случаях, когда трудно решить, является ли данный обидчик нападающим, или нет, всё же не применять силы, если только необходимость немедленного решения столь настоятельна, что сила нужна для спасения жизни. И в тех немногих случаях, когда сила необходима, будем применять её прямо и открыто, признав её

необходимостью и не пытаюсь согласовать наши поступки с каким-нибудь политическим идеалом, либо строить искусственные теории государства и коллективности, имеющих большие права, чем индивиды или соединения индивидов, и свободных от подчинения нравственным началам, соблюдение коих требуется от индивидов.»

Другими словами, те из нас, кто верит в то, что свобода – великий воспитатель, «мать порядка», те в случае сомнения отдадут предпочтение свободе, невмешательству, если только не ясно с самого начала, что невмешательство повлечёт за собой немедленно определённое бедствие, если и не непоправимое, то во всяком случае слишком серьёзное для того, чтобы его терпеть.

Приложив это правило к рассматриваемому нами теперь вопросу, мы сейчас же ясно увидим, что физическая сила не должна быть применяема к такому дурному обращению с детьми, которое влечёт за собой их умственную и нравственную приниженность, так как последствия такого обращения более или менее отдалённые. Наоборот, дурное обращение с детьми в смысле их физического изувечения, если только оно достаточно серьёзно, может вызвать применение физической силы.

Своему вопрошателю я ответил бы следующим образом. Если он настаивает на форме своих вопросов «справедливо ли?» и т. д., то я совсем не могу ответить на них. Ибо я не могу решить, справедливо ли вмешательство, не решив раньше того, имеется ли в данном случае нападение или нет. Но если бы он, вместо «справедливо ли?», спрашивал в каждом отдельном случае «согласно ли с политикой анархизма», то я дал бы ему на его вопросы следующие ответы.

1. Да.
2. Да, в достаточно серьёзных случаях.
3. Нет.
4. Нет.

5. Нет.

Отношения между родителями и детьми

(*Liberty* 3 сентября 1892 г.)

Разумность поступков оценивается по их последствиям. Оценка индивидом последствий пропорциональна широте его кругозора. А его горизонты могут быть так тесны, что он может оценивать только ближайшие последствия. Но, тесны ли его горизонты или широки, он, во всяком случае, может судить только о таких последствиях, которые близко или отдалённо затрагивают его самого. Он может ошибаться в своих суждениях, но их мотивация всегда носит один и тот же характер, всё равно, сознательны ли они или нет.

Мотивация эта по необходимости эгоистична, так как никто преднамеренно не выберет несчастья, когда счастье вполне доступно. Так как поступки всегда проистекают или из стремления к счастью, или вызываются увеличением несчастья, или безразличны в отношении к этим двум мотивам, то тот, кто располагает достаточной рассудительностью для того, чтобы определить вероятные последствия, и имеет возможность выбирать среди них, несомненно предпочтёт тот ряд поступков, который в конце концов ускорит его собственное счастье.

Закон равной свободы, гласящий, что «каждый свободен поступать, как ему угодно», кажется мне основным условием счастья. Если я не прибавляю к этому условию всех выводов из знаменитого закона равной свободы Герберта Спенсера, то я рискую только быть ложно понятой теми, кто не может понять, что ясное утверждение чего-нибудь включает в

себя и все его последствия, и что, поэтому, если бы кто-либо нарушил свободу другого, то все не были бы равно свободны.

Свобода без разума постоянно стремится к своей собственной гибели и, наоборот, непрерывно восстанавливается познанием затруднений, связанных с её осуществлением.

Разум без свободы есть только возможность, гнездо невысиженных яиц.

Прогресс, поэтому, предполагает союз между разумом и свободой: свобода – для деятельности, разум – для руководства поступками.

Равная свобода есть основное условие счастья.

Разум есть основное условие равенства в свободе.

Свобода и разум, воздействуя друг на друга, порождают развитие, рост.

Следовательно, рост и счастье должны рассматриваться если не как настоящие синонимы, то почти как неотделимые одно от другого понятия.

Там, где равная свобода является невозможной вследствие несоответствия ступеней развития, там вся надежда высших единиц заключается в воспитании низших.

Дети вследствие своего невежества служат элементами дисгармонии, являются препятствием для равной свободы. Ускорить процессы их развития, значит содействовать уравниванию социальных сил.

А так как свобода есть существенное условие развития, то детям должна быть предоставлена такая мера свободы, которая совместима с их собственной безопасностью и свободой других.

Вот в этом месте моего рассуждения для меня возникает трудность, которую я откровенно признаю. Как только я дошла до последнего вывода, предомной словно открылся ящик Пандоры, из которого

повыскакивали всевозможные вещи, кроме, однако, вполне сложившегося мнения.

Кто должен решать о допустимой степени свободы? Кто должен соразмерять свободу ребёнка с его безопасностью так, чтобы оба элемента сочетались в осторожной гармонии?

Трудность всех этих вопросов безгранична. Они вызвали споры, терзающие всех – и философов, и скромных искателей истины.

Христиане уклоняются от их мучительного исследования. Их вера в правителей упрощает все жизненные отношения. Им не нужно согласовать своего поведения с принципом равной свободы, так как не свобода, а повиновение служит фундаментом их идеального общества.

Я ещё могу допустить, что в младенческом, а до некоторой степени и в отроческом возрасте ребёнка, другие должны решать за него, что ему необходимо для его благополучия.

Человеческое дитя – это беспомощное до жалости и невежественное животное. Оно даже не знает, когда оно голодно; в материнской груди оно ищет прибежища от всякого физического нездоровья. Мать или кормилица неизбежно должны, поэтому, сами определять за него даже количество пищи, которое оно может принять без вреда для своего здоровья, даже промежутки времени, которыми должны отделяться приёмы пищи. Всем известно, что суждения об этом матерей или кормилиц далеко не безошибочны. Одна мать, имевшая пять живых детей, признавалась мне, что она потеряла одного своего ребёнка потому, что морила его голодом: её молоко, как она потом узнала, оказалось лишь немного более питательным, чем вода.

Когда младенец подрастёт, он всё ещё не знает, например, опасности прикосновения к раскалённому

докрасна камину. Да откуда ему знать? У него ведь не было опыта. Мать инстинктивно бережёт его нежную, белую ручку. Но разумно ли поступает она, налагая такое ограничение на ребёнка? Я думаю, что нет. Если между ребёнком и опытом всегда будет стоять на страже штык часового, то ребёнок может развиваться только тайком. Я намеренно употребила выражение «штык часового», так как рука, поставленная в качестве преграды между ребёнком и камином, нередко подкрепляется ударом, который причиняет больше страданий, чем самый ожог, тогда как его экспериментальная ценность представляет собой отрицательную величину.

Теория, гласящая, что родители обязаны заботиться об удовлетворении потребностей своих детей, а дети обязаны повиноваться своим родителям и поддерживать их в старости, так общепринята, что я, наверно, вызову бурю негодования своим утверждением, что не существует никаких таких обязанностей.

Беглое рассмотрение вопроса, по-видимому, приводит к тому выводу, что отказ родителя поддержать своего ребёнка есть отрицание равной свободы. Но более тщательное исследование показывает, что до тех пор, пока родитель не мешает ничьей деятельности и не принуждает какое-либо другое лицо или лиц взять на себя задачу, которую он оставил, до этих пор нельзя сказать, что он нарушает закон равной свободы. Его товарищи по ассоциации не могут, поэтому, принуждать его заботиться о своём ребёнке, хотя они и могут посредством применения силы помешать его нападению на ребёнка. Они могут предупреждать поступки, но не могут принуждать к совершению действий.

Здесь, быть может, уместно будет поставить вопрос, который, несомненно, задаст читатель при прочтении этой статьи.

Не является ли нападением со стороны родителей давать жизнь ребёнку, заботиться о котором они неспособны или не хотят?

Многое можно сказать против этого.

Во-первых. Во всякой ассоциации возникли бы разногласия насчёт того, является ли это нападением или нет. А разногласия повлекли бы за собою сомнения. Последние же сделали бы насильственное вмешательство, если и практичным, то зато несправедливым.

Во-вторых. Эти сомнения усилились бы тем соображением, что никто не мог бы с уверенностью предсказать за девять месяцев до рождения ребёнка, что в момент его рождения его родители будут неспособны доставить ему средства к существованию.

В-третьих. Сомнения эти нашли бы себе подкрепление ещё и в том убеждении, что смерть всегда открыта для тех, кто считает свою жизнь невыносимой, и что, пока люди стараются продлить свою жизнь, они не могут жаловаться на тех, кто им её даёт. Младенец не спрашивает, течёт ли молоко, которым он питается, из груди матери или из вымени коровы. А если вместе с просветлением разума он почувствует в своих отношениях к окружающей среде, что ум его расстроен, а тело никуда не годно, то он научится искусству умирать.

Но, открыв пучину, поглощающую долг, сумею ли я ослабить ужас тех, кто заменил преклонением перед долгом преклонение перед другим невещественным богом?

Мне всегда казалось, что, вообще говоря, любовь людей к своим детям обратно пропорциональна их любви к богу и долгу. Как бы то ни было, но у нас ещё остаётся уверенность, что растущее умственное развитие будет всё более побуждать индивидов встречать лицом к лицу последствия своих собствен-

ных поступков, и не в силу долга, а с целью помочь установлению и сохранению той социальной гармонии, которая будет необходима для их собственного счастья.

Даже при тех полу-варварских условиях, в которых находятся в настоящее время отношения к детям, совершенно исключительно и необычно, чтобы родители бросали своих детей. Те же две главнейшие побудительные причины, которые вызывают это явление, будут устранены социальной эволюцией, которая сделает самое обсуждение обязанности родителей заботиться о своих детях занятием чисто абстрактным и совершенно бесполезным, так как никто не будет отказываться от такой заботы.

Этими двумя причинами являются бедность и боязнь пересудов общества. Женатые родители бросают иногда своих детей потому, что у них нет достаточных средств к существованию. Неженатые не только иногда оставляют своё потомство, но и не признают его своим для того, чтобы избежать злословия неинтеллигентных людей, которые полагают, что порок может стать добродетелью от молитвы священника и, наоборот, добродетель – пороком от отсутствия нескольких чудодейственных слов.

Признание закона равной свободы почти совершенно устранил первую причину, сделает вторую более выносимой и в конце концов уничтожит обе, не оставив родителям никакого мотива для оставления своих детей.

Всем известно, что родители обыкновенно находят удовольствие в заботах о благосостоянии своих детей. Даже привычки низших животных дают достаточно доказательств для установления незыблемости этого положения. Постулируя последнее, для удобства изложения, в качестве общего принципа, я приступаю к рассмотрению того, насколько родители могут нера-

зумными поступками вредить осуществлению своих собственных целей.

Пища – первое (ибо она есть необходимое) условие благополучия. Но неразумное и неразборчивое питание влечёт за собою ежегодно тысячи смертей и кладёт начало хроническому бессилию миллионов молодых желудков.

Одежду также можно считать необходимой, и она действительно является таковой в суровом климате. Первоначальная цель покрытия тела заключалась, несомненно, в стремлении доставить телу некоторые удобства. Однако, она обыкновенно почти совершенно забывается, благодаря стараниям сообразоваться с общепринятыми идеалами красоты, часто требующими резких отступлений от естественных форм.

Потребность в крове часто сопровождается такой чрезмерной неприязнью к свежему воздуху, что нарушается равновесие между комнатной жизнью и пребыванием под открытым небом.

Но самые смелые искания и вместе с тем самые ужасные крушения и неудачи можно встретить в области образования.

Ребёнок приходит в незнакомый ему мир. Его плохо видящие глаза не могут различить, что ближе: зажжённая свеча на столе или луна, которую он видит через окно. Он до тех пор не знает, что апельсин шире ладони его крошечной ручки, пока повторными усилиями схватить апельсин не убедится в этой истине. Ему нужно научиться всему: познать идеи и пространства, и веса, и теплоты, и влажности, и сопротивления, и тяготения, – одним словом, познать все вещи в их взаимоотношениях и их отношениях к нему самому. И с каким трудом и какими путанными дорогами он приходит, наконец, к истине!

Его учат тому, что бог посылает дождь, град, что снег падает с неба, что его маленькую сестру

принёс с неба ангел и положил в докторский мешок. Родственная связь между ею и им сама остаётся для него тайной. Повсюду скрывается антропоморфизм. Невидимая рука движет всеми вещами. Он ставит много вопросов, на которые его учителя не могут ему дать ответа, и, не желая сознаваться в своём невежестве, они постоянно повторяют: «это сделал бог», словно это ответ.

Помимо своих безуспешных расспросов об естественных явлениях, ребёнок, быть может, смутно замечает, что него есть какие-то отношения к государству. Но подобно тому, как в области философии и науки перед ним стоял бог, так и здесь все ответы на его расспросы сводятся к всемогущему правительству.

– Почему никто не мешает человеку со звездой поднимать свою дубинку против другого человека?

– Потому что он полицейский.

– Кто же сделал так, что полицейский может бить людей?

– Правительство.

– Что такое правительство?

– Правительство это... Подрастёшь, сынок, узнаешь.

– Кто платит полицейскому за то, чтобы он бил своей дубинкой других?

– Правительство.

– А откуда правительство берёт деньги?

– Вырастешь, узнаешь.

Когда ребёнку минет шесть лет, а иногда и раньше, неспособные родители обыкновенно фактически перестают воспитывать его и вверяют его воспитание церкви и государству.

Государство пользуется деньгами, награбленными у родителей, для того, чтобы посредством воспитания их детей в духе, отвечающем его собственным

интересам, закрепить свои грабительские полномочия.

Церковь также пользуется своей мощью для увековечивания своей власти. И этим двум пиявкам, как их метко назвала «Ouida», этим глубоко эгоистичным грабителям и убийцам вверяются для воспитания нежные души детей!

Герберт Спенсер показал, что положение женщин и детей улучшается вместе с ослаблением милитаризма и развитием индустриализма.

Военный дух поддерживается и церковью, и государством самыми разнообразными способами. И маленькие дети в своём жалком невежестве попадают в расставленные сети, которые сведут с истинного пути их доверчивые души.

Дух подчинения вкореняется в умы детей и церковью, и государством. Оба они смотрят без порицания на бесчеловечность власти и вмешиваются лишь в случаях чрезвычайной жестокости. Оба они учат свои беспомощные жертвы тому, что повиноваться – их обязанность.

Самые распространённые положения этих самовластных учреждений показали бы нелепыми и ужасными неподготовленному к ним уму взрослого человека, если только очистить их от всех тех словесных прикрас, при помощи которых мы смягчаем жестокую правду из различных соображений стыда, добродушия, невежества или обмана.

Скажите такому человеку:

«Убийство, совершённое государством, похвально; убийство же, совершённое индивидом, преступно.

Грабёж, совершаемый государством, позволителен; грабёж же, совершённый индивидом, есть серьёзный проступок против ограбленной личности, а также и против общественного блага.

Нападение родителя на своего ребёнка закононо; нападение же ребёнка на родителя недопустимо.»

И он не посмотрел бы на вас с простой доверчивостью недоумевающего ребёнка, который приписывает все эти явные несообразности слабости своего собственного разума.

Ребёнку же эта запутанная социальная софистика, внедряемая в его ум лицами, апеллирующими к его доверию, и выраженная в двусмысленных словах, ещё усиливающих трудность их понимания, должна казаться каким-то безвыходным и таинственным лабиринтом.

Таким образом, развитие ребёнка подрывается на каждом шагу, с самого младенчества вплоть до возмужалости, неспособностью тех, кто желает его благополучия.

Унаследованные склонности и воспитание, полученное самими родителями, делают их неумолимыми господами, навязывающими детям, которых легче всего поработить, большую часть их поведения.

Родители бьют своих детей, старшие дети бьют своих младших братьев и сестёр, а малютки в отместку за нанесённые им обиды бьют свои куклы и деревянных лошадок.

Благодаря индивидуальным возмущениям против всеобщего варварства, возмущениям, всё учащаемся и усиливаемся, человечество постепенно освобождается от фактического применения своих диких принципов. Но эти возмущения против жестокости, если они вызываются чувством, часто оканчиваются почти так же печально, как и сама жестокость.

Разум должен лежать в основании всякого прочного социального прогресса.

Когда разум научится восставать против неравенства в свободе, и когда это возмущение человеческого

ума станет вполне всеобщим, только тогда люди будут вне опасности возврата к состоянию варварства.

Тогда отношения между родителями и детьми не будут отношениями господ и рабов, отношениями, омерзительными для разумного человека. Родители и дети станут друзьями. Тогда не будут налагаться никакие стеснения, кроме абсолютно необходимых, а эти последние не будут носить характера ударов и будут устранены, как только это станет возможным.

В качестве примеров подобных стеснений я могу привести такие случаи.

Удерживать ребёнка, стоящего на краю пропасти, или перед открытым колодезем, или при приближающемся локомотиве; помешать детям бить друг друга.

Результаты, достигнутые в деле воспитания родителями, признающими основным принципом счастья свободу и разум, будут всецело зависеть от того, насколько им удастся построить свою жизнь в гармонии с этим принципом. Чем развитее будет их разум, тем большего совершенства достигнут они в истолковании и применении закона равной свободы и в подготовке своих детей к установлению гармоничных отношений к окружающей среде.

Ещё об отношениях между родителями и детьми

Как сделать из детей лгунов?

Я говорила выше, что дети должны учиться всему. Казалось бы, что совершенно излишне вторично указывать на это всем хорошо известное обстоятельство. И это было бы в действительности так, если бы большинство людей не предполагало у маленьких детей наличности гораздо больших знаний, чем они могут их приобрести в течении данного времени. Я слышала – и не один раз, – как матери обвиняли

маленьких детей в лживости; я лично, между тем, вполне уверена, что их явно лживые утверждения вызваны отчасти плохим пониманием языка, на котором малютки пытаются говорить, отчасти ошибочным толкованием фактов. Даже взрослые люди не смотрят на самое простое явление с одной и той же точки зрения. Но от детей они почему-то ждут совершенной точности, а разочаровавшись в своих неразумных ожиданиях, обвиняют их в лживости. Нередко они даже доводят детей до признания ими своей вины, что в действительности не имеет уже никакого смысла в виду их ещё смутного сознания. Но после того, как ложь уже приобрела некоторое значение для молодого ума, последний становится безразличным к правде, так как он находит, что наказание получается одно и то же, высказывает ли он правду или ложь.

Таким образом ребёнок становится лгуном, благодаря невежественным стараниям его родителей научить его уважать правду.

Но ещё худшие ошибки делают те родители, которые в своих ежедневных разговорах с детьми дают примеры неправды. Кто не был напуган в детстве сказками о привидениях, о бабе-яге с её клюкой, рассказами о китайце, о чёрном человеке, – всевозможными историями, утраивающими наносимый ими вред тем, что воспитывают трусость, классовую ненависть, ложь?

Как научить ребёнка воровать?

Тщательно запирайте от него все фрукты и сладости. Не давайте ему денег на личные расходы. Если вы затеряли какую-то вещь, обвините его в том, что он взял её. Если вы посылаете его за покупками, подозрительно пересчитывайте сдачу, когда он вернётся. Если он потерял несколько копеек, обвините его в том, что он истратил их на конфеты.

Если вы никогда не покупаете ему конфет, то это научит его самостоятельно добывать их, и тогда ваше следующее обвинение будет, вероятно, справедливо.

Бейте детей, и они научатся бить друг друга. Браните их, и они научатся ругаться. Давайте им барабаны, флаги, мундиры и игрушечные ружья, и они захотят сделаться профессиональными убийцами. Вскрывайте их письма, прислушивайтесь к их разговорам с их молодыми друзьями, старайтесь раскрыть их маленькие секреты, входите в их комнаты, не постучав предварительно, – и вы сделаете их надоедливыми и неприятными людьми.

Я говорила уже, что слушаться родителей или заботиться о них в старости совсем не составляет долга детей.

Следующие соображения говорят в пользу этого положения.

Жизнь ребёнка обыкновенно является исключительным результатом стремления его родителей к наслаждению и часто глубоко оплакивается обоими родителями. Даже когда зачатие желательно для родителей, оно всё-таки совершается для их удовольствия. Если бы было возможно – чего, на самом деле, нет, – зачать данного ребёнка исключительно для его собственного счастья, причём его родители не черпали бы никакого наслаждения ни в половых сношениях, ни в надежде на потомство, то и в этом случае на ребёнке не лежало бы никакой ответственности за мнения и поступки его родителей.

После своего рождения дитя ведь не говорит своим родителям следующее:

«Дайте мне теперь пищу, одежду и кров в обмен на ту пищу, одежду и кров, которые я дам вам, когда вы состаритесь». И если бы ребёнок и мог заключить подобный договор, он был бы недействителен. Ибо

человек не может обязываться обещаниями, данными им в детском возрасте.

Вопрос о послушании я оставляю в стороне, так как высокоразвитые родители не могут желать того, чтобы им повиновались, раз они не хотят повелевать.

После тщательного размышления отказ от идеи долга не будет считаться столь ужасным, каким он должен был сперва казаться тем, кто усвоил без колебаний догму власти. Мистер Кауэлл обратил моё внимание на то обстоятельство, что любовь, которую большинство людей питает к своим настоящим или приёмным родителям, доказывает, что лишь у немногих людей совершенно отсутствуют склонности к любви. В течение долгих лет совместной жизни родителей и детей, между ними устанавливаются обыкновенно узы, которые не могут быть разбиты, пока продолжается жизнь, – и это узы не долга, а привязанности. Эти последние делают взаимную помощь источником удовольствия. Если же их нет, то уважающий себя родитель скорее предпочтёт кров богадельни тому вынужденному милосердию, которое его ребёнок окажет под влиянием веры в свой долг.

Клара Диксон Дэвидсон

Принудительное воспитание и анархизм

Liberty 3 сентября 1892 г.

К редактору Liberty.

При чтении вашей блестящей статьи по вопросу, название которого выписано мною выше, мне пришли в голову некоторые соображения, которыми я решил поделиться с вами в надежде, что они могут служить дополнением к тому, что вы сказали, отвечая на

метко поставленные вопросы вашего схоластического друга.

Я не могу не полагать, что ваш друг имел в виду именно неанархический порядок вещей, когда ставил свои вопросы. Почему обязательное обучение в настоящее время в большом ходу? Для кого оно предназначено? Если бы общество состояло из зажиточных людей, пользующихся всеми теми удобствами, преимуществами и возможностями цивилизации, которыми в настоящее время пользуются только немногие, то разве возникла бы даже мысль о законном принуждении в деле воспитания и образования детей, не говоря уже о проведении такого принуждения в жизнь? И разве законы, регулирующие обязательное обучение, прилагаются на практике к классам имущественно более состоятельным, чем то большинство, в интересах (?) которого эти законы, как предполагается, и были изданы?

Я впал, как видите, в тот же «вопросительный» стиль, в котором обратился к вам и наш друг. И вполне уместно было бы обратиться и к нему с вопросами, хотя и не беря на себя функций отца-исповедника, если бы он, думая о предмете, который формулировал в пяти пунктах, не имел в виду – правда смутно и даже бессознательно – типичного раба заработной платы, плохо оплачиваемого, невоспитанного и необразованного; жертву насильственных ограничений и оупляющих узаконенных условий жизни, какого-нибудь мужчину или женщину без образования, с ограниченным умственным кругозором и ненормальной нравственной натурой, этими результатами жизненных условий, созданных насильственной тиранией; – одним словом, если бы он не имел в виду родителей, чьи эгоистические инстинкты и противообщественные поступки являются непосредственным продуктом многих веков узакон-

ненного угнетения. Только к таким личностям могли относиться предпосылки, лежащие в основе его вопросов.

Если и наш друг ясно понимает значение поставленных выше вопросов и, следовательно, отвечает на них к нашему общему удовольствию, то он, я думаю, снимет свои последние три вопроса, как излишние и неприложимые к условиям истинно анархического общества. Мне кажется совершенно неразумным прилагать анархические принципы к определённым социальным отношениям, возникающим в свою очередь из других социальных отношений, не стараясь в то же время свести эти отношения к их первоисточникам и не определяя их значения для прогресса свободы – анархии. Я не остановился бы перед осуждением некоторых видов принудительного вмешательства, которые в действительности являются попытками *улучшения* условий, порождённых нападением ещё более вредным, чем это вмешательство. Но с тем большей силой я напал бы на основные и жизненные нарушения закона равной свободы. Я, поэтому, вполне согласен с редактором *Liberty*, когда он отвечает тремя «нет» на последние три вопроса, и не только по тем основаниям, которые излагает он, но и потому, что думаю, что экономическое освобождение, которое явится результатом принятия анархии, как основного метода в общественной жизни, быстро разрешило бы все такие проблемы, отослав их в музей древностей дореволюционной эпохи.

Из чувства симпатии, сочувствия и гуманности, которое в царстве равной свободы будет, вероятно, сильнее и благороднее, чем в настоящее время, я не колебался бы *действовать* при тех обстоятельствах, которые предполагают первый и второй вопросы. Но такое моё действие, конечно, не было бы продиктовано только теорией анархизма, но было бы

таким же его нарушением, каким был бы и отказ от вмешательства в подобных случаях.

Несомненная тенденция к установлению анархии свела бы, впрочем, до минимума возможность такого противообщественного поведения, если не уничтожила бы его совершенно.

С товарищеским приветом

Уильям Бэйли.

Дети и анархия

Liberty 3 сентября 1892 г.

Почти весь этот выпуск *Liberty* посвящён важному вопросу о положении детей при анархии. Длинная статья Клары Диксон Давидсон лежала несколько месяцев в моей конторке нетронутой. Прочитав её на днях, я был восхищён и поражён тем, что женщина смогла написать такую смелую, свободную от предрассудков, несентиментальную и вполне здравую статью по вопросу, который женщины склонны трактовать с особенной чувствительностью. Я был даже пристыжён немного той решительностью, с которой она устраняет из проблемы мнимое право ребёнка на жизнь. Боюсь, что обуревавшие меня сомнения проистекали в значительной степени от ещё оставшихся во мне следов этого предрассудка. Факт тот, что дитя, как и взрослый человек, совсем не имеет никакого права на жизнь. В царстве равной свободы, развивающей индивидуальность и независимость, ребёнок защищён от посягательства или нападения, – вот и всё. Если родитель не заботится о нём, то этим он ещё никого не обязывает поддерживать его. Если же другие оказывают ребёнку такую поддержку, то делают они это по своей доброй воле, подобно тому, как они подобрали бы какое-нибудь заброшенное животное. Они столько же обязаны сделать это в первом случае, как и в последнем.

Соображения товарища Бэйли я также считаю важными для обсуждаемого нами вопроса. В одном отношении вопрос о положении детей при анархии является действительно простым. Во-первых, привидения, его окружающие, суть лишь гипотетические чудища; а, во-вторых, безобразная действительность, усложняющая вопрос в настоящее время, будет сметена с лица земли новыми социальными условиями, которые принесёт с собой анархия. Даже в настоящее время относительно немногие родители расположены злоупотреблять своим правом над детьми или бросать их на произвол судьбы. Когда же исчезнут бедность и ошибочные понятия о добродетели, число их будет столь бесконечно мало, что им можно будет вполне свободно пренебречь. Вопрос, таким образом, испаряется, как только мы подходим к нему поближе.

Но главная ценность обсуждения заключается в том свете, который он проливает на проблему равной свободы. Я был, поэтому, рад, когда вопрос этот был поднят моим другом, школьным учителем, на вопросы которого я ответил в 232 номере *Liberty* и который теперь возразил мне следующим письмом.

Редактору Liberty.

Из вашей статьи я сделал вывод, что анархическая политика разрешает соседям вмешаться, когда родитель собирается отрубить третий палец с левой руки своего ребёнка, и сделать это даже в том случае, если родитель обещает хорошо залечить изуродованную часть руки. Смею думать, что вы достаточно рассудительны для того, чтобы утверждать, что анархической политике противоречит вмешательство соседей в том случае, когда родитель, вообще человек с вполне здравым умом, вздумает обойтись подобным же образом и с своим собственным пальцем. В чём же заключается критерий поведения в этих двух случаях? Почему физическая неприкосновенность ребёнка должна иметь для соседей большее значение, чем физическая неприкосновенность отца? Не признаём

ли мы этим самым наличием какого-то другого принципа, заменяющего закон равной свободы или действующего рядом с ним и ограничивающего абсолютную власть родителя над умом, телом и жизнью своего ребёнка? Конечно, «не ради самого ребёнка», так как всякий разумный альтруизм основан на эгоизме. Но в полном согласии с анархической политикой, которой нисколько не противоречит признание и защита в крайних случаях права детей на физическую неприкосновенность.

С другой стороны, те основания, по которым анархическая политика допускает вмешательство только в случае дурного физического обращения, заключается, если я их правильно понимаю, в том, что невмешательство имело бы в таком случае своим последствием несчастье, слишком большое для того, чтобы его терпеть; несчастье, которое было бы нападением на равную свободу взрослых соседей, – но, повторяю, всё это только в случае дурного физического обращения. Именно на этих соображениях основывается то общее правило, что физическая сила не должна применяться соседями в случае такого дурного обращения родителей с детьми, которое влечёт за собой их умственное или нравственное уродство. Но мне кажется, например, очевидным, что это правило и его основание не могут быть приложены к приведённому мною выше примеру дурного физического обращения, также как и к следующему случаю умственного и нравственного калечения ребёнка. Родитель, намеренно губя будущее своего ребёнка, окружает его соблазнами, развивающими развращённость, так что ко времени своей возмужалости ребёнок непременно должен стать слабоумным. И мне кажется, что такое поведение родителя более опасно для взрослых соседей, чем даже, скажем, отнятие у ребёнка глаза.

Чтобы ещё яснее выразить свою мысль, я формулирую закон равной свободы следующим образом:

Каждый индивид имеет право и должен развивать заложенные в нём способности.

Вывод I. Каждый индивид должен удерживаться от посягательства на права другого.

Вывод II. Каждый ребёнок имеет право на такую жертву со стороны своих родителей, которая даёт ему возможность достичь зрелости.

Я заявляю, далее, что вполне согласно с политикой анархизма применять физическую силу для предупреждения нарушений обоих выводов из этого закона, если только эти нарушения ясны и неопровержимы. Эгоистическое же обоснование принуждения к исполнению второго вывода заключается, как это предполагает и ваша статья в том обстоятельстве, что его нарушение взвалит на плечи других неблагоприятные последствия неправильного родительского поведения.

Не всегда возможно применить к жизни теоретические выводы науки. Однако, это не должно удерживать её поборников от попыток формулировать и доказать возможно полнее научные выводы. В обсуждаемом нами вопросе мы сталкиваемся с одной из самых важным проблем социальной этики. Если формулировка сделанного мною выше второго вывода не точна, то я прошу вас, как моего первого учителя по данному вопросу, указать, в чём именно заключается её неточность и почему она неточна. Если же вывод этот точен, то он даёт столь же твёрдое и ясное основание для установления отношений между семьёй и обществом, какое даёт закон равной свободы для самого общества. И мы можем тогда спокойно приняться за составление тех своеобразных уравнений, которые представляют собой некоторые фазы попечительства о детях.

Г. В. Э.

Мой друг не понял меня. Если вмешательство третьих лиц может быть оправдано, то не потому, что физическая неприкосновенность ребёнка важнее физической неприкосновенности увечящего самого себя родителя, а потому, что ребёнок есть будущий суверенный индивид. Человек, изувечивающий самого себя, ни в малейшей степени не нарушает равной свободы; но родитель, изувечивающий своего ребёнка, делает нападение на существо, которое, хотя ещё и ограничено в своей свободе, благодаря своей подчинённости, однако с каждым днём растёт в своей независимости, которая поставит, наконец, его свободу на равную ступень со свободой других. В колеблющейся стадии детства необходимость должна решить уместность вмешательства, так как, поскольку мы можем предвидеть это в настоящее время, принцип не может её определить. Необходимо остановить родителя, когда он хочет отрезать палец своему ребёнку, потому что опасность здесь непосредственна, а зло – несомненно и непоправимо. Но нет необходимости предписывать родителю те условия добродетельной жизни, которыми он должен окружить своего ребёнка, потому что опасность здесь отдалена (возможно, что родитель со временем изменит своё поведение), а зло – не несомненно (дитя часто оказывается достаточно сильным по своему характеру, чтобы побороть окружающие его условия), а результаты – не необходимы (позднейшие условия могут в значительной степени, если не совершенно, уничтожить их). В первом случае против физической силы необходимо применить физическую силу. В последнем случае разумнее и лучше бороться с моральной (или аморальной) силой моральной же силой. Боюсь, что мой друг ещё не настолько хороший анархист, чтобы оценить всё значение прудоновского изречения, что «свобода – мать порядка», и всю важность для воспитания не принуждения, свободы, везде осуществимой.

Не думаю, чтобы формулы моего друга были пригодны для научного пользования. Его положение, что «каждый индивид имеет право и должен развивать заложенные в него способности», слишком неопределённо для целей науки. Я не знаю, что

означает употреблённые в нём термины, и во всяком случае я отрицаю то право, которое в нём упоминается. Индивид имеет право развивать заложенные в нём способности, *если он может их развивать*. В противном случае, он такого права не имеет. Кроме этого права возможности ни один индивид не имеет ни на что права, если только он не создал себе права в договоре со своим соседом.

Не декрет, а пророчество

Liberty 28 апреля 1888 г.

Заблуждался ли я в своём анархизме, или ошибся редактор *Liberty*? Как бы там ни было, но против одного места из его в других отношениях блестящей статьи о «государственном социализме и анархизме» я должен протестовать. Если я ошибаюсь, я охотно выслушаю возражения. Место же следующее: «Они (анархисты) предвидят время, когда эти дети, рождённые из таких отношений, будут принадлежать исключительно матерям вплоть до того возраста, когда они смогут принадлежать самим себе».

Выраженная здесь мысль мне кажется произвольным утверждением, противоречащим не только принципам анархии, но и самой природе. Куда девалось предоставление надзора над детьми обоим родителям, дозволение им самим решать вопрос о том, оба ли они или кто-нибудь один из них будет иметь этот надзор?

Я могу и ошибаться, но мне кажется в высшей степени неанархичным устанавливать таким образом какое-то внешнее, авторитарное, нравственное обстоятельство и употреблять его для того, чтобы заглушать инстинкт, который природа всячески стремится развивать.

Неужели редактор *Liberty* забыл на минуту своё собственное учение о том, что мы должны следовать своим естественным склонностям? Но, быть может, я не понимаю его мысли или же неправильно прилагаю свои анархические убеждения?

Любовь отца к своим детям есть, за малыми исключениями, продукт относительно позднего развития в эволюции животного мира. Можно найти целые человеческие племена и даже отдельных индивидов среди цивилизованных наций, у которых нет этого чувства. Но именно то обстоятельство, что она есть продукт позднего развития, доказывает, что в будущем она ещё более разовьётся. При тех же благоприятных экономических условиях, которые установит воцарение анархии, чувство это вспыхнет с ещё большей силой. Разумно ли пытаться заглушать его – как будто оно может быть заглушено! – скоропалительно утверждая, что его объект должен принадлежать только одному родителю? Любовь матери к своим детям возвышает её характер, расширяет и обогащает её интеллект. И, поскольку я наблюдал, столь же благотворно, хотя и не тождественно, влияет на мужской ум и отцовское чувство, если только внять его голосу, удовлетворять и развивать его. Неужели отец должен быть лишён этого благотворного влияния? Зачем отымать у него заботу о своих детях, зачем вытравливать из его сердца сознание, что это – его дети, давая ему чувствовать, что они «принадлежат исключительно матери»? Мне кажется гораздо более разумным и естественным, что дитя анархических родителей принадлежит обоим им, если только оба они желают совместно надзирать за ним; если же они этого не желают, то пусть они решают сами, кому из них будет принадлежать этот надзор. Думаю, что вопрос этот может быть улажен совершенно мирно. Если же, благодаря каким-либо чрезвычайным

условиям, все усилия, направленные на его мирное разрешение, потерпели бы неудачу, и оба родителя одинаково сильно желали бы иметь у себя дитя, будучи в то же время равно компетентными в деле его воспитания, то в таком случае возможно, что те страдания, которые вытерпела мать при рождении ребёнка, дали бы ей некоторое преимущество. Оговариваюсь, впрочем, что я не чувствую себя убеждённым в том, что принцип этот – правилен и справедлив.

Я очень хотел бы узнать, не согласится ли со мной после некоторого размышления мистер Такер.

Ф. Ф. К.

Я принимаю вызов мистера Ф. Ф. К. и в защиту оспариваемой им мысли предлагаю передать те слова, в которых она выражена, на суд какого-нибудь всеми признанного авторитета английского языка. Пусть он решит, в самом ли деле в них содержится какой-либо авторитарный смысл. Ф. Ф. К., кажется, не понимает значения слова «shall» (должен, будет). Всякий сколько-нибудь приличный словарь или грамматика объяснит ему, что это вспомогательный глагол употребляется не только для выражения приказа, но и для выражения будущего времени. Предположите, что я сказал, что анархисты предвидят время, когда все люди будут честными людьми. Неужели Ф. Ф. К. заподозрил бы меня в том, что я желаю или предсказываю издание для этого специального декрета? Не думаю. Единственное заключение, которое можно было бы сделать, заключалось в том, что я считаю честность одним из тех начал, на которых человечество будет строить свою жизнь в один из будущих периодов. Почему же из подобного же выражения о надзоре за детьми можно было вывести, будто я предвижу нечто большее, чем всеобщее признание, при отсутствии договора, преимущества за притязанием матери; или чем отказ со стороны охранительных ассоциаций защищать чьё-нибудь другое притязание в спорных случаях, не предусмотренных

социальными договорами? Только это я и думал, только такой смысл имели и мои слова. Пророческий способ выражения, несомненно возник из наличности власти; но в настоящее время идея власти так далека от пророческой формы языка, что никто не обвинит философов и людей науки, которые пользуются этой формой, чтобы исходя из данной эпохи набросать будущую эволюцию человечества, в намерениях диктовать свою суверенную волю человеческому роду. Редактор *Liberty* почтительнейше извещает, что и он также может прибегнуть иногда к стилю прорицания, который довольно нередко употребляют, говоря о будущем, лучшие английские писатели, и надеется, что его на этом основании не упрекнут в том, будто бы он вещает с трона или возвышения.

Что касается обвинения в отступлении от принципов анархизма, то, думается, его можно с гораздо большим основанием направить против Ф. Ф. К., чем против меня. Предоставление нераздельного надзора над чем-нибудь более, чем одной личности, мне кажется решительным коммунизмом. Я вполне согласен с тем, что родителям нужно предоставить «решать самим, оба ли они или только кто-нибудь из них будет иметь надзор за детьми». Но если оба они настолько глупы, что решат *оба* иметь этот надзор, то дело, наверно, кончится правлением. Договор о совместном надзоре, заранее заключённый ими, в действительности не поставит ни одного вопроса в области надзора за детьми до тех пор, пока они не разойдутся между собой во мнениях. А в последнем случае совместный надзор логически невозможен. И смотреть за детьми будет либо один из них, либо они заключат между собой компромисс. Но в этом последнем случае каждый из них будет объектом надзора, подобно королю, сделавшему уступки народу, который одновременно и правит, и управляем, или подобно правящим и управляемым членам демократического общества. Свобода и индивидуализм здесь совершенно исчезли.

Мне было очень приятно узнать, что эволюция человечества ведёт к усилению отцовской любви, так как не в моих намерениях было уничтожать, заглушать или отрицать это в высокой

степени похвальное чувство. Совсем наоборот. Я полагаю, что в будущем его влияние на родителя и ребёнка будет и сильнее, и благоприятнее, чем когда-либо в прошлом. А в любви отца и матери к своим детям я вижу главное основание столь желательной гармоничной кооперации в деле руководства жизнью молодого поколения. Но для анархизма важный вопрос заключается в том, кому собственно принадлежит это руководство, когда такая кооперация оказалась невозможной. Если решение этого вопроса не было оговорено заранее в самом договоре, то его придётся решать третейским судом. А последний ведь будет решать, исходя из какого-нибудь принципа. По моему мнению, он признает, что надзор за детьми есть род собственности, и что высшее право труда матери обеспечивает за ней право попечения над своими детьми, если только она добровольно не отказалась от него. Если бы я, при моих теперешних взглядах, участвовал в таком третейском суде, то всегда подал бы своей голос в пользу матери.

Многие сторонники эмансипации женщины (впрочем, мистер не в их числе) готовы открыто поносить меня за это моё последнее мнение. Я же, наоборот, скорее ждал от них одобрения. Многие годы я слышал на их собраниях, выражения искреннего негодования на то, что за женщиной не признаётся право воспитывать и содержать своих детей, на то, что это право предоставляется ей лишь в качестве последней милости за уничтожение особенно упорного противника. Но я это право воспитывать и содержать своих детей признаю за ней безусловно. И вот, меня же проклинаят!

Анархия и обольщение женщины

(Liberty 10 марта 1888 года)

Journal of United Labor, орган благочестивого Паудерли и непорочного Литчмена, обрушивается на Liberty с грозным вопросом, сопровождая его градом восклицательных знаков и истеричными криками. «Неужели, – восклицает он, – анархия

требует свободы растлевать маленьких девочек!» Этот грозный вопрос предъявлен Liberty по тому простому поводу, что она охарактеризовала подавших петицию в Массачусетское законодательное собрание о повышении брачного возраста до шестнадцати лет, как «стадо надоедливых и жеманных женщин».

Я дам прямой и ясный ответ. Анархия не требует свободы растлевать маленьких девочек. Она требует свободы полового соединения с девушками, уже в течение нескольких лет перешедших за возраст женской зрелости, самой природой подготовленных к несению обязанностей материнства и даже признанных законом способными к выходу замуж и воспитанию семьи. Считать мужчину, чьё соединение с такой девушкой было санкционировано её свободным согласием и даже её страстным желанием, виновным в изнасиловании и подвергать его, поэтому, пожизненному заключению – значит совершать насилие, для которого даже целый поток восклицательных знаков был бы очень слабым оправданием.

Если в действительности есть такие матери, которые как это утверждает Journal of United Labor, смотрят на такое насилие, как на защиту от насилия, то он этим не только свидетельствует о собственном грубом неуважении к человеческим правам, но и о глупости своих дочерей и о своей собственной ответственности за воспитание, благодаря которому последние выросли такими глупыми.

«Имеет ли свободу дочь?» – допрашивает далее Journal of United Labor. Да, конечно. Порядок есть дочь свободы, признанная с самого начала. «Свобода есть не дочь, а мать порядка». Но совершенно излишне повышать брачный возраст в защиту дочери свободы. Порядок не боится никакого обольстителя. Когда все дочери будут иметь таких матерей, а все матери таких дочерей, то Labor of United Labor может сколько угодно считать их «Худшими из женщин» – власть обольстителя тогда исчезнет, всё равно, какой бы там не был брачный возраст.

Мистеры Паудерли и Литчмен считают Liberty позором для всей американской прессы за то, что она держится такого мнения и высказывает его. В действительности же они не

смотрят на неё таким образом . Но они очень озабочены тем, что чтобы завоевать одобрение общественного мнения и потому подслуживаются к народным предрассудкам. Они воспользовались словами Liberty, как удобным случаем для того, чтобы позировать в качестве поборников оскорблённой добродетели, и для этого постарались отождествить Анархизм с массовым обольщением невинных девушек.

Неудачная аналогия

Liberty 5 ноября 1887 г.

В Англии возник вопрос, имеет ли публика право подыматься на вершину Лэтрига в долине Кесвик. Публика настаивала на этом праве, а некоторые землевладельцы отрицали его. Возможно, что требование публики справедливо, но так как я не осведомлён об основаниях прав землевладельцев в этом частном случае, то я и не намереваюсь вмешаться в спор. Лондонская *Jus*, однако, обсуждала этот вопрос. И, если я ссылаюсь на неё, то только для того, чтобы показать ту непоследовательность, в которую впал этот журнал. Мистер Плимзол, защищающий требование публики, выставил, кажется, следующее положение: «что парламент дал, то он может и взять обратно». «Это неверно», заявляет *Jus*, и приводит в пример такой случай.

Предположите, что парламент пожаловал пожизненную пенсию какому-нибудь заслуженному генералу, и что следующий парламент совершенно иного состава отвергает это пожалование. Будет ли мистер Плимзол требовать, чтобы парламент имел в таких случаях право брать назад пожалование? Не думаю этого. Ни один честный человек ни на секунду не предъявил бы такого требования. Частные лица не считают себя вправе брать назад то, что они дали другим, не приводя никаких соображений в пользу такого своего поступка.

Совершенно верно, поскольку дело идёт о частных лицах. Но частные лица считают себя вправе взять назад то, что было отнято у них и дано другим. Если политическое общество или государство, принуждающее А принадлежать к нему и поддерживать его, ежегодно занимает определённую сумму у В и, чтобы покрыть этот долг, ежегодно же силою отбирает у А известную часть этой суммы, то, когда А делается достаточно сильным, он может не только отказаться от дальнейших ежегодных платежей В, но и взять назад у В всё то, что он вынужден был платить ему в прошлом. В настоящее время А, как только приобретёт достаточную для этого силу, обыкновенно не осуществляет своей претензии к В, а приступает к превращению других в поручителей за себя таким же самым образом, каким другие, когда они были в силе, делали его поручителем. Но этот факт, будучи явлением случайным, а не необходимым, не имеет никакого логического отношения к праву А возмещать свои убытки за счёт В. Из этого следует, что частные лица не могут считаться поручителями за ассоциацию, силой принуждающую их быть её членами. Стало быть, и парламент, представляющий волю большинства членов такой ассоциации, и большинства, по необходимости постоянно изменяющего свой состав, находится в совершенно ином положении, чем частные лица, в деле соблюдения или нарушения договоров.

Но согласимся на минуту с *Jus*, что парламент и частные лица находятся в этом отношении в одном и том же положении. Какой вывод делает из этого *Jus*? А она оказывается в согласии с мистером Плимзолом и Кексвикской публикой в их желании наслаждаться прелестным видом с Лэтрига. Оно полагает, что право доступа к этому наслаждению принадлежало первоначально им, и что, поэтому, чем скорее они восстановят это своё право, тем лучше. Но каким образом? Ведь *Jus* уже отвергла положение «то, что парламент дал, он может взять обратно». Она вынуждена, поэтому, обойти эту трудность и избрать следующий обходной путь.

Если парламент отдал частным лицам то, что должно было остаться в общественном владении для

общественного пользования и блага, и отдал на основании или без достаточных (или даже каких-нибудь) соображений, – то *пусть нация останется верной своему слову и выкупит отданное ей.*

Курсив последних слов мой. Не забывая о них, возвратимся к аналогии между парламентом и частными лицами. Считают ли себя частные лица в праве выкупать то, что они дали другим, на условиях, ими установленных, и не считаясь с тем, желают ли эти другие продавать или нет? Насколько я знаю, ни закон, ни политическая экономия не признают того, чтобы частное лицо, давшее другому вещь и впоследствии принуждающее его продать её ему обратно, было меньшим вором, чем в том случае, если бы оно отобрало вещь назад без всякого вознаграждения. О таком грабителе можно сказать лишь то, что он выказывает некоторое внимание к своей жертве. Если парламент и частные лица в действительности находятся в одном и том же положении, то откуда, спрашивается, *Jus* выводит право парламента принудительно выкупать то, что он отдал?

Jus прекрасная газета. Она блестяще и энергично защищает некоторые ступени индивидуалистического учения. Но она постоянно ставит себя в неловкое положение тем, что недостаточно последовательна в своём индивидуализме. Так, в данном случае она отрицает за государством право отнять у индивида без вознаграждения то, что государство дало ему, но в то же время признаёт за государством право принудить индивида продать ему то, что оно дало ему. Одним словом, *Jus* по своему направлению не анархична. Она не защищает свободы индивида во всём. Она поставила бы вмешательству в эту свободу более тесные пределы, чем те, которые ей обыкновенно ставят сторонники государства. Но в конце концов и она, подобно всем другим сторонникам правления, устанавливает эти пределы на основании произвольных принципов, предписывающих, что вмешательство должно совершаться только по тем методам и для тех целей, которые она одобряет, и исходя из точек зрения, совершенно чуждых вере в свободу, как в необходимое условие социальной гармонии.

Бойкот и его границы

(*Liberty* 3 декабря 1887 г.)

Лондонская газета *Jus* имеет неясное представление о бойкоте. «Каждый человек, – пишет эта газета, – имеет полное право отказаться от общения с другим человеком или классом, от которого он хочет держаться в стороне. Но где будет свобода, когда несколько человек сговорятся между собой оказывать давление на другого, с целью побудить его (посредством молчаливых или нашедших себе выражение угроз) также воздержаться от общения с бойкотируемым человеком? Разве бойкотируемый не имеет тогда законных оснований жаловаться на тех, кто преднамеренно исключает его из общества? Но, конечно, его жалоба может быть направлена только против тех, кто принуждает (по какой бы то ни было причине) третьих лиц поступать таким образом. В этом определении ответчика и лежит граница бойкота». Граница совсем не рациональная, прибавляю я от себя. Действительная граница бойкота идёт не в том направлении, в каком её пытается провести *Jus*. Она лежит не между вторыми и третьими лицами, а между угрозой нападением и угрозой остракизмом, которыми стараются побудить или принудить вторых или третьих лиц. Всякое бойкотирование, – безразлично, какой личности, – состоит или в выражении угрозы, или в её исполнении. Но человек имеет право угрожать тем, что он имеет право исполнить. Следовательно, граница справедливого бойкота определяется природой употребленной угрозы. Возьмём такой пример. Рабочие В и С имеют право перестать покупать башмаки у фабриканта А вследствие какой-нибудь причины или даже без всякого основания. Они, поэтому, имеют право и сказать А: «если вы не уволите работающих у вас не принадлежащих к союзу рабочих, то мы перестанем покупать у вас башмаки». Они имеют также право перестать покупать одежду у портного D. Они, поэтому, вправе сказать D: «если вы не присоединитесь к нам в наших стараниях побудить А уволить своих не принадлежащих к союзу рабочих, т. е. если вы не перестанете покупать у него башмаки, то мы не будем

покупать у вас одежду». Но В и С не имеют права сжечь лавку А или D. Они, поэтому, и не имеют права сказать А, что они сожгут его лавку, если он не уволит своих не принадлежащих союзу рабочих, или сказать D, что они сожгут его лавку, если он не перестанет покупать у А. Разве не ясно, что правомерность поведения В и С зависит исключительно от того, агрессивно ли их поведение само по себе или нет, а совсем не от того, является ли его объектом А или D?

Редкий случай, когда спор убедил

(*Liberty* 11 февраля 1888 г.)

«Одно слово о бойкоте. Несколько недель назад бостонская *Liberty* пожурила *Jus* за неправильное определение этого термина. «Действительная граница бойкота, – пишет *Liberty*, – идёт не в том направлении, в каком её пытается провести *Jus*. Она лежит не между вторыми и третьими лицами, а между угрозой нападения и угрозой остракизмом, которыми стараются побудить или принудить вторых или третьих лиц. Всякое бойкотирование, – безразлично, какой личности, – состоит или в выражении угрозы, или в её исполнении. Но человек имеет право угрожать тем, что он в праве исполнить. Следовательно, граница справедливого бойкота определяется природой употребленной угрозы». Эта точка зрения нам кажется вполне разумной, и, пока не доказана ей противоположная, мы предпочтём её тому критерию, который был выставлен нами раньше. В то же время мы не настолько убеждены в её безусловной правильности, чтобы закрыть глаза на то обстоятельство, что ещё многое можно сказать в защиту противоположного мнения. Ибо здесь затрагивается проблема преднамеренного уговора. А то, что является законным или даже справедливым по отношению к одной

личности, может стать и незаконным и нравственно несправедливым по отношению к множеству личностей». *Jus*.

Liberty поступила бы несправедливо по отношению к *Jus*, если бы не отдала должное той искренности, с которой эта газета признала своё заблуждение в вопросе о бойкоте. Однако, *Jus* полагает, что кое-что можно ещё сказать в защиту противоположного мнения. Она думает, что есть вещи, которые может правомерно совершать одна личность, но которые становятся незаконными и безнравственными, когда их совершает толпа. Я хотел бы, чтобы *Jus* привела какой-нибудь пример. Существуют такие агрессивные поступки или угрозы, которые не могут быть совершены индивидами, но требуют для своего осуществления собрания или, если хотите, преднамеренного уговора. Но вина в этих случаях проистекает всё-таки из агрессивного характера поступков, а не из факта уговора. Ни один индивид не имеет права совершить какой-нибудь агрессивный поступок, но всякое число индивидов правомерно может «сговариваться» для совершения поступка, по своему характеру не агрессивного. *Jus* признаёт правильность того соображения *Liberty*, что А имеет такое же право бойкотировать С, как и В. Я надеюсь, что дальнейшее размышление принудит её признать и то, что А и В имеют совместно такое же право бойкотировать С, какое они имеют каждый в отдельности.

Напиток, более вредный, чем алкоголь

(*Liberty* 13 августа 1887 г.)

Власть знания, тирания науки, предвиденная, отвергнутая и изболоченная Бакуниным, нигде ещё не нашла себе более грубого выражения, чем в статье Т. Б. Уэкмэна, помещённой в августовской книжке *Freethinkers' Magazine*. Автор статьи старается доказать, основываясь исключительно на научных данных, что алкоголь есть зло, которое нельзя ослабить, яд,

который не должен быть допущен в человеческом обществе. Мои познания в химии и физиологии слишком ограничены для того, чтобы я мог судить о научной ценности приведённых автором доказательств. Могу лишь засвидетельствовать, что они удивительно хорошо изложены, изумлённо убедительны, поразительно общедоступны и, если правильны, то очень важны. Они заслуживают, поэтому, возражения со стороны тех, кто достаточно компетентен, чтобы возражать на них, если только против них можно что-нибудь возразить. Надеюсь, что я ещё прочту такое возражение. Тогда я сравню его со статьёй мистера Уэкмена, и поступлю по своему разумению, если только мне позволят поступить подобным образом.

Дело в том, что, когда партия мистера Уэкмена придёт к власти, мне не будет дано такого права. Мистер Уэкмен, впрочем, весьма категорически заявляет, что этот «вердикт науки» может быть вынесен столь убедительным для всех образом, что он «сделается *личным* запретительным законом, которого ни один разумный человек не станет нарушать точно так же, как ни один разумный человек не перережет себе горла». Принудительное приведение в исполнение этого «вердикта» будет совершенно излишним, разве только по отношению к невменяемым личностям. Но затем мистер мистер Уэкмен утверждает, что на представителях закона (одним из которых является он сам) лежит обязанность надзирать за тем, чтобы производство, продажа и потребление алкоголя, в качестве напитка, были поставлены вне закона, лишены его защиты и запрещены подобно тому, как это сделано по отношению к мышьяку, и чтоб алкоголь продавался, подобно мышьяку, только под этикеткой яда. Довольно решительный быстрый способ, скажу я, пискать наукой глотки людей, любящих выпить стаканчик хорошего кларета! – Ах! – скажет мне мой читатель. – Вы забываете, что это принудительное воздержание будет проводиться только по отношению к невменяемым людям, вероятно, к каким-нибудь безнадежным пропойцам, опасным для общества.

Быть может, последнее замечание читателя и утешило бы меня немного, если бы мистер Уэкмен не приложил в другом

месте своей статьи всех усилий для того, чтобы никого не оставить в сомнении насчёт смысла «разумный». Этот термин, по его мнению, не приложим к тем потребителям алкоголя, которые заявляют, что они сами «знают, сколько им можно пить», ибо «это именно заявление показывает, что алкоголь уже лишил их разума». Мистер Уэкмен таким образом полагает, что закон о полном воздержании от алкоголя будет сам исполняться всеми разумными людьми, потому что ни один разумный человек не будет пить алкоголя после того, как он выслушает вердикт науки. Те же люди, которые будут всё-таки пить алкоголь, хотя бы и умеренно, очевидно, невменяемы, и с ними нужно «поступать, прибегая в случае необходимости и к силе, как с больными и сумасшедшими людьми».

Проповедовал ли когда-либо какой-либо священник, папа или царь более фанатическую, более непреклонную, более тираническую доктрину?

Неужели мистер Уэкмен воображает, что он может восстановить разумность людей таким неуважением к их индивидуальности?

Неужели он думает, что сможет укрепить волю и разум индивида тем, что он будет заставлять их не работать, заменяя их волей и разумом *учёного* общества?

Если да, что я рекомендую ему прочесть следующие слова Бакунина: «Общество, которое повиновалось бы законодательству, исходящему от учёной академии, не потому, что оно само поняло разумный характер этого законодательства (в этом случае существование академии сделалось бы бесполезным), а потому, что это законодательство, исходящее от академии, предписано именем науки, почитаемой без ограничений, такое общество было бы обществом не людей, а скотов. Оно было бы вторым изданием тех миссий в Парагвае, которые так долго подчинялись правлению иезуитов. Оно наверняка очень быстро спустилось бы до самой низшей ступени идиотства».

Самый могущественный враг человеческого ума – не алкоголь, а нечто другое. Это – тот дух высокомерия, который подсказал мистеру Уэкмену заключение его статьи и который

породил бы, если его поощрять, умственный паралич, гораздо более всеобщий и гораздо более неизлечимый, чем тот паралич, который наука сумеет когда-нибудь приписать влиянию алкоголя.

О смертной казни

(Liberty 30 августа 1890 г.)

Со времени Кемлера мне не раз случалось читать в прессе, особенно реформаторской и даже анархистской прессе, что эта казнь была убийством. Мне даже попадались заявления о том, что смертная казнь есть самый худший вид убийства. И мне очень хотелось бы знать, на каком принципе общественной жизни основываются подобные утверждения.

Если они исходят из того принципа, что наказание, налагаемое учреждением принудительного характера, создающим преступников, хуже, чем само караемое преступление, то я могу их понять и до некоторой степени даже разделять их. Но и в этом случае я не могу объяснить себе, почему из всех наказаний именно смертной казни оказывается особо исключительное внимание. Вышеупомянутое возражение можно сделать одинаково как против наказания, лишаящего свободы, так и против наказания, лишаящего жизни.

Но употребление выражения «смертная казнь» заставляет меня сделать предположение, что это особенное внимание исходит из каких-нибудь иных оснований, чем только что мною приведённое. Каковы же эти основания?

Если общество, как это допускается, имеет право защищаться от таких людей, как Кемлер, то почему оно не может защищаться подобным же образом во всех случаях, когда это средство защиты окажется наиболее действительным? Если мне скажут, что смертная казнь совсем не самое действительное средство защиты, то я готов допустить правильность этого соображения, вполне подтвержденного и фактами. Более того. Я даже его разделяю, если только оно не выставляется, как

совершенно категорическое и абсолютное правило. Но это не значит, что общество, карающее смертной казнью, совершает убийство. Убийство есть акт нападения. Им нельзя, не насилуя смысла слова, как бы недействительна она ни была, и как бы ни было велико невежество, вызывающее её применение, всё-таки акт строгой защиты, – по крайней мере, в теории. Правда, принудительные учреждения делают из неё часто орудие нападения, но это обстоятельство несколько не изменяет характера смертной казни *самой по себе*, несколько не влияет на отличие её от других форм наказания.

Одним словом, я отрицаю подобное отличие, если только оно не основано на рациональных принципах. Но это отрицание не вызывается моим желанием защищать ужас виселицы, гильотины или электрического стула для казни преступников. Они вызывают во мне такое же отвращение как и во всяком другом человеке. Омерзение внушает мне и поведение врачей, священников, газет и чиновников. Весь этот ужас говорит самым сильным образом против целесообразности и действительности смертной казни. И всё-таки она не есть убийство. Я настаиваю на том, что нет ничего священного в жизни нападающего на нас индивида. Нет никакого сколько-нибудь состоятельного принципа социальной жизни, который воспретил бы индивидам, являющимся объектом нападения, защищаться какими только они могут способами.

Долой обещания

(*Liberty* 12 ноября 1892 г.)

Обещание, согласно обычному пониманию этого слова, есть заявление, сделанное одним лицом другому и *обязывающее* первое совершить или не совершать определённого поступка *в будущем*. Принимая это определение, мы должны, мне думается, сказать, что в *гармоническом, прогрессивном* обществе не может быть места обещаниям. Обещание и

прогресс несовместимы друг с другом, разве только все индивиды будут также свободны во всякое время нарушать свои обещания, как и давать их. Но такое допущение уничтожает обязывающий элемент обещания и, следовательно, противоречит его обычному пониманию.

В прогрессивном обществе мы будем в каждый следующий день знать больше, чем в день предыдущий. Затем, гармония общества предполагает отсутствие внешнего принуждения, ибо всякое принуждение является элементом социального раздора. Обещание, которое кажется *справедливым* и приятным, когда его оценивают, исходя из знаний текущего дня, может стать несправедливым и неприятным, когда его оценят при уровне знаний завтрашнего дня. Поскольку же исполнение обещания становится возможным или невозможным, постольку оно служит элементом раздора; а раздор есть противоположность гармонии.

Г. Олериш.

Но ведь столь же очевидно и то, что неисполнение обещания неприятно лицу, которому дано обещание, и что оно, поэтому, служит элементом раздора; а раздор есть противоположность гармонии. Мы напрасно будем ждать воцарения гармонии, пока люди не будут стремиться к тому, чтобы быть гармоничными. Но справедливость или самое большое приближение к ней может быть установлена, даже исходя от нерасположенных к ней лиц. Я нисколько не сомневаюсь в праве человека, которому дано за определённое возмездие обещание, настоять на исполнении этого обещания даже прибегая к силе, если только обещание не такого содержания, что его исполнение будет нападением по отношению к третьим лицам. А раз лицо, которому дано обещание, имеет право и обеспечить себе такое содействие в этом применении со стороны других, которое они согласны ему оказать. Эти другие в свою очередь имеют право решать, по отношению к каким обещаниям они будут помогать ему

вынуждать исполнение. Когда дело доходит до этого пункта, весь вопрос становится исключительно вопросом целесообразности. И, весьма возможно, будет найдено, что наилучший способ обеспечения исполнения обещаний заключается в том, чтобы заранее дать понять, что неисполнение обещаний не будет караться силой. Но в интересах справедливости и свободы должно всегда помнить, что обещание – двусторонняя сделка. И в наших стремлениях сохранить за лицом, дающим обещание, его свободу мы не должны забывать о *высшем* праве лица, которому дано обещание. Я считаю его право высшим потому, что человек, исполняющий обещание, как бы ни был несправедлив договор, из которого оно возникло, поступает добровольно, тогда как человек, получивший обещание, вводится в обман его неисполнением, становится объектом нападения, лишается части своей свободы против своей воли.

На передовом посту

Bullion полагает, что «цивилизация состоит в том, чтобы раньше учить людей управлять собой, а затем предоставить им это управление». Достаточно самого незначительного изменения в конструкции этой фразы, чтобы она из глупого утверждения стала вполне правильным замечанием. Достаточно сказать: «цивилизация состоит в том, чтобы учить людей управлять собой, предоставив им возможность делать это». – *Liberty* 20 августа 1881 г.

Люди вообще, а государственные социалисты в частности, видят в той помощи, которую государство оказывает страждущим и умирающим с голоду жертвам Миссисипского наводнения, новый аргумент в пользу своего возлюбленного государства. Правда, эта его деятельность лучше, чем ковать новые цепи для того, чтобы держать народ в подчинении. Но она покупается слишком дорогой ценой. Народ не может поработать себя ради того, чтобы быть застрахованным на случай несчастья. Если бы не было никакого другого выхода, то уж лучше, в конечном расчёте, положиться на волю божию

и самому расплачиваться за связанный с этим риск. Но *Liberty* даёт другой выход, доставляя и лучшее страхование, и за более дешёвую цену. Теория добровольного мюгюэлизма универсальна в своём приложении, включая сюда и жертвы естественных бедствий. Свободное учреждение взаимных банков, организуя кредит, обеспечит возможно большее производство богатств и вместе с тем их наиболее справедливое распределение. А взаимное страхование, организуя риск, делает всё, что только может быть сделано для смягчения и уравнивания страданий, возникающих из непредвиденного разрушения богатства. – *Liberty* 1 апреля 1882 г.

Демократию определили, как принцип, гласящий, что «один человек столько же хорош, сколько и другой, или даже лучше». Анархия же может быть определена, как принцип, гласящий, что одно правительство столько же дурно, сколько и другое, или даже хуже. – *Liberty* 12 мая 1883 г.

Несколько времени тому назад Клара Нейман из Нью-Йорка заметила в своей лекции в Милуоки, что «если бы женщины имели избирательные права, они нашли бы другие средства исправления, чем простое узкое воспреещение». Да, действительно; в их воспреещении не было бы ничего узкого. Оно было бы самым широким, включая сюда все наказания от убийства до отлучения от церкви. – *Liberty* 12 мая 1883 г.

Восемнадцать мужчин и женщин, которые когда-то понесли наказание за совершение ими всевозможных преступлений и против которых не было и тени улик, свидетельствовавших о том, что они совершили или имели намерение совершить какое-нибудь новое преступление, были арестованы нью-йоркской полицией в четверг 6 августа на том единственном основании, что у них была репутация профессиональных карманных воров. Полиция считала делом разумной осторожности держать таких личностей в тюрьме до тех пор, пока не пройдут похороны Гранта, когда их можно будет представить в суд и освободить за недостатком улик. Другими словами, восемнадцать лиц, заведомо невинных в глазах закона, должны были быть лишены свободы и заключены в тюрьму на четыре дня только для

того, чтобы несколько сотен тысяч людей, наполовину дураков, наполовину лицемеров, могли не держать своих рук на своих бумажниках, когда они будут проливать крокодиловы слёзы над могилой одного из самых выдающихся соучастников воровства и грабежа, какого только знал наш век. А защитники правительства продолжают болтать о необеспеченности, которая царила бы без него, и кичиться принципом, постоянно ими однако нарушаемым, что «лучше девяносто девять виновных оправдать, чем одного невинного осудить». – *Liberty* 15 августа 1885 г.

«Всякий раз, как кто-нибудь предполагает, – пишет В. Дж. Поттер в *Index*, – что система добровольных религиозных ассоциаций установится и будет встречена всеобщим доверием, находятся боязливые люди, которые настойчиво предостерегают, что религия в опасности. Эти люди, по-видимому, не возлагают больших надежд на способность религии самой проложить себе дорогу в жизнь.» И это говорит тот самый мистер Поттер, который готов запретить народу читать ту литературу, которая не отвечает его критерию целомудрия и пить те напитки, которые не удовлетворяют его критерия трезвости; – тот самый мистер Поттер, который готов принудить людей быть милосердными, заставляя их платить налоги на содержание богаделен и больниц или принуждать одних учиться, а других – платить за обучение первых! Как много надежд возлагает, по-видимому, мистер Поттер на способность целомудрия, воздержания, милосердия и воспитания самим пролагать себе дорогу в жизнь! Мистеру Поттеру не мешало бы усвоить правило Оберона Герберта, что «всякая мера, которой человек противится, есть в сущности подать на содержание церкви, если только мужественно и логично смотреть на вещи». – *Liberty* 12 сентября 1885 г.

«Ни один человек, сознательно относящийся к своему долгу избирателя, или хоть сколько-нибудь себя уважающий, – говорит бостонский *Herald*, – не будет считать себя обязанным поддерживать бесчестного или неподходящего кандидата только потому, что его «надлежащим образом назначило» большинство его партии.» Но *Herald* признаёт, что всякий человек, сознатель-

но относящийся к своему поведению, или хоть сколько-нибудь себя уважающий, должен считать себя обязанным поддерживать и повиноваться бесчестному или неподходящему чиновнику только потому, что он был законным образом избран большинством его соотечественников. Почему в последнем случае обязательство значительнее, чем в первом? Фраза «лишь бы наша страна, а там всё равно, права ли она или нет» столь же безнравственна, как и мнение «лишь бы наша партия, а там всё равно, права ли они или нет». *Herald* и его закадычные друзья должны познакомиться с выводами из своих посылок. Они найдут тогда, что «божественное право рассуждения» ведёт прямо к анархии. — *Liberty* 12 сентября 1885 г.

Честь практического доведения налоговой системы *ad absurdum* принадлежит русскому царю. До последнего времени все его подданные пользовались, по крайней мере, в высокой степени ценным правом просить о своих правах, не неся при этом никаких издержек. Каждый из них мог в любое время послать сколько ему было угодно прошений или самому Александру, или кому-либо из его министров о снятии какой-нибудь тягости. Ныне порядок уже не тот. У русских отнята их последняя свобода. Право прошений сделано предметом налога. Прежде чем обиженный гражданин может сделать свою жалобу официально известной, он должен внести шестьдесят копеек в казначейство, взять вместо них марку и наклеить её на своё прошение. Другие государи обложили всевозможные права, какие только существуют на земле, но лишь Александру III дано было обложить право просить о своих правах. Ни один гражданин России не может в настоящее время просить своего «батюшку» оставить его в покое, не заплатив при этом шестидесяти копеек. Это несомненно акт жестокого деспотизма. Насколько же разумнее политика известного своим добродушием Дона Педро Бразильского. Он также внёс нечто новое в налоговую систему. Ни один бразильский супруг, заподозривший свою супругу в неверности и заставший её *en fragrant delit*, не может засвидетельствовать такого своего открытия, не опустив предварительно в казённый сундук что-то около двух

с половиной долларов. Подобные проявления тирании почти всегда вызывают моё негодование. Но если уж быть сборщиком налогов, то я предпочту дона Педро. – *Liberty* 14 ноября 1885.

Последним актом правительственного насилия является предложение повысить брачный возраст до восемнадцати лет. По-видимому, затея совершенно невинна, принадлежащая к разряду тех мероприятий, которые особенно любезны непреклонным моралистам, благочестивым ханжам, «респектабельным» радикалам и т. п. Но что это означает? Это означает, что если семнадцатилетняя девушка, зрелая физически и умственно, полюбит мужчину и снискает его любовь, и если эта взаимная любовь, по свободному желанию обеих сторон, выразится половым общением вне «законных форм», установленных нашим нелепым законодательством, то мужчина может быть обвинён в растлении и посажен в тюрьму на двадцать лет. Таков истинный смысл этого предложения, как бы его ни старались скрыть под оболочкой сентиментальности и морализма. Это нападение на мужчину, а для женщины не только нападение, но и оскорбление. А делается якобы в защиту девической чести! Чести, ни больше, ни меньше! Словно можно ещё гнуснее обесчестить женщину, уже несколько лет владеющую природным даром материнства, чем сказав ей, что у неё нет достаточной рассудительности, чтобы решать, можно ли и каким образом ей сделаться матерью! – *Liberty* 17 апреля 1886 г.

В эти дни судов за бойкот немало вздору говорилось и писалось о шантаже. Это вопрос, сразу затрагивающий принцип свободы. Считаю нужным смело и открыто установить этот принцип. Вот он: всякий индивид волен обставлять какими ему угодно условиями – лишь бы в них не заключалось нападения – делание или не делание чего-либо, на что он имеет полное право; но ни один индивид не может правомерно участвовать в сделке, налагающей условия явно агрессивного характера на какую-либо из сторон. Из этого следует, что «индивид может правомерно» вымогать деньги у другого, «угрожая» ему известными последствиями, лишь бы эти последствия были такого характера, что он мог бы вызвать их, не нанося

ущерба ничьим правам. Такое «вымогательство» обыкновенно – вещь гнусная, но бывают случаи, когда самые благомыслящие люди могут прибегать к нему, не насилуя своих инстинктов, и оно ни в каких обстоятельствах не бывает агрессивным, и, следовательно, несправедливым, если акт, которым грозят, не агрессивен. Поэтому, наказание людей, взявших деньги за снятие бойкота, есть чистейшее угнетение. Каково бы ни было «обычное» или «статусное» право шантажа, он – мы пользуемся фразой Спунера – управляется *естественным правом*. – *Liberty* 31 июля 1886 г.

Приёмы, практикуемые 49 окружным собранием Рыцарей Труда при ведении последней стачки, привели мэра Гьюитта и других публицистов капитализма в состояние бешенства, так что теперь они при всяком удобном случае яростно заявляют, что нельзя позволять одной группе людей лишать другие группы права работать. Это старая истина; но когда она говорится в осуждение Рыцарей Труда, приказывающих рабочим одной промышленной области бросать работу для подкрепления баствующих в другой области более полной приостановкой дела, она носит характер заносчивости, скорее свойственной зелёной юности, чем почтенной старости. Я решительно не могу понять, чьей свободу угрожают подобные действия. Конечно, не свободе людей, которым приказывают, как союзникам Рыцарей, оставить добровольную организацию для некоторых специальных целей – вроде указанной в данном случае; – ведь если они её не одобряют более, они могут снова стать на работу, где и когда им будет угодно. Конечно, не свобода и предпринимателей, лишаящихся таким образом своих рабочих, ибо если нет нападения на индивидуального рабочего, когда он бросает предпринимателя по чьему бы то ни было совету, то нет нападения и на свободу группы рабочих, оставляющих работу, хотя бы они и не имели никаких претензий к своему хозяину. Кто же, в таком случае, является лишённым своей свободы? Никто. Весь этот крик просто свидетельствует о непереносимости для капиталистов мысли, что рабочие переняли одну из их собственных штук – искусство припираться к стенке. Политика окружного собрания

(умная или глупая – другой вопрос) и заключалась в удержании труда, что гораздо извинительнее удержания капитала, ибо труд удерживается его законными собственниками, тогда как капитал удерживается людьми, которые никогда бы его не имели, если бы дарованные государством привилегии не помогли им нагрabить его. – *Liberty* 12 марта 1887 г.

Негодование, изливаемое по поводу решения Вустерских фабрикантов обуви и Чикагских подрядчиков принимать на службу только тех рабочих, которые подпишут обязательство, фактически устранившее их из юнионов, кажется мне растрacенным совершенно понапрасну. Эти предприниматели имеют полное право нанимать людей на всяких условиях, которые тем угодно будет принять. Если они принимают варварские условия, то только потому, что вынуждены к этому. Что же их вынуждает? Защищаемые законом монополии. Настоящее спасение их заключается, поэтому, не в лишении предпринимателей свободы договоров, но в даровании рабочим того же права договоров, не искажая его предварительно. – *Liberty* 28 марта 1887 г.

Судья Мак-Карти, из высшего суда Пенсильвании, решая вопрос, можно ли по законам Пенсильвании (касательно торговли спиртными напитками) выдавать патенты в известном графстве, высказался отрицательно, так как он против самого закона, о чём выразился следующим образом: «Когда издаются законы, противные велениям божьим, мы не обязаны соблюдать их». Бьюсь об заклад, что этот самый судья, если бы какой-нибудь анархист, приведённый к нему по обвинению в нарушении несправедливого закона, объявил, что в его глазах веление Бога или иной критерий стоит выше писанного закона – этот самый судья прибавил бы ему три лишних месяца заключения за дерзость. – *Liberty* 10 сентября 1887 г.

Провиденская *People* считает одной из трёх «основных истин» правило, что «каждому ребёнку должно быть обеспечено бесплатное полное воспитание воспитание физическое, умственное, нравственное и профессиональное». Что такое *полное* воспитание? Кто получил его, чтобы гарантировать кому-нибудь? Кто, получивший таковое, может передать его другому

совершенно безвозмездно? И если он даже может передать его даром, то с какой стати ему делать это? Почему не платить за это? А если ему следует платить, то кто же может это делать, если не тот, кто получает воспитание, или те, кто содержит получающего воспитание? Не подрывают ли эти вопросы «основ» философии *People*? Да и основа ли это в конце концов? – *Liberty* 3 декабря 1887 г.

Не довольствуясь повышением брачного возраста с десяти до тринадцати лет, толпа чопорно-добродетельных женщин отправилась к палате штата Массачусетс и потребовала нового повышения его – на этот раз до восемнадцати. Когда один из членов законодательной комиссии предложил определить брачный возраст в тридцать пять лет, ибо предполагаемый проступок является таким же преступлением для тридцатипятилетней женщины, как и для восемнадцатилетней, то петиционерки, по-видимому, не испугались такого аргумента. Очевидно, эти леди не опасаются, что их когда-нибудь попросят стать жёнами. – *Liberty* 11 февраля 1888 г.

В конце протеста против включения высших предметов преподавания в программу народных школ Уинстедская *Press* говорит «обыкновенная окружная школа, управляемая умелой рукой, достаточно хороша для простонародья. Пусть непростой народ имеет непростые школы и платит за них». Совершенно верно; но если простой народ нельзя заставлять платить за непростые школы, то с какой же стати заставлять непростой народ платить за простонародные школы? – *Liberty* 28 апреля 1888 г.

Нью-Джерсийский суд решил, что завещание гражданина этого штата, в котором Генри Джорджу отказана большая сумма денег на распространение его книг не действительно по той причине, что цель его не образовательная и не благотворительная, а такая, что достижение её способствует распространению учений, противных законам страны. Вероятно, судья, вынесший это решение, придерживается такого же взгляда на определение экономической истины, как мистер Джордж на выпуск денег, сбориание ренты, перевозку писем, железнодорожное дело и

другие предметы, «конечно, составляющие функцию правительства». И действительно, если мистер Джордж прав, что почему бы мог быть не прав и судья! Но я согласен, что мистер Джордж правильно назвал его «бессмертным ослом». – *Liberty* 26 мая 1888 г.

Калифорнийский приятель прислал мне номер издающейся в Сан-Франциско *Weekly Star*, заключающий в себя статью, которая, если хоть десятая доля в ней правда, показывает, что этот город и штат находится под гибельным управлением шайки преступников. В конце статьи автор, упуская из виду, что такое положение вещей есть прямое следствие управления человека человеком, предлагает усилить это правление исключительным заведыванием телеграфной системой, банковской системой и общественными предприятиями, равно как и обширным новым полем юрисдикции. Этому политическому лакею, который даже не догадывается зарыть в землю талант, доверенный ему, но упрямо пользуется им как бичом человечества, редактор *Weekly Star* говорит: «Ты был неверным в немногих вещах, я сделаю тебя правителем над многими». Я не удивился, убедившись из другого столбца этой газеты, что редактор смотрит на анархистов, как на зачумлённых злодеев и крикливых болтунов. *Liberty* 7 июля 1888 г.

Полковник Ингерсол недавно обнародовал теорию, по которой муж не должен быть освобожден от брачного договора, доколе жена не нарушит его; жена же должна получать развод по первому требованию. Вероятно, этот проект ему подсказан рыцарским чувством, но в сущности он оскорбителен для всякой уважающей себя женщины. Это пережиток старой теории, по которой женщина есть низшее существо, не могущее равняться с мужчиной. Ни одна женщина, достойная этого имени и вполне сознающая значение своих действий, не согласится сойтись с мужчиной по договору, не обеспечивающему его свободы в такой же мере, как и её собственную. – *Liberty* 18 августа 1888 г.

Теоретическая позиция, занятая Генри Джорджем относительно конкуренции, заключается в том, что свобода торговли должна царить повсюду, за исключением тех отраслей дела, в

которых по самой природе вещей конкуренция может существовать лишь отчасти; и в этих-то отраслях должна господствовать правительственная монополия. Между тем недавно в Англии он в одной речи заявлял, что для него не совсем ясно, должна ли торговля спиртными напитками быть свободна или монополизирована правительством. Поэтому мистер Джордж, оставаясь честным и последовательным, должен питать сомнения насчёт существования какого-либо естественного ограничения конкуренции в торговле спиртными напитками. Не будет ли он любезен указать его? Нет, он не укажет, и по той причине, что его мнимый критерий является просто жонглёрской попыткой скрыть под чем-то вроде научной формулы произвольный метод определения, что в такой-то сфере деятельности должна царить свобода, а в такой-то её не должно быть. – *Liberty* 2 февраля 1889 г.

Массачусетские врачи-аллопаты, тщетно пытавшиеся в течение нескольких лет добиться юридической монополии на медицинскую практику, пришли к заключению, что верных полбулки лучше непрерывно уменьшающегося ломтя, и вошли в соглашение с одной или двумя группами «шарлатанов», чтобы помешать всем другим «шарлатанам» заниматься их профессией. В этом году аллопаты приняли гомеопатов и эклектиков в свой круг, и при помощи этого политического маневра они надеются обеспечить себе драгоценную привилегию, составляющую цель их стремлений, под предлогом, который всегда выставляется привилегированными классами, – охранения масс. Были жаркие схватки в палате штата и на недавнем заседании судебной комиссии Дж. Старкс из Чикопи, говоривший от имени «шарлатанов», произнёс остроумнейшую, ядовитейшую и самую сильную речь в пользу полной свободы медицины, которая когда-либо срывалась с уст адвоката. Жаль, что некоторые из его клиентов, говорившие после него, не отличались такой же неотразимостью. Например, доктор Родс Бюканан, нечто вроде главного шарлатана, в длинной речи, в которой он старался убедить комиссию в праве пациента выбирать себе врача, заявил, что он одобрил бы закон, который объявил бы хирургическое

лечение рака преступлением. Старая сказка. В медицине, как и в богословии, православие – *моя* правда, а инославие – *твоя* правда. Этот «шарлатан», столь возмущённый тем, что «правильные» врачи хотят его упразднить, ясное дело, тоскует по диктаторской власти, которая дала бы ему возможность упразднить «правильных». Он напоминает тех секуляристов, негодование которых по поводу того, что их принуждают платить налоги на поддержание церквей, в которые они не верят, – сравнимо лишь с удовольствием, с которым они заставляют прихожан платить налоги на содержание школ, которые тем нежелательны. И всё-таки находятся добрые друзья свободы, которые утверждают, что я, осуждая этих людей, обнаруживаю неумение отличать друзей от врагов. В действительности же я, в отличие от этих критически-настроенных товарищей, при различении врагов от друзей не позволяю себе обманываться одним сходством лозунгов. – *Liberty* 23 февраля 1889 г.

Справедливо порицая централизованную власть, составляющую существо плана, на котором построена колония Тополобампо, Чикагская *Unity* говорит всё-таки, что так как мы имеем право выйти из ассоциации, то «план Оуэна в этом отношении является значительным шагом вперёд по сравнению с национализмом или другими формами государственного социализма, желающего обязать всех граждан, хотя бы даже прямо наперекор их убеждениям и желаниям, подчиняться новому деспотизму». Это совершенная правда; но мне любопытно знать, понимает ли *Unity*, что среди этих «других форм государственного социализма», обязывающего всех граждан подчиняться деспотизму вопреки желаниям граждан, и которым поэтому план Оуэна, при всей своей гнусности, в этом отношении представляется лучшим, самое настоящее место существующему правительству Соединённых Штатов. – *Liberty* 16 мая 1891 г.

Первоначальный патент телефонной компании Белла теряет свою силу в марте 1893 г. «Из личного опыта в Бостоне, – говорит человек, понимающий в этом деле, – я знаю, что у них имеются аппараты на сто процентов лучше таких, которые в ходу в настоящее время. Они держат эти аппараты про запас

для будущей конкуренции. Телеграфная компания Западного союза делает то же самое». Газета *Canal Dispatch*, комментируя это, негодуяюще жалуется, что «некоторые славные и полезные инструменты девятнадцатого века лежат под замком; таковы плоды «свободной конкуренции». Это негодование справедливо, но направлено не по адресу. Не свободная конкуренция держит эти инструменты под замком, но та форма монополии, которая называется собственностью на идеи. Как указывало сведущее лицо, немедленно с истечением срока патента и освобождением конкуренции, усовершенствованные аппараты покажутся на свет божий. – *Liberty* 16 мая 1891 г.

В статье, оправдывающей запрещение торговли спиртными напитками, газета *Investigator*, издающийся в Атлантике (Айова), говорит: «Согласно анархической теории правительство не имеет права запрещать ничего, а имеет только права вмешаться, когда содеяна несправедливость, и тогда только заставить правонарушителя заплатить убытки.» Не знаю, из какого источника *Investigator* почерпнул свои сведения об анархизме, но они несомненно неправильны. Что касается правительства, то анархизм считает, что оно не имеет права делать ничего и даже существовать: но добровольные оборонительные ассоциации не только будут требовать возмещения убытков, но и будут запрещать все явно агрессивные действия. Но они не будут запрещать неагрессивных действий, хотя бы они даже создавали агрессивным лицам возможность поступать агрессивно. Например, они не будут ставить препятствий продаже и покупке спиртных напитков, хотя бы некоторые лица и становились агрессивными под влиянием алкоголя. *Investigator* не усвоил себе анархической точки зрения. Он проводит разграничительную линию анархизма между запрещением насилия и принудительным возмещением убытков, тогда как анархизм обнимает в действительности и то, и другое. Его разделительная линия идёт совершенно в другом направлении, отделяя нападение от ненападения. Пусть *Investigator* ещё хорошенько подумает. – *Liberty* 30 мая 1891 г.

Редактор *Arena* жаждет наступления «века женщины», ибо когда он наступит, и штаты будут управляться женщинами

вместо мужчин, то брачный возраст будет определён в восемнадцать лет. Указывая на пример, представляемый в этом отношении Канзасом и Вайомингом – штатами наиболее близкими к управляемым женщинам – он говорит многозначительным курсивом: «Все другие штаты влачат знамя нравственности в пыли перед велениями мужской животности». Мистер Флауэр считает себя индивидуалистом, и иногда так хорошо пишет в защиту индивидуализма, что вызывает во мне удивление. Но я хотел бы знать, по каким правилам он применяет теорию индивидуализма, если дошёл до нарушения и отрицания индивидуальности девушки, написавшей «Историю африканской фермы», путём одобрения закона, который посадил бы в тюрьму на двадцать пять лет за изнасилование всякого мужчину, коего она добровольно избрала бы для полового общения в том возрасте, в котором она начала писать эту книгу. Если бы Оливия Шрейнер жила в цивилизованно Вайоминге вместо полу-варварской Южной Америки, и пожелала бы провести в жизнь теории, проповедуемые в её книге, то она действительно была бы изнасилована; однако не возлюбленным, свободно ею избранным, но женщинами, отрицающими её право на выбор, и мужчинами вроде Б. О. Флауэра, который хвалится этим отрицанием; лишена не девственности, этой жалкой и мишурной драгоценности, но свободы, этого неопределимого, несравненного сокровища, которое вошло в моду презирать. – *Liberty* 1 августа 1891 г.

Кое о ком я не пролью слёз, если Нью-Йоркский закон, запрещающий обнародование отчётов о казнях, будет строго соблюдаться, и нарушители его понесут суровую кару. Как высоко я ни ценю свободу печати, но именно *потому*, что я ценю её, я хотел бы видеть, как нож власти вонзится по рукоятку в самую нежную часть обычно раболепствующих газет Нью-Йорка и с силой и жестокостью будет повернут несколько раз. Может быть, после этого законы Комстока, законы против лотерей и подобные законодательные гнусности не будут восхваляться подхалимствующими лицемерами, вопящими о репрессиях только тогда, когда они сами становятся

жертвами. Несколько времени тому назад Нью-Йоркская *Sun* нарушила закон с похвалой и угрозами, и всё же, потому, что в Тенесси было сделано покушение силой помешать работе каторжников в рудниках, потому, что в Канзасе союзный судья не послушался предписания высшего суда, она торжественно заявляет, что не слушаться законов «значит сопротивляться воле народа, исключая случаи неконституционного статута, который в сущности вовсе не закон». Эта оговорка *Sun*, сделанная с целью спасти свою шкуру, не достигает цели. Кто будет решать конституционен ли статут? Высший суд, ответит *Sun*. Но готова ли *Sun*, буде высший суд объявит закон относительно казней конституционным, осудить собственное поведение, нарушившее закон? Я думаю, что нет. Но тогда она должна предоставить рабочим Тенесси и Канзасскому судье такую же свободу, какой требует для себя. Если доктрина «высшего закона» годится на что-нибудь, то она хороша не только против законодательных органов, но и против высших судов. С другой стороны, если она никуда не годится, то *Sun* должна об этом сообщить другим нарушителям закона, и вместо того, чтобы нарушать закон относительно казней, должна отправиться к избирательной урне и добиться отмены его. Но *Sun* не желает быть заподозренной в последовательности. *Sun* свинья, и орган свиней, и апологет свиней, и я не буду огорчён, если увижу её заколотой, как свиною. — *Liberty* 1 августа 1891 г.

Сиэтлская *Post Intelligencer* располагает очень умным человеком в своём редакционном штабе. Его редакционные статьи значительно возвышаются над обычным уровнем газетных передовиц, часто бывают очень прочувствованы и всегда свидетельствуют о решительной наклонности к серьёзному рассмотрению поднятых вопросов и независимому мышлению и оригинальному мышлению. Но иногда его оригинальность заводит его слишком далеко. Полюбуйтесь следующим оригинальным открытием, которое он безвозмездно подносит миру в недавно напечатанной редакционной статье против женского избирательного права: «Никто, кроме анархистов в теории, если не на практике, никогда не утверждал, что право голоса

есть естественное право; но с анархической точки зрения, что избирательное право есть естественное право, вы можете с уверенностью утверждать, что собственность есть кража». Если этот редактор когда-нибудь занимался исследованием анархизма, то он, конечно, знал бы, что большинство анархистов совсем не верит в естественные права; что никто из них не считает избирательного права естественным; что, с другой стороны, все они согласны насчёт центральной посылки – что правление есть зло, – и насчёт следствия, что оно нисколько не лучше от того, что правит большинство. Анархизм так же враждебен избирательному праву, как мир – пороху. – *Liberty* 29 августа 1891 г.

Хотел бы я знать, известно ли жителям Массачусетса, что их законодатели в этом году выработали закон, *наказывающий пожизненным тюремным заключением* всякого преступника или нищего, имеющего сифилис. Таков изумительный факт. Точнее говоря, закон постановляет, что всякий питомец карательного или благотворительного учреждения штата, который при истечении срока своего заключения будет болен сифилисом, не должен быть отпускаем на свободу, а должен содержаться в учреждении, доколе не излечится. Так как от сифилиса редко вылечиваются, то в большинстве случаев это будет пожизненное заключение. Таким образом в Массачусетсе только богачам и лицам, пользующимся покровительством законов, разрешается иметь сифилис, да и свободу. – *Liberty* 29 августа 1891 г.

Некоторые литераторы громко жалуется на «упадок литературы», который они видят в рекламировании газетами «десятитысячного романа мистера Гоуэля». Я спрашиваю: если литература не терпит упадка от получения мистером Гоуэлем 10000 долларов за право печатать его роман выпусками, то каким образом она терпит ущерб от обнародования этого факта? Что вся эта сделка унижительна для литературы, я не спорю, но истинный источник упадка здесь кроется в созданной государством монополии, которая даёт мистеру Гоуэлю возможность назначать такие цены за свой труд. И всё же в глазах этих обиженных «литераторов» именно эта монополия способствует

поднятию литературы. Но поставим в заслугу их инстинкту, если не уму, что, получая за литературу «благородное вознаграждение, которого она достойна», они стыдятся объявлять публике сумму этого вознаграждения. – *Liberty* 7 ноября 1891 г.

С 1885 года в статутах Пенсильвании имеется закон, воспрепятствующий производству искусственного сливочного масла. Однако по решениям судов Соединённых Штатов фабриканты, находящиеся вне штата, имеют право ввозить в штат свои продукты, продавая их в оригинальной упаковке. Всё увеличивающееся число посредников покупает эти упаковки, вскрывает их и продаёт в розницу, нарушая закон. Это стало настолько обычным явлением, что пенсильванские мясники, обыкновенно продававшие сало на фабрики искусственного масла и ныне вынужденные продавать его в Голландию с гораздо меньшей выгодой, нашли возможным возбудить преследование против виновных, в надежде добиться отмены вредного для них закона. Тем временем ограждаемое законом население, вместо того, чтобы есть вкусное и здоровое искусственное масло, вынуждено питаться крепким коровьим маслом, за которое платит монопольную цену покровительствуемым законом фермером и молочным торговцам. Населению гарантируется право быть ограбленным, а фермерам и молочникам право грабить. Все эти виды покровительства должны быть уничтожены. Единственная защита, в которой честные люди нуждаются – это защита от огромного Общества организации кражи, эвфемистически называемого государством. – *Liberty* 14 мая 1892 г.

Говорите мне о кровожадных анархистах! Послушайте, следующее. Говорит редактор *American Architect*. «Поскольку дело в принципе, мы хотели бы видеть вмешательство в дела человека, желающего работать, *требование* или просьбу – всё равно, прямую или косвенную – *об увольнении верного работника*, либо же попытку к принуждению – угрозами или иным способом рабочего к оставлению работы, *наказуемыми смертью*». Вот вам анархизм в полном блеске. Если Джон Смит вежливо просит Джима Джонса рассчитать или не поль-

зоваться услугами трудолюбивого и верного Сэма Робинсона, то убейте его. Таков совет, который капитализм даёт суду. Если он будет принят к исполнению, что я утверждаю, что у народа будет больше оснований обвинить редактора *Architect* в подстрекательстве к убийству, признать его виновным и взорвать динамитом, чем у штата Иллинойс их было для вынесения аналогичного приговора Спайсу с товарищами и предания их смертной казни через повешение. Я хотел бы знать, желал ли бы редактор *Architect*, чтобы его теория проводилась в жизнь не лицеприятно. Вообразите, например, электрическую казнь полковника Элиота Шепарда, оскорблённого трудолюбивым и верным кучером Пятого Проспекта, за просьбу не держать кучера, обращённую к извозчичьим старостам. Если зажигательный совет вызовет кровавую революцию, то главная ответственность за неё будет лежать на капиталистах и их наёмных апологетах, и они дорого заплатятся. В наши дни много Фулонов, некоторые из коих, может быть, ещё только питаются травой. – *Liberty* 26 мая 1892 г.

В штате Нью-Йорк неудачное покушение на самоубийство карается как преступление. Предполагается разрешать анархистам иноземного происхождения приобретать право гражданства. Генеральный прокурор Миллер желает сделать избирательное право принудительным путём лишения права голоса всех, пренебрегших их. Нью-Йоркские санитарные надзиратели, захватив на обходе тележку зелёных персиков, отдали её двум посыльным мальчишкам, в результате чего полсотни мальчуганов устроили себе пиршество, и наверное некоторые из них умерли. Правительство, раздающее зародыши болезни, которыми не позволяет торговать другим; правительство, желающее лишить права голоса тех, кто не желает голосовать; правительство, отказывающееся натурализовать людей, не желающих быть натурализованными; правительство, отказывающееся в жизни тем, кто не желает жить – такое правительство с успехом могло бы выступить в хорошей комедии. – *Liberty* 13 августа 1892 г.

Нам грозить новая монополия. В настоящее время, как известно, Вагнровского «Парсифаля» можно ставить только в

Байрете. Эта музыкальная драма представляет собственность госпожи Вагнер, а она не разрешает никому ставить её. Но в Австрии, кажется, авторское право на произведение теряется через десять лет после смерти автора. Поэтому в будущем году «Парсифаль» может ставиться в Австрии кем угодно. Госпожа Вагнер всеми силами старается провести в Австрии новый закон в защиту своей монополии, и говорят, что это ей может удалиться. Если удастся, тогда австрийцы, подобно французам, англичанам, американцам и другим нациям, пожелавшим отдаться в рабство, должны будут продолжать платить дань не только госпоже Вагнер, но и содержателям гостиниц и железнодорожным обществам, если захотят видеть исполнение величайшего музыкального произведения, когда-либо появлявшегося на свет. Это положение лишней раз свидетельствует о нелепости собственности на идеи, на что мы указывали в своей газете по другим поводам. Покуда госпоже Вагнер будет дозволено сохранять за собой монополию – и в самом деле, если это её собственность, она не должна отниматься у неё – цена, которую человек должен будет заплатить за наслаждение «Парсифалем», будет пропорциональна расстоянию между его местожительством и Байретом. Гражданин Байрета платить всего пять долларов за привилегию, которая гражданину Соединённых Штатов будет стоить от двух до трёх сотен долларов. И всё это из-за желания одной женщины и недостатка воли у всего остального мира. Конечно, мне могут ответить, что такая же ситуация наблюдается и во многих других областях, и её нельзя устранить – возьмём, например, картину Тициана или Ниагарский водопад. К несчастью, это так; но тут ведь ничем и не поможешь делу. Мы платим большие суммы, чтобы посмотреть на Ниагарский водопад, потому что не можем воспроизвести Ниагарского водопада вблизи своей квартиры. Но неужели то обстоятельство, что мы должны платить дороже за вещи, которые не могут быть размножены, может служить основанием для взимания повышенной платы за вещи, поддающиеся размножению? – *Liberty* 24 сентября 1892 г.

За недавней стачкой в Кармо, во Франции, последовала агитация в пользу принудительного третейского разрешения споров между капиталом и трудом. Произошла ожесточённая схватка во французской палате, у которой, к счастью, хватило здравого смысла провалить вышеуказанную меру; из всех требований, предъявлявшихся правительству в интересах труда, это, пожалуй, самое неумное. Любопытно знать, приходило ли в голову рабочим, предъявившим его, что удовлетворить их желание значило бы отвергнуть то драгоценное право стачек, на котором они так упорно настаивали в течении стольких лет. Допустим, к примеру, что группа работников решила забастовать в защиту интересов, которые она считает жизненными и которые она намерена отстаивать до конца всеми доступными средствами. Немедленно является на сцену третейское бюро, принуждающее стачечников и предпринимателей изложить свои неудовольствия, и затем выносящее решение. Допустим, это решение будет не в пользу стачечников. Они обязаны подчиниться ему, так как посредничество обязательно, или понести наказание – ибо нет закона без наказания. Что тогда станет с их правом стачек? Оно будет разрушено. Они могут просить того, что им нужно; высшая власть немедленно решить, могут ли они получить желаемое; и на это решение нет апелляции. Таким образом, труду законом будет запрещено бороться за свои права. И всё же труд так близорук, что требует именно этого запрещения! – *Liberty* 1892 г.

Деньги и проценты

Земля и рента

Социализм

Коммунизм

Методы

Сила пассивного сопротивления

(*Liberty*, 4 октября 1884 г.)

«Эджворт» спрашивает меня при посредстве *Lucifer'a*, каким образом я рассчитываю «взять измором дядю Сэма». За разъяснение по этому предмету он «охотно откажется на веки вечные от ростбифа и плумпудинга к обеду». Ему интересно знать, разумею ли я «сопротивлением налогам», красующимся на «сфинксовой голове *Liberty*, обращённой к Богу и государству», что «истинные анархисты должны афишировать свои убеждения, позволяя шерифу захватывать и продавать с молотка их имущества, чтобы посредством таких личных жертв стать известными друг другу, как люди одной веры, преданные ей до последнего и могущие рассчитывать друг на друга в случае необходимости соединённого действия». Если я так и думал, то он позволяет себе «усомниться в политике экспериментов, истощающих не дядю Сэма, этого колоссального вампира, но наши собственные и без того тощие кошельки, столь нужные для нашей идейной пропаганды; эти эксперименты бьют нас по карману несколько раз в год, ибо продажа имущества во многих местах равносильна десятикратному налогу». Если с другой стороны я имею в виду меньшинство, способное «успешно причинить изъян казне дяди Сэма», то он хотел бы спросить, «каким образом меньшинство, хотя бы и почтенное по числу и уму участников, может противостоять шерифу, опирающемуся на армию, и не заплатить дани государству».

На эти прямые и дельные вопросы я с удовольствием отвечаю. Прежде всего, политика, которой должны следовать отдельные, изолированные анархисты, определяется обстоятель-

ствами. Я не больше, чем «Эджеворт», одобряю безрассудную трату необходимого материала. Плохой вояка тот, кто бросает врагу свои снаряды, – разве что из пушечного жерла. Но если вы можете заставить врага растратить свои снаряды, побудив его открыть огонь по какому-нибудь хорошо защищённому пункту; если вы можете, докучая, дразня и выводя его из себя всевозможными способами, припереть его к стенке разоблачением его тиранических и хищнических намерений, поставить его в положение вероломного негодяя, намеревающегося ограбить честных людей – то это самая лучшая тактика. Поэтому пусть каждый анархист старается о том, чтобы его имущество не попало в когти шерифа. Но в тот год, когда он почувствует себя особенно сильным и независимым, когда его поведение не может нанести ущерба серьёзным личным обязанностям, когда в общем он скорей готов пойти в тюрьму, чем не пойти, и когда имущество его такого рода, что его легко скрыть, пусть он укажет окладному чиновнику какое-нибудь имущество, а сборщику откажется платить налог. Или, если у него нет имущества, пусть откажется платить подушную подать. Государство тогда будет поставлено в тупик. Одно из двух: или оно оставит его в покое, и тогда он обо всём расскажет своим соседям, вызвав в них крамольное желание на будущий год не выпускать копейки из кармана; или же его заключат в тюрьму, и он, потребовав и обеспечив себе законным порядком все права гражданского заключённого, будет жить себе припеваючи до тех пор, пока государству не надоест содержать на свой счёт его и других лиц, последовавших его примеру, которых будет становиться всё больше. Возможно, что государство в припадке отчаяния найдёт необходимым усилить строгость законов о заключённых за неплатёж налогов, и тогда, если наш анархист решительный человек, мы увидим, до каких пределов готово дойти республиканское правительство, «черпающее свои справедливые права в согласии управляемых», чтобы обеспечить себе это «согласие», – остановится ли оно на одиночном заключении в тёмной камере, или же последует примеру русского царя, организовав пытку электричеством. Чем дальше оно пойдёт в этом направлении,

тем лучше для анархии ¹⁴, как известно всякому, изучавшему историю реформ. Кто может учесть пропагандирующую силу нескольких таких случаев, увеличиваемую работой хорошо организованной армии агитаторов вне тюремных стен? Так обстоит дело с индивидуальным сопротивлением.

Но если отдельные лица могут сделать так много, то что же сказать об огромной и совершенно непобедимой силе многочисленного и умного меньшинства, измеряющегося, скажем, пятой частью населения в данной местности? Я думаю, мне достаточно обратить внимание «Эджеворта» на крайне поучительную историю ирландской аграрной лиги, самой могучей и действительной революционной силы, какую знал мир; покуда она придерживалась своей первоначальной политики «неплатежа ренты», она была сильна, но как только оставила её, то потеряла всю свою силу чуть ли не на другой день. «А, так она оставила её?» – воскликнет Эджеворт. Да, но почему? Потому что крестьянство представляло собой не умное меньшинство, следующее принятым решениям, а невежественную, хотя и проникнутую энтузиазмом массу людей, слепо шедших за недобросовестными политиками вроде Парнелля, которые хотели всего чего угодно, кроме упразднения ренты, и готовы были использовать какую угодно политику или чувства, лишь бы это дало им в руки власть и влияния. Но всё же эта политика продолжалась достаточно времени, чтобы британское правительство убедилось в своём полном бессилии пред нею. И вряд ли я преувеличу, сказав, что если бы она продолжалась, то теперь в Ирландии не осталось бы ни одного лендлорда. А у нас легче сопротивляться налогам, чем в Ирландии сопротивляться ренте; и у нас такая политика оказалась могущественней, чем там, так как народ у нас более развит; необходимо только завербовать достаточное количество серьёзных и решительных мужчин и женщин. Если пятая часть населения откажется платить налоги, то взимание или попытка взимать их не окупится уплатой остальных четырёх пятых налога. *Liberty* медленно, но

¹⁴И тем хуже для бедняги анархиста! Извините, не могу удержаться от комментария. – *Кот учёный.*

верно собирает силы, необходимые для этой бескровной войны, и рано или поздно организует их к выступлению. Конец вам тогда, тирания и монополия!

«Пассивное сопротивление», утверждает Лассаль с чисто немецким упрямством, «это сопротивление, которое не сопротивляется». Величайшее заблуждение! Это единственное сопротивление, дающее в наши дни военного режима какие-нибудь результаты. В современном цивилизованном мире не найдётся ни одного тирана, который всеми силами не предпочёл бы вызвать кровавую революцию, чем видеть, что значительная часть его подданных решила не оказывать повиновения. Восстание легко подавить; но ни одна армия не захочет и не сможет направить пушки на мирных людей, которые даже не собираются на улицах, а сидят дома и твёрдо стоят на своём. Ни избирательный бюллетень, ни штык не будет играть видной роли в грядущей борьбе; пассивное сопротивление, а в случае крайности динамитная бомба в руках отдельных лиц – вот те орудия, которыми революционной силе предстоит завоевать в последней великой борьбе права народа¹⁵

Положение Ирландии в 1881 г.

(*Liberty* 29 октября 1881 г.)

Главное несчастье Ирландии заключается в том, что народ её – этот народ, погрязший в суевериях, угнетённый тиранией, поверженный во прах перед двумя идолами, – религиозным и политическим, стонущий под игом самой жестокой церкви и самого безжалостного государства, когда-либо пятнавших невежеством или заливавших кровью летописи цивилизованных народов; – что народ её склонён забывать мудрые советы более благоразумных вождей своих, давать полный исход своим страстям, которые стараются разжечь его угнетатели, и слепо, очертя голову, кидаться в буйную и разорительную революцию.

¹⁵Под «крайностью» я разумею нечто очень серьёзное – полное подавление свободы слова и печати. – *Прим. Б. Такера.*

Истинное спасение Ирландии – это её чудесная аграрная лига, самое верное приближение в крупном масштабе к совершеннейшей анархистической [WTF]организации, какую когда-либо видел мир. Огромное множество местных групп, рассеянных по обширным пространствам двух материков, разделённых тремя тысячами миль океана; каждая группа автономна, каждая свободна; каждая составлена из неравного числа индивидов всех возрастов, полов и рас, равно автономных и свободных; каждый одушевлён общей, высокой целью; каждый получает широкую поддержку из добровольных приношений; каждый повинуетя собственному суждению; каждый руководится в образовании убеждений и поведении указаниями центрального совета избранных лиц, не имеющих права издавать приказы кроме тех, которые логически вытекают из причин, коими они обоснованы; все объединены с наименьшими формальностями и без утраты самостоятельности, в одно великое, стройное, активное целое, беспримерная мощь которого повергает в трепет тиранов и делает армии бесполезными.

Ближайший путь Ирландии к успеху – неплатёж ренты ни теперь, ни *впоследствии*; неплатёж принудительных налогов ни теперь, ни впоследствии. Полное невнимание к британскому парламенту и его так называемым законам; полное воздержание от участия в выборах; строгий, но не насильственный бойкот перебежчиков, трусов, изменников и угнетателей; неуклонное, бесстрашное, разумное ведение аграрной агитации словом и пером; пассивное, но упорное сопротивление каждому наступательному акту полиции или войска; а самое главное, полная готовность сесть в тюрьму и быстрота в заполнении мест, оставшихся свободными после тех, кого засадили в тюрьму. Открытая революция, террор и вышеописанная политика, которая есть свобода – вот три пути, из которых Ирландия должна сделать свой выбор. Открытая революция на поле битвы означает верное поражение и ещё целое столетие нищеты и гнёта; террор, хотя и может быть предпочтён революции, означает многие годы растлевающих интриг, кровавых заговоров, низких страстей и ужасных актов мести – словом, все ужасы длительной наци-

ональной вендетты, притом с сомнительным исходом; *Liberty* желает верной, безостановочной и сравнительно бескровной свободы, восхода солнца справедливости и прочного мира и благосостояния для измученной страны.

Метод анархии

(*Liberty*, 18 июня 1887 г.)

Редактору издающейся в Сан-Франциско *People* анархизм, очевидно, представляется новым и непонятным учением. Так как в этом городе один анархист заявлял с публичной трибуны, что анархизм должен действовать мирными средствами и что физическую силу дозволительно применять только для самозащиты, то *People* заявляет, что помимо физической силы она усматривает только два решения рабочего вопроса: один заключается в добровольном отказе привилегированного класса от своих привилегий, а другой в голосовании, которое газета справедливо признаёт особой формой силы. Поэтому *People*, предположив, что ей приходится выбирать между убеждением, голосованием и прямой физической силой, останавливает свой выбор на последней. Если бы я стоял перед альтернативой оставить вопрос нерешённым или пытаться решить его одним из трёх неудовлетворительных способов, то я бы, мне кажется, предпочёл оставить его нерешённым. Я думаю, было бы самым благоразумным оставить дело в том же положении. Но оно вовсе не так безнадёжно. Есть четвёртый способ выйти из затруднения, способ, о котором *People*, очевидно, никогда не слыхала, – метод пассивного сопротивления, самое могучее оружие, когда-либо дарованное человеку для борьбы с угнетением. Власть питается своими жертвами и умирает, когда жертвы отказываются служить ей добычей. Они не могут убедить её умереть; они не могут убить её своими голосами; они не могут застрелить её насмерть; но они всегда могут уморить её голодом. Когда решительная группа населения, достаточно сильная численностью и волей, чтобы внушать к себе уважение

и сделать небезопасной попытку засадить её в тюрьму, уговорится спокойно захлопывать двери перед носом сборщика податей и ренты за землю, а выпуском, вопреки запрещению закона, денег собственного изделия перестанет в то же время платить подать денежному помещику, тогда правительству со всеми привилегиями, которые оно раздаёт, и монополиями, которые оно оберегает, придёт конец. Быть может, *People* считает это неосуществимым? В таком случае, я обращаю её внимание на обширную работу, выполненную шесть лет тому назад старо-ирландской аграрной лигой, наперекор самому, быть может, могущественному правительству в мире, путём простого захлопывания дверей перед носом сборщика ренты. Через каких-нибудь несколько месяцев после начала такой «нет-рентной» политики, крупное ирландское землевладение оказалось на краю гибели. Лендлорды были вне себя. Поражённые этой неувязимой силой, они не знали, как разжечь упрямую крестьянскую массу до такой степени, чтобы она бросилась в открытую борьбу, и затем усмирить её Гатлинговыми пушками. Однако, если не считать немногих слабых вспышек, фермеров не удалось вывести из границ благоразумия, и гнёт лендлордов ослабевал с каждым днём.

«Да, но ведь движение потерпело неудачу», – может ответить *People*. Правда, оно не удалось; а почему? Потому, что крестьяне действовали не в благоразумном подчинении своему рассудку, а в слепом повиновении вождям, которые покинули их в критический момент. Брошенные правительством в тюрьму, эти вожди, чтобы получить свободу, отреклись от «манифеста о неплатеже ренты», который выпустили не с целью избавления крестьян от ига «безнравственного налога», но просто для того, чтобы сделать их орудием своего политического возвышения. Если бы народ признавал свою силу и понимал экономическое положение, он бы не начал вновь платить ренты по приказу Парнелля и теперь был бы свободен. Анархисты не собираются повторить этой ошибки. Вот почему они всецело отдаются разъяснению принципов, особенно же экономических принципов. Настойчиво преследуя свою цель, несмотря на неодобрительный

шум, они одни только положат прочное основание успехам революции, хотя Сан-Францисской редакции и всем, кто так торопится вперёд, что не имеет времени толком подумать, и кажется, будто они совсем ничего не делают.

Теоретические методы

(*Liberty*, 16 июля 1887 г.)

От новобранца Армии Спасения до теоретика-анархиста – у всех имеются «методы» спасения человека. Религиозный адепт, впервые услышавший об Иисусе, исполнен глубокой веры. В своём чрезмерном оптимизме он убеждён, что небо готово слиться с землёю, мир воцарится повсюду и счастье наполнит каждую душу. За одним лишь остановка – за верой. И вот он, подобно христианину Бэньяна, старается убедить весь мир, что *vademecum*¹⁶ временного и вечного успеха заключается только в одном: думайте так, как я, и вы спасётесь! Но увы! Сколько столетий уже люди слышат эту старую песню, а ни небо не сходит на землю, ни земля не возносится к небу, предполагаемой обители блаженства. Здесь, как и повсюду, роль постоянного фактора играет различие взглядов. То, что Прудон назвал «силой событий», ведёт всё к более широкой дифференциации характеров, а следовательно и методов. Оставим верующего с его теоретическими методами и лишь грустно усмехнёмся, проходя мимо.

Государственный деятель – от министра до странствующего демагога – также имеет свой метод, свои «моррисовы пилюли» от всех общественных зол. Переросший иллюзии людей пятой монархии, пытавшихся заставить пересечься параллельные линии

¹⁶путеводитель, карманный справочник, вадемекум – прим. ред.

религии и политики, одним глазком поглядывавших на землю, а другой вперявших в пустой свод, отвечавший лишь эхом на их громкие призывы, – государственный деятель видит одно лишь средство – избирательное право! Эврика! Пусть рабочие – приложат политические методы к врачеванию экономических зол, поставят фирму «Мы, Нас и Ко», и задача решена! Но опять является на сцену постоянный фактор; наперекор речам, увещаниям и умелым редакторам, люди не желают думать одинаково. То здесь, то там высказываются утверждения, что эта смесь политических и экономических методов есть лишь повторение прежней глупости.

Прогибационисты видят спасение мира в том, чтобы все люди отказались от рома или были лишены возможности добывать его. Если они по упрямству отказываются от добродетели, то надо им впрыснуть таковую. Социалисты «правоверного лагеря», кстати и некстати, настойчиво доказывают миру, что когда их «пропаганда» приведёт всех людей к одинаковым убеждениям, то невежество сумеет выбирать знание, или способности для управления социальной машиной. Кооператор также вертит свою «ручку» и, спеша добиться осязательных результатов, собирается и основывает общество на юге или западе, где предлагает социализировать «миллеризм» в государстве. Но и в этих планах неизменно то, что апостол находит себе лишь немногих приверженцев.

Наконец, хотя и на последнем плане, появляется теоретик-анархист, который, отрицая разные «системы», всё же громко вопит о целительности своего непатентованного «метода», который откроет золотой век. Правда, он до сих пор не удавался – например в Ирландии, но здесь «метод», не «система», подвергнувшись пробе, увидел, что существующие политические методы обладают гораздо большей привле-

кательностью. Странно, но «это всегда было так», и будет, пока существует государство. Прислушаемся к старому, истасканному мотиву, давно уже звучащему у нас в ушах.

«Если бы народ сознавал свою силу и понимал экономическое положение, он не стал бы платить ренты по приказу Парнелля, и теперь, может быть, был бы свободен».

Опять гимн Армии Спасения! «Сила событий» в государстве всегда заставит предпочесть государственные методы. Государство должно существовать!»! Как? Я не знаю и не хочу знать; у меня нет патентованного и непатентованного «метода» спасения страждущего общества. Пусть приходит неизбежное; я могу лишь протестовать, как сейчас протестую. Если бы «жестокые коммунисты» Чикаго, как назвала их *Liberty*, больше придерживались теории в своих приёмах, то теперь бы им не грозил эшафот за «заговор» с целью сопротивления захвату индивидуальных прав.

Стараясь усвоить «метод анархии», я невольно вспомнил инцидент, случившийся со мною, когда я с риском для жизни пытался организовать дешёвый труд на западе. Молодой лейтенант, посланный со взводом солдат на рекогносцировку, подошёл к реке, которую нельзя было перейти вброд. Воспитанный в армейской дисциплине, он знал, что за всем необходимым нужно обращаться к квартирмейстеру. Сознывая свою власть и сообразуясь с военным положением, он потребовал отряд солдат ростом в восемнадцать футов! Если бы он переждал, пока река спадёт, то легко мог бы перейти через реку, но, как видите, природа и люди сохранили свой характер постоянных факторов.

С грустью

Д. Лэм

Неудивительно, что мистеру Лэму грустно. Мне было бы не только грустно, но и стыдно, если бы ответственность за вышеприведённую статью лежала на моей совести. Это такая куча нелепостей, такая путаница аналогий, на каждом шагу противоречащих друг другу, что положительно невозможно дать на них связный ответ. В статье так мало чего-нибудь похожего на систему или связь, что трактовать её приходится в большей или меньшей степени хаотически. Быть может, я не совсем попаду мимо цели, если укажу мистеру Лэму, что государство, которое он пытается упразднить, вовсе не есть государство как учреждение, а просто существующее государство. Он похож на раба, который настолько лишён способности мыслить и делать обобщения, словом, настолько практик, что не может понять более отдалённого факта, что его угнетение обуславливается почти всеобщим признанием господского права, а видит лишь конкретного господина, кнут которого испытывает на себе. Если бы какой-нибудь его товарищ проследил всю цепь заключений от последнего до первого, и сумел бы понять опорную точку тирании, то наш раб посмеялся бы над ним, как мистер Лэм смеётся над «теоретиком-анархистом»; но перед таким товарищем, который вырвал кнут из рук своего господина и забил его до смерти, хотя бы только с тем, чтобы тотчас же упасть в ноги другому господину, этот раб снял бы шляпу, как мистер Лэм «снял свою шляпу перед чикагским бомбометателем». Я так же мало, как и мистер Лэм, интересуюсь тем, как исчезнет государство, но утверждаю, что оно действительно должно исчезнуть – что оно должно быть упразднено, а не реформировано. Что оно не может быть упразднено, пока не появится значительное и хорошо обоснованное недоверие к нему как к учреждению – это истина, вряд ли требующая доказательств. При отсутствии такого недоверия государство может быть разрушено путём восстания или распастись от собственной гнилости, но вместо него сейчас же возникает другое. И как может быть иначе, если все верят в необходимость государства? Значит, всё дело в том, чтобы создать необходимую степень недоверия, над

чем и работает «теоретик-анархист». Он не пытается, подобно религиозному проповеднику, привлечь на свою сторону весь мир бесконечным рядом отдельных обращений, или, подобно политику, прогибационисту и социалисту, привлечь на свою сторону большинство, или, наконец, подобно кооператору (которого, к изумлению, я встречаю здесь в числе «теоретиков»), удалиться от шумного мира в пустыню и там построить театр. Он просто обращается к таким лицам, которых можно убедить, что они могут соединиться и начать в удобный момент закладывать основы свободы, зная что раз эти основы заложены, то на них будет воздвигнута постройка руками всего человечества, как следствие экономической необходимости. Рано или поздно это должно быть сделано, и чем скорее, тем лучше. Если неизбежно, как полагает мистер Лэм, разрушение государства при помощи силы, то одно это должно в сильнейшей мере побудить «теоретика-анархиста» сосредоточить всю энергию на предпринятой им работе. Если разгром столь несомненен и предстоит в скором времени, тем необходимее принять меры, чтобы строителем нового общественного порядка была свобода, а не власть. Если бы мистер Лэм и его друзья, чикагские коммунисты, посвятили бы этой «теоретической» работе половину той энергии, которую затратили на проповедь динамитного евангелия и «логики событий», то не только никто из них теперь не был бы «обвеян дыханием эшафота» (желательность этого для меня не так ясна, как для мистера Лэма), но по всей вероятности нашлось бы немало «теоретиков-анархистов», готовых начать работу, подобную той, которую Фаулер проектирует в своей блестящей *Sun*. Если мистер Лэм сумеет доказать невозможность создать такую силу, то он этим не только лишит почвы «теоретиков-анархистов», но и все виды социализма сведёт к утопическим бредням. Но пока он этого не докажет, пусть не пробует сражаться с «теоретическим анархизмом» посредством аналогий, основанных на невозможности набирать солдат в восемнадцать футов ростом. Для того, чтоб аналогия эта имела смысл, необходимо доказать невозможность обоих методов. Я не коснулся всех слабых пунктов, но сказал, думается мне,

достаточно. Во всяком случае, раз упомянут Прудон, я нахожу самым удобным закончить свою статью следующей выдержкой из его «Что такое собственность». «Есть истина, в которой я глубоко убеждён – народы живут абсолютными идеями, а не приблизительными или частичными понятиями; нужны поэтому люди, которые давали бы принципам определения или по крайней мере испытывали их в горниле спора. Таков закон, – первая, чистая идея, уразумение законов бога, теория; практика следует медленным, осторожным шагом, прислушиваясь к смене событий, всегда готовая воспользоваться, в своём стремлении к вечной цели, указаниями высшего разума. Сотрудничество теории и практики обуславливает в человечестве реализацию порядка – абсолютную истину. Все мы, пока живём, призваны, каждый соразмерно своим силам, к участию в этой возвышенной работе. Единственный долг, налагаемый ею на нас, заключается в том, чтобы не присваивать себе истины, путём ли сокрытия её, *приспособления к духу времени* или пользования ею для собственной выгоды».

Посеянное семя

(*Liberty*, 26 мая 1888 г.)

Время: Четверг, 17 мая, 7 ч. 30 м. в.

Место: Резиденция редактора *Liberty*, 10, Гарфильдская улица, Ревер (городок в окрестностях Бостона).

Действующие лица: Чарльз Фенно, так называемый сборщик податей в Ревере, и редактор *Liberty*.

Заслышав стук, редактор *Liberty* отпирает дверь и видит человека, с которым никогда не встречался, и который оказывается мистером Фенно.

Фенно: Здесь живет мистер Такер?

Редактор *Liberty*: Это я, милостивый государь.

Ф.: Я насчет подушной подати.

Р. Л.: Ну?

Ф.: Так вот, я пришел получить ее.

Р. Л.: Разве я вам что-нибудь должен?

Ф.: Да, должны.

Р. Л.: Я вам обаялся что-нибудь уплатить?

Ф.: Нет, но вы жили здесь первого мая прошлого года, и город обложил вас долларом.

Р. Л.: О! значит, в этом не было уговора!

Ф.: Нет, это делается принудительно.

Р. Л.: Не слишком ли вы мягко выразились? Я считаю, что это грабеж.

Ф.: Что ж, вы знаете закон; он гласит, что все лица от двадцати лет, живущие в городе в первый день мая. . .

Р. Л.: Я знаю, что говорит закон, но закон величайший из грабителей.

Ф.: Может быть. Во всяком случае, я должен получить деньги.

Р. Л. (вынимая доллар из кармана и протягивая его Фенно): Хорошо. Я знаю, что вы сильнее меня, потому что за вами стоит шайка других грабителей, и вы можете отнять у меня этот доллар, если я вам его не дам. Если бы я не знал, что вы сильнее меня, я бы вас сбросил с лестницы. Но так как я знаю, что вы сильнее меня, то отдаю вам доллар так же, как отдал бы его всякому другому разбойнику. Вы имеете, однако, на это столько же права, как и войти в дом и взять все, что подвернется под руку, и я не понимаю, почему вы этого не делаете.

Ф.: Окладной лист при вас?

Р. Л.: Я никогда не беру расписок на деньги, которые у меня крадут.

Ф.: Вот как?

Р. Л.: Вот именно так.

И дверь захлопывается перед носом у Фенно.

Он показался мне безвредным и смирным человеком, совершенно не сознающим всей гнусности своего поведения; должно быть, он все еще не может очнуться от изумления, если не советуется со своими согражданами насчет того, что это за тип

живет в 10 номере Гарфильдской улицы, и не следует ли его отправить поскорее в желтый дом.

Голос «внутренних защитников»

(*Liberty*, 23 июня 1888 г.)

В последнем выпуске *Workmen's Advocate* имеется следующее сообщение:

В редакцию Workmen's Advocate:

О, какой восторг охватил меня, когда я начал читать диалог между Такером и Фенно в последнем номере *Liberty* (Такер не нуждается в рекомендации; Фенно – дьявол, пришедший за подушной податью). Мысли мои унеслись в другой век и в иную страну. Я подумал о Джоне Гемпдене, отказавшемся платить корабельный налог. Я часто задавал себе вопрос, кто будет вождем в этой борьбе четвертого сословия? Где тот человек, который дерзнёт сопротивляться угнетению? *Вот!* Вот он, человек, который всем пожертвует за свободу! *И хотя бы она убила его, он всё ещё будет верить в неё!*

Успокойтесь, однако; как видно из дальнейшего, он вынимает из кармана свой доллар и отдаёт его.

О позор! Вместо того, чтобы *отказаться* уплатить его, он разражается бранью – любимое его времяпрепровождение. Он оплачивает, и дело с концом. Наш идол оказался из глины, и мы должны поискать себе другого вождя. Это ли то, что эго-анархисты называют «пассивным сопротивлением»? Если да, то оно и впрямь *пассивное*.

Г. Дж. Френч

Печатаю упомянутый диалог, я предвидел, что он вызовет со стороны моих критиков-социалистов вздорные выходки вроде

вышеприведённой. То обстоятельство, что современное отступление часто спасает от поражения, редко спасает отступившего воина от брани «внутренних защитников». Эти «домоседы» большие поклонники славы, но завоевание её всегда предпочитают предоставлять другим. Для человека мирного беглец никогда не будет героем, хотя бы настоящий воин знал его за храбрейшего из храбрых. Прочтя статейку мистера Френча, можно воскликнуть вместе с Уилфридом Скауэном Блэнтом: «То, что люди называют мужеством, есть наименее благородная вещь из того, чем они хвалятся». По-моему, нет худшей трусости, как та, когда человек не осмеливается бежать. Ибо у него нет настоящего мужества, повелевающего повиноваться своему убеждению наперекор «свету», общественному мнению, от ига которого его дух ещё не освободился настолько, чтобы презирать его. Когда представляется дилемма такого рода: или пусть дураки сочтут меня трусом, или умные люди сочтут дураком – то я не вижу, в чём тут можно колебаться. Я лучше знаю свои дела, чем это доступно мистеру Френчу, и не могу позволить ему быть моим судьёй. Когда мне нужна слава, то я знаю, как добыть её. Но я не тружусь для славы. Подобно игроку в ножной мяч, который жертвует своими личными успехами для славы своего клуба, я «играю для своей партии» – т. е. тружусь для общего дела. И знаю что для дела моего в общем лучше, чтобы я в этом году заплатил налог, чем отказался платить его. Разве это пассивное сопротивление? – спрашивает мистер Френч. Нет, это просто протест в целях пропаганды. Пассивно сопротивляющиеся точно так же, как и активно сопротивляющиеся, имеют право решать, когда сопротивляться.

Я далёк от мысли преуменьшать заслуги Гэмпденов и мучеников, чтимых человечеством. Бывают времена, когда лучшая политика – следовать примеру этих людей, их благородному поведению. Но есть времена, когда это является просто безумием, и поведение их не может быть одобрено здоровым человеком. Слышал ли когда-нибудь мистер Френч об атаке шестисот англичан в Балаклаве? И слышал ли он мнение военного, бывшего свидетелем этого приснопамятного, этого блестящего,

этого безумного подвига, увенчавшегося гибелью полутысячи человек: «Это великолепно, но это не война»? А редактор *Liberty* ведёт войну.

Колонизация

Liberty 26 июля 1884 г.

Прекрасная статья Э. Уокера приводит неотразимые и веские соображения в пользу изолированных общин, ставящих себе реформаторские цели; особенно интересна забота о предотвращении постоянного и опасного отлива радикальных сил путём упразднения общественного остракизма. Однако Реклю, если всё взвесить, всё же остаётся правым. Все эти общинные попытки именно потому и не имеют смысла, что горячее желание Уокера – испытать анархические принципы в практическом приложении – не может быть исполнено иначе, как в самой гуще нынешней промышленной и социальной жизни. Реформаторские общины или будут пополняться солью земли, и в таком случае успех их не будет считаться убедительным: ведь скажут, что наши принципы приложимы лишь к мужчинам и женщинам, почти достигшим совершенства; или же к этим избранным присоединится значительное число полупомешанных, общение с которыми, когда они отделятся от общей массы человечества и сконцентрируются здесь, станет несносным, практическая работа немислимой, а анархия такой хаотической, какой её себе обыкновенно представляют. Но возьмём какой-нибудь город с разнородным населением и интересами, характерными для современной цивилизации. Если в таком городе найдётся достаточное число умных и серьёзных анархистов, занимающихся почти всеми ремёслами и профессиями, то пусть они соединятся для производства и распределения по принципу стоимости, оснуют банк для беспроцентного получения сумм, необходимых для ведения дела, и вкладывают быстро растущий капитал в новые предприятия, причём выгоды такой системы должны быть доступны всем, кто пожелает покровительствовать этому

делу. Каков был бы результат? Мы думаем вот какой. Вскоре всё смешанное население города, глупые и умные, добрые, злые, безразличные заинтересуются тем, что происходит у них на глазах, всё больше будут принимать в этом деле участия. Через несколько лет, когда каждый увидит плоды своих трудов, и никто не сможет жить праздно или на доход от капитала, весь город превратится в огромный улей анархистов-работников, зажиточных и свободных индивидов. Таких результатов я жду, и для достижения их я работаю. Социальное ландшафтное садоводство пусть приходит потом, если кому вздумается им заниматься. В настоящую минуту оно не представляет для интереса. Мне нет дела ни до каких реформ, если они не могут быть проведены именно здесь, в Бостоне, среди будничной массы, которую я ежедневно вижу на улицах.

Смесь